ЮРИЙ ТРИФОНОВ

Отблеск костра
Старик

Библиотека советской прозы

Дружба народов

издательство „ИЗВЕСТИЯ“

ЮРИЙ ТРИФОНОВ

Отблеск костра
Старик

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

РОМАН



МОСКВА
«ИЗВЕСТИЯ»
1989

ББК 84Р7
Т 69



Т $\frac{4702010200—025}{074(02)—89}$ — 83—89

ISBN 5—206—00009—4

Отблеск костра

«Отблеск костра» — книга не совсем обычная. Сын написал о судьбе отца, старого большевика, участника двух революций. Юрий Трифонов известен как автор романов, повестей и нескольких сборников рассказов. «Отблеск костра» — произведение чисто документальное, автор сознательно лишает его всякого подобия беллетристики, оно написано строго, очерково. Эта намеренная сухость, почти протокольность, придает особую достоверность книге. Работая в архивах, изучая письма, дневники, комплекты старых журналов, Ю. Трифонов проследил за революционной судьбой двух братьев, Валентина и Евгения Трифоновых: первая русская революция в Ростове, затем многократные ссылки и каторга в Сибири, Февральская революция в Питере, создание Красной гвардии (оба брата были членами Главного штаба Красной гвардии), Октябрьское восстание и гражданская война на Восточном, Юго-Восточном и Кавказском фронтах, где В. Трифонов был членом Реввоенсовета.

В одном месте Ю. Трифонов пишет: «...и едва не погибли старые полевые книжки, в которых отпечаталась эта далекая, взбудораженная, кому-то уже непонятная сейчас жизнь. Зачем же я ворошу ее страницы? Они волнуют меня. И не только потому, что они об отце и о людях, которых я узнал, но и потому, что они о времени, когда все начиналось. Когда начинались мы».

В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут...

Из старой революционной песни.

На каждом человеке лежит отблеск истории. Одних он опаляет жарким и грозным светом, на других едва заметен, чуть теплится, но он существует на всех. История полыхает, как громадный костер, и каждый из нас бросает в него свой хворост.

Отец любил делать бумажные змеи. В субботу он приезжал на дачу, мы сидели до позднего вечера, строгали планки, резали бумагу, клеили, рисовали на бумаге страшные рожи. Рано утром выходили через задние ворота на луг, который тянулся до самой реки, но реки не было видно, а был виден только высокий противоположный берег, желтый песчаный откос, сосны, избы, колокольня Троицко-Лыковской церкви, торчащая из сосен на самом высоком месте берега. Я бежал по мокрому лугу, разматывая бечевку, страшась того, что отец сделал что-нибудь не совсем так и змей не поднимется, и змей действительно поднимался не сразу, некоторое время он волочился по траве, неудачно пытался взлететь и опускался, трепыхался, как курица, и вдруг медленно и чудесно всплывал за моей спиной, и я бежал изо всех сил дальше.

Ни у кого не было таких больших, так громко трещащих змеев, как у меня. Потому что отец делал их из старых военных карт, напечатанных на плотной бумаге, а некоторые карты были даже на полотняной подкладке.

Мне всегда было немного жаль истреблять эти карты, такие красивые, добротные, со множеством мельчайших названий, напечатанных старинным шрифтом с буквами ять и *и* десятеричное. Это были царские армейские карты, но их использовали наши во время гражданской войны.

Отец почему-то не жалел эти карты. Он считал, что они сделали свое дело.

Высоко в синем небе плавал и трещал змей, сделанный из карты Восточного фронта, где отец провел такие тяжелые месяцы с лета 1918 до лета 1919 года...

Но об этом я узнал позже. Мне было одиннадцать лет, когда ночью приехали люди в военном и на той же даче, где мы запускали змеев, арестовали отца и увезли. Мы с сестрой спали, отец не захотел будить нас. Так мы и не попрощались. Это было в ночь на 22 июня 1937 года.

Прошло много лет, прежде чем я по-настоящему понял, кем был мой отец и что он делал во время революции, и прошло еще много лет, прежде чем я смог сказать об этом вслух. Нет, я не имею в виду невиновность отца, в которую верил всегда с мальчишеских лет. Я имею в виду работу отца для революции, его роль в создании Красной гвардии и Красной Армии, в событиях гражданской войны. Вот об этом я узнал поздно. То, что написано ниже, не исторический очерк, не воспоминания об отце, не биография его, не некролог. Это и не повесть о его жизни.

Все началось после чтения бумаг, которые нашлись в сундуке. В них гнездился факт, они пахли историей, но оттого, что бумаги эти были случайны, хранились беспорядочно и жизнь человека проглядывалась в них отрывочно, кусками, иногда отсутствовало главное, а незначительное вылезало наружу, оттого и в том, что написано ниже, нет стройного рассказа, нет подлинного охвата событий и перечисления важных имен, необходимых для исторического повествования, и нет последовательности, нужной для биографии. Все могло быть изложено гораздо короче и в то же время бесконечно шире. Потом я кое-что расширил, мне захотелось рассказать и о других людях, о тех, кто был рядом с отцом. И я полез в архивы. Меня заворожил запах времени, который сохранился в старых телеграммах, протоколах, газетах, листовках, письмах. Они все были окрашены красным светом, отблеском того громадного гудящего костра, в огне которого сгорела вся прежняя российская жизнь.

Отец стоял близко к огню. Он был одним из тех, кто раздувал пламя: неустанным работником, кочегаром революции, одним из истопников этой гигантской топки.

Наверху в сундуке хранились карты, внизу лежало много разных других бумаг. Нет, не ко всем своим бумагам отец относился так легкомысленно, как к старым армейским картам. Некоторые он чрезвычайно берег. Большинство этих бумаг относилось к периоду Петроградской Красной гвардии, другие документы были из эпохи гражданской войны на Урале, на Юго-Восточном и Кавказском фронтах, где отец был членом Реввоенсовета. Отец, я помню, все намеревался что-то написать о Красной гвардии: то ли исторический очерк, то ли книгу воспоминаний, но так и не написал. Всю жизнь был занят напряженной работой и писал то, чего требовала эта работа,— статьи по экономике, по военным и междуна-

родным вопросам,— а занятие мемуарами откладывал, видимо, до каких-то отдаленных времен, когда он стал бы более свободен. Такие времена не наступили.

Как большинство людей, ставших во главе Красной гвардии в 1917 году, Валентин Андреевич Трифонов был профессиональный революционер, старый большевик, прошедший тюрьмы и ссылки. По происхождению он был донской казак, уроженец станицы Новочеркасской, хутора Верхне-Кундрюченского, но с семи лет, когда родители его умерли, жил в городе, воспитывался в ремесленном училище в Майкопе.

Было их два брата: старший Евгений и младший Валентин. Оба совсем молодыми, отец шестнадцати лет, а Евгений девятнадцати, вступили в партию — в Ростове, в 1904 году. И очень скоро, через год, они доказали, что связали свою жизнь с партией не только затем, чтобы в конспиративных квартирах вечерами изучать «диалектику по Гегелю» и историю культуры по книжкам Липперта и Мижуева. В 1905 году оба брата участвовали в вооруженном восстании в Ростове, и Евгения судил военно-окружной суд после того, как восстание было подавлено. Евгений получил десять лет каторги, а Валентин — без суда — административную ссылку в Сибирь. Вот так они вступили в партию. И так началась и кончилась их юность: баррикадами, судом и Сибирью.

Да и была ли юность у этих юношей? Было сиротство, была голодная жизнь у чужих людей, был труд, изнурительный и жестокий, с малых лет: отец работал слесарем в железнодорожных мастерских, Евгений был грузчиком в порту, рабочим на мельницах, масленщиком на товарных пароходах, служил одно время в казачьем полку, откуда ушел самовольно, потом сошелся с босяками, с шайкой ростовской шпаны, так называемых «серых», терроризировавших окраины Ростова и Нахичевани. «Серые» одевались франтовато, с особым шиком, носили широкие пояса. («Не бойся меня, а бойся моего красного пояса!» — там, мол, нож.) У шайки происходили стычки с молодыми рабочими, которые оказывали сопротивление «серым», поножовщина. Но вскоре Евгений отбился от «серых», почувствовал к ним отвращение.

У отца была такая же бесприютная молодость, только без братниных завихрений, без «серых». Это зависело от характера. Валентин, хотя и младший, был уравновешенней, трезвее, Евгений же был вспыльчив, драчлив, в крови его кипело казачье буйство.

Они и внешне были разные, хотя чем-то похожи: отец широкоплечий, черноволосый, Евгений был рыжеват, строен и всегда казался моложе брата. Оба немного близоруки, это было семейное, хотя отец и рассказывал, что зрение у него сильно ухудшилось в тюрьме, после побоев.

О молодых годах отца знаю мало. Известно, что в ремесленном училище в Майкопе он организовал забастовку, за что впервые был арестован. Зато Евгений кое-что поведал о предреволюционном, ростовском периоде своей жизни в книге «Стучит рабочая кровь». (После гражданской войны он выпустил несколько книг стихов и прозы, воспоминаний о каторге, революции и войне, написанных в том бурном, романтическом стиле, который был в моде в двадцатые годы. Он состоял членом «Кузницы», писал под псевдонимом Евгений Бражнев.)

Со своей родней Валентин, как и Евгений, давно потеряли связь, они и друг с другом виделись редко.

Вскоре у них появились новые товарищи, рабочие, и среди них несколько человек, связанных с подпольной социал-демократической организацией. Через них в руки Евгения стали попадать прокламации Донского комитета РСДРП, попадалась и ленинская «Искра». Сначала не все было понятно, но нравилось, как смело, в открытую, говорилось в газете о царе, попах, жандармах. А потом — первый кружок, чтения, споры, первая партийная кличка «Женька Казак» и первый арест «по политике».

В полиции узнали, что Евгений самовольно сбежал из Христиановских казарм, где отбывал службу в 24-м конном полку, и отправили его в родную станицу — в Новочеркасскую военную тюрьму. Там верноподданные матерые казаки избили его до полусмерти, как «продавшегося жидам» (эпизодик этот красочно описан самим Бражневым: «Казаком зовется, говно. Сын Тихого Дона! — с презреньем сказал подхорунжий, дежурный по тюрьме.— Пакостят, сволочи, казачье имя... Казак жисть кладет за честь знамени, а ты из-под знамя — бегать? Зачем бежал из сотни, хам, жидовская сопля, сицилист, таку твою мать?! Ну! Почему бежал? — грозно рявкнул подхорунжий. В следующий миг комната с треском перевернулась в моих глазах...»), после чего Евгения направили в полк. Но по дороге из Новочеркасска в Персиановку ему удалось удрать, обманув конвоира. Было это в феврале 1905 года, в мае его снова арестовали, но скоро выпустили, в июле на сходке взяли и Валентина, тоже выпустили — улик у полиции пока не было, не за что зацепиться, одни

подозрения,— а уж в октябре обоих схватили крепко, при печатании прокламаций. Но тут выручил «всемилостивейший манифест», и в конце октября братья вышли на волю. В декабре оба участвовали в вооруженном восстании на Темернике, командовали «десятками» дружинников — «десятком» называлась вооруженная группа, в которой могло быть и более десяти человек, могло быть пятнадцать, двадцать. Интересно, что это же наименование, «десяток», сохранили красногвардейцы Питера в своем уставе в 1917 году.

О революции 1905 года в Ростове, кровопролитной, отчаянной и недолгой — она длилась всего-то около десяти дней, из которых три дня было сравнительное затишье из-за внезапного тумана,— написано немало воспоминаний. В архиве Октябрьской революции в Москве есть доклад Е. Трифонова о Ростовском восстании, сделанный им в Обществе политкаторжан в 1935 году, по случаю тридцатилетней годовщины восстания. Несколько дней пятьсот дружинников, вооруженных кое-как, немногие винтовками, большинство револьверами, охотничьими ружьями и самодельными бомбами, удерживали в своих руках Темерник, железнодорожные мастерские и вокзал, отбитый 15 декабря у казаков. Но силы были слишком неравные. Казаки несколько раз атаковали баррикаду, были отброшены и сочли за благо уступить место артиллерии. Две батареи спокойно и беспощадно громили Темерник с утра до вечера. Артиллеристам никто не мешал. Они вели стрельбу, как на учениях. Темерник горел, рушились рабочие хибарки, гибли мирные жители, а у дружинников не хватало оружия, иссякли патроны. 17 декабря, пользуясь туманом, Е. Трифонов проехал в Нахичевань и купил там у дашнаков 10 бурханов, небольших скорострельных карабинов... «На наемном извозчике,— вспоминает он,— я проехал через все полицейские преграды на Темерник. Когда мы подъехали к Темернику и извозчик узнал, что мы везем, с ним приключилась медвежья болезнь». 20 декабря было решено отступить. Стали отходить к Нахичевани. В столовой завода «Аксай» сложили оружие, порох, бомбы, поставили охрану из девяти человек, а затем там произошел взрыв, уничтоживший все оружие и боеприпасы дружинников. Причины взрыва неясны до сих пор. Скорей всего, был трагический случай. Надежды на то, чтобы вести партизанскую борьбу — а дружинники рассчитывали на это,— рухнули. Надо было исчезать. Все, кто мог, разъехались из Ростова.

Донской комитет РСДРП был тогда в основном меньшевистский и выступал против восстания. Е. Трифонов высказывается определенно: «Если восстание разразилось, то только вопреки комитету. Можно привести ряд фактов саботирования вооружения рабочих на протяжении ряда лет». И дальше говорит кое-что о причинах неудачи: «Мы действовали по образцам классических революций, а технические средства стали иными. Мы строили баррикады и ждали, что нас будут атаковать. А нас поливали железом издалека». Кроме того, был, конечно, расчет на то, что немедленно подымутся рабочие соседних с Ростовом городов, но этого не случилось. Подкрепления, прибывшие на Темерник, были незначительны: человек сто из Тихорецкой, еще меньше из Таганрога, с Кавказской.

Братьям Трифоновым удавалось некоторое время скрываться от полиции, но 27 февраля Евгения задержал городовой Болдырев, узнавший его в лицо: во время боев этот городовой был захвачен дружинниками в плен. Начальник Донского областного жандармского управления доносил 30 марта 1906 года в департамент полиции: «Доношу, что казак Валентин Андреев Трифонов, 17 лет, задержан в г. Ростове-на-Дону городовым Болдыревым, признавшим в нем члена боевой дружины, которого он видел в то время, когда был задержан мятежниками во время вооруженного восстания. По обыску у Трифонова найдены револьвер системы Браунинг и план предместья Ростова-на-Дону — Темерник, на коем отмечено место, где находится штаб мятежников. На основании данных следствия Трифонов признан одним из главарей восстания в г. Ростове-на-Дону и, как взятый к тому же с оружием в руках, подлежит преданию военному суду для осуждения по законам военного времени...»

Почему Евгений назван здесь Валентином?

Дело в том, что Евгению Трифонову, как совершеннолетнему и уже привлекавшемуся прежде к суду, а также как дезертиру с казачьей военной службы, грозила смертная казнь, а несовершеннолетнему Валентину могло быть снисхождение. Поэтому Евгений назвался Валентином, а Валентин, которого тоже через несколько дней схватила полиция и который уже знал об уловке брата, назвал себя Евгением. Эта хитрость спасла Евгению жизнь. Отца арестовали 9 марта 1906 года по делу так называемой группы Самохина, собиравшейся именно в

этот день, 9 марта, совершить вооруженное нападение на типографию Гуревича в Нахичевани. Выдал всех провокатор Аким Майоров. Сохранился протокол показаний предателя, данных им в тот же день в полицейском участке, где Майоров — из крестьян, 21 года, по профессии наборщик, приехавший в Ростов для подыскания работы всего лишь две недели назад, — хладнокровно рассказывает, как он устроил завал группы. Сначала он организовал арест главарей, Самохина и Эпштейна, затем пошел в чайную, где его должны были ждать другие товарищи для того, чтобы передать ему оружие. Его действительно ждали двое, один из них был В. Трифонов. Все вышли из чайной и пошли в городской сад, где В. Трифонов сказал, что принес четыре револьвера. Тут же, в саду, всех задержали. Предатель, знавший отца мало, называет его Евгением Трифоновым: так же, как тот сам назвался при аресте.

Последняя фраза протокола такая: «Прошу, чтобы это показание было совершенно секретно, так как в противном случае моей жизни будет угрожать опасность». Вместе с отцом были арестованы Гавриил Борисенко, Дмитрий Михин, Иван Боков, Михаил Чудовский. У них отобрали семь револьверов, какие-то рукописные заметки и устав боевой дружины. В архиве ЦГАОР есть копия устава; это любопытное сочинение, стоит привести из него отрывки:

«Общие указания. Револьвер заряди дома, а патроны положи в карман. Револьвер спрячь так, чтобы легко было его вытащить. Не пренебр. хорошим ножом, кастетом, палкой и пр. На сбор. месте соедин. с товар. небольшими группами. Из середины толпы не стреляй: можешь застрелить товар. Держи револьвер дальше от лица стоящ. товар., чтобы не опалить его. Заряды береги, зря не стреляй. На ходу не стреляй, остановись и целься... Как только солдаты готовятся к стрельбе, сейчас же стреляй. Не спеши и целься лучше. Как только офицер отдаст команду, убей его. Если солдаты лезут в штыки, допусти на 30 шагов и стреляй...

Кавалерия. Если есть поблизости телега или что-нибудь другое громоздкое — положи поперек дороги. Если есть гвозди с 4-мя остриями, разбросай их кругом. Допусти конницу на 60 шагов и стреляй, быстрей и чаще. Сплотись в кучу, конь не пойдет в толпу. Когда кавалерия смешается с толпой, стреляй во всадников и пыряй ножом лошадь».

Как видно, был прав Е. Трифонов, говоривший, что некоторые из защитников баррикад на Темернике совсем почти не умели стрелять.

Валентина привели в ту же камеру, где сидел брат. Помню, отец рассказывал: «Ввели меня, вижу — сидит Евгений одетый, в пальто. «Ты чего одетый?» — «Одевайся и ты. Сейчас бить будут». Действительно, на вечерней поверке камеры обходит начальник тюрьмы. Команда «Встать!». Политические демонстративно не встают. Надзиратели набрасываются и начинают избивать. И так каждый вечер».

Следователи почуяли неладное с именами братьев, вызвали из Новочеркасска старшую сестру Трифоновых Зинаиду, привели в тюрьму и показали ей из окна Евгения, которого вывели на тюремный двор. Евгений, не понимая, оглядывался — кругом пусто, ни одного человека. У сестры спросили: «Это ваш брат?» — «Да». — «Как его зовут?» Чуть было не проговорилась ничего не подозревавшая сестра, но что-то остановило ее, внезапное предчувствие: «Я давно братьев не видела, больше десяти лет, как родители умерли. Они от дома совсем отбились — даже узнать не могу...»

Так отец в апреле 1906 года и поехал в административную ссылку в Тобольскую губернию под именем брата. Вскоре он бежал, вернулся в родной город, где был схвачен в октябре и после трехмесячной отсидки в Ростовской тюрьме вновь отправлен в Тобольскую губернию. А следствие по делу Евгения Трифонова и других участников вооруженного восстания продолжалось. Процесс начался лишь в конце декабря 1906 года. Судили 43 человека. Это было громкое дело, взволновавшее город. Боясь рабочих выступлений, генерал-губернатор предупредил население о том, что военное положение не отменено и всякие сходки, митинги, манифестации будут немедленно подавляться силой оружия. К зданию казарм, где происходил суд, подкатили орудия, полицейские и казачьи части стояли в боевой готовности.

Перед каждым подсудимым висела прибитая к барьеру табличка с фамилией, именем и отчеством. Перед Евгением на табличке значилось: «Трифонов Валентин Андреев».

Из 43 участников восстания 29 были осуждены и 14 оправданы. Евгений оказался одним из тех, кого суд наказал особенно строго: как несовершеннолетний, то есть как Валентин, он получил 10 лет каторги. В Сибирь его

послали не сразу. Несколько месяцев просидел он в Новочеркасской военной тюрьме, откуда неудачно пытался бежать. Однажды вечером заключенные напали на надзирателей, схватывая их сзади за горло особым приемом — в уличных драках этот прием назывался «взять на грант», — перевязали, выбежали во двор. Пока поднялась тревога, часть товарищей успела перелезть через высокую стену. Евгения взяли на стене.

Через несколько лет, в 1912 году, уже из Туруханской ссылки, отец написал заявление на имя енисейского губернатора с просьбой вернуть ему его настоящее имя, и такое же заявление сделал брат, отбывавший тогда каторгу в Тобольском централе. Заявление отца послужило началом запутаннейшей казенной переписки, длившейся несколько лет. Работая в архиве Октябрьской революции, я наткнулся на этот памятник кропотливой и довольно тупой полицейской мысли, запечатленной на пятидесяти листах «Дела о казаке Евгении Трифонове». В переписку кроме департамента полиции, министерства юстиции, енисейского и тобольского губернаторов, ростовского градоначальника были втянуты еще жандармские управления нескольких городов, наказной атаман Войска Донского, частные лица, родственники, бывшие каторжане, учителя Майкопского технического и Новочеркасского атаманского училищ, и все это для того, чтобы определить, был ли злой умысел в перемене имен или же была чистая случайность. Многолетние потуги не привели ни к чему: злой умысел так и не обнаружился. В 1916 году братьям было разрешено именоваться их собственными именами.

Я разбирал эту груду документов, аккуратно подшитых, с датами, гербами, номерами входящих и исходящих, с подписями, имевшими когда-то могущественную силу, а сейчас превратившимися в едва заметный, полустершийся чирк карандаша, и думал: какое количество бумажек окружает каждого из нас! Мы не догадываемся, что находимся в плену у бумажек. Они, невидимые, идут по нашим следам, им нет числа, нет сроков, нет смерти. Они — как загробные тени нашего земного существования, ведь мы умираем, а они остаются. Нет ни Евгения, ни Валентина, ни губернаторов, ни делопроизводителей, ни писцов, ни тюремщиков, никого, есть только бумажки. Они зачем-то нужны. Чего-то ждут. Вот я взял эту старую папку, которую никто не трогал лет пятьдесят, кроме архивариуса, оставившего метку инвентаризации в 1933

году, полистал ее, почитал и отдал обратно; и снова никто не притронется к ней лет пятьдесят, сто, триста. Господи, через триста лет бумажки расплодятся так, что вытеснят человека с земли! Будут созданы, вероятно, огромные архивные территории, вроде национальных парков, а потом и целые архивные города, потом такие же города для бумажек будут устроены под землей, а когда человечество переселится на другие миры, все помещение нашей старой планеты будет превращено в один гигантский архив!

Между прочим, более всего в папке «Дело о казаке Евгении Трифонове» меня интересовали фотографии отца и дяди. Они должны были там быть. Об этом говорится почти в каждой бумажке. Но их не было. Кому-то они понадобились, и, может быть, именно в том году, каким помечена инвентаризация. А может быть, чуть раньше или чуть позже. Это никому не известно. Никто не мог сказать мне ничего определенного. Бумажки живут своей скрытной медленной жизнью, рассчитанной на тысячелетия, как камни, как ледники.

В ссылках отец провел лучшие годы: с семнадцатилетнего возраста до двадцати шести лет. Об этих годах он рассказывал мало. Иногда в разговоре с матерью скажет полушутливо: «Кто из нас был в ссылке: ты или я?», и это имело иронический смысл и было как бы требованием неких домашних поблажек за счет тяжелого прошлого. Для нас, детей, шутливость таких разговоров была очевидна, и потому представление об отцовских ссылках создалось несколько несерьезное. Ну, ссылался четыре раза, ну, бежал — это, наверно, очень интересно, романтично. Снова прошли долгие годы, прежде чем я кое-что узнал об отцовских ссылках тех лет, более полувека назад.

Романтичного в них было немного. Зато много было стужи, снега, бездомности, голодания, избиений солдатами (у отца была выбита кость в груди от удара прикладом), были разговоры изверившихся, были болезни, предательства, была смерть друзей в охолодавших станках под полярным небом — и была молодость, отчаянно боровшаяся со всем этим.

После того, как в «Знамени» напечатали в первоначальном варианте этот очерк, стали откликаться люди, знавшие В. Трифонова в разные годы. Откликнулись двое, которые знали его по ссылке. Большинство-то умерло: прошло все-таки пятьдесят с лишком лет. Но двое выжи-

ли, два глубоких старика: Николай Никандрович Накоряков, человек известный, делегат еще Лондонского съезда, бывший директор Госиздата, и Борис Евгеньевич Шалаев, по профессии инженер-теплотехник, живущий сейчас в Свердловске, человек тоже с революционным прошлым. Как-то дома зазвонил телефон, и я услышал высокий старческий голос: «А я вашего батюшку знал по Тюменской ссылке 1907 года. Мы его звали Тришкой. Он немного прихрамывал».

Я не слышал, чтобы отец когда-нибудь прихрамывал. Но, наверно, это так и было.

Н. Н. Накоряков познакомился с ним сразу же после того, как отец бежал из Тобольска, из административной ссылки, в Тюмень. Отец отпустил бороду, чтобы изменить лицо. Возможно, он и прихрамывал тогда для маскировки. Я приехал к Николаю Никандровичу домой, в Мансуровский переулок, однако старичок — с гаснущим зрением, но с необыкновенно ясным, четким умом — немногое смог добавить к тому, что сказал по телефону. С тех пор, с 1907 года, он не видел отца ни разу. В его памяти отец остался двадцатилетним юношей, Тришкой, вдвое более молодым, чем я. Поэтому он сказал разочарованно: «Вы на своего отца не походите». Он вспомнил еще, что отец работал в Тюмени слесарем на заводе Машарова.

От Бориса Евгеньевича Шалаева я получил много писем и его очень интересные воспоминания «Из прошлого рядового человека»: о пермском подполье, о Тобольской ссылке и о Тюмени, где он познакомился с В. Трифоновым. Судьба Б. Шалаева была и в самом деле судьбой рядового русского человека начала столетия: уральская глухомань, какая-то Нижняя Салда, семья горнозаводского крестьянина, выбившегося в лесники, учение в реальном, жадность к книгам, ко всему вперемешку, но непременно к «серьезным», юношеское философствование зимними вечерами у печки, и вдруг сразу — бомбы, тайная возня со взрывателями, знакомство со Свердловым, боевая дружина, выдача провокатором Папочкиным, арест и «башня» Пермской тюрьмы. Осенью 1907 года Б. Шалаев был выслан в административную ссылку в Тобольскую губернию. Он был старше отца на два года.

Путь из Тюмени в Тобольск — 250 верст этапом, — описанный Шалаевым в его воспоминаниях, проделал дважды и отец. «Скорость этапа в среднем 25-30 верст в сутки. Дневки через трое суток. Наконец выходим из Тюмени. Конвойные кричат, замахиваются прикладами.

Строгость отменная! Выходим за город. Отойдя версты три — команда: «Стой! Старосту политических к начальнику конвоя!» Разговор короткий: «Говори, за каких людей ручаешься, что не убегут, и каким доверять нельзя. За кого поручишься — ходи, как тебе надо. Только в деревне, чуть подыму тревогу, мигом являйся, не подводи». Шли почти как на воле. Почему же такая неправдоподобная, кажется, свобода? Очень просто! Не зная, куда девать невероятно умножившиеся после пятого года неблагонадежные элементы в войсках, правительство вынуждено было, в целях изоляции их, массами засылать неблагонадежных в самые медвежьи углы».

О том же вспоминал В. Трифонов: однажды гнали их по этапу — возможно, по тому же самому, на Тобольск,— и конвойные попались на редкость хорошие ребята, чем могли, старались облегчить путь. Ссыльные решили между собой: не бежать с дороги, не подводить конвой. Так и дошли до места, а уж оттуда бежали.

Тюменский конвой шел до полпути, до села Невлево, где долина реки Туры выходила на Тобол. Здесь этапников принимал тобольский конвой. А в Тобольске еще приходилось ждать днями, неделями парохода «на низ», то есть на север по Оби: кому куда было назначено поселение.

Тем же пароходом при некоторой отваге и счастливом стечении обстоятельств можно было вернуться «с низу» в Тобольск: так вернулся Б. Шалаев, раздобывший подложный паспорт. Таким же способом годом раньше вернулся в Тобольск В. Трифонов, откуда проехал на Урал (работал там по обучению боевых дружин, используя свой ростовский опыт), а после Урала перебрался в родной Ростов, где и был схвачен. Само по себе бегство из административной ссылки было делом нетрудным. Главная трудность — не попасться потом. Беглые поселенцы, пойманные за пределами Сибири, наказывались строго: до трех лет каторжных работ.

В конце 1906 года В. Трифонова из Ростовской тюрьмы переправили в Саратов, он просидел там несколько месяцев — Саратовская тюрьма оказалась тяжелой, режим почти каторжный, с карцерами, избиениями, отец там много болел — и вновь его выслали в Тобольскую губернию, на этот раз в Туринск. Вот как вспоминает Б. Шалаев о своем знакомстве с отцом:

«В 1907 году В. Трифонов оказался в административной ссылке в г. Туринске вместе с А. А. Сольцем и

Э. А. Сольц (сестрой Арона Александровича). Когда же обоим Сольцам удалось перевестись в Тюмень, Валентин Андреевич нелегально уехал в Екатеринбург и стал работать там как организатор и член Екатеринбургского комитета. Об этом периоде его жизни я только слышал, так как сам лишь с зимы 1907 года появился в ссылке в г. Тобольске.

С открытием навигации 1908 года в Тобольск одним из первых пароходов приехал А. А. Сольц, который встретился там со мной и устроил мой перевод в Тюмень.

Вскоре встретился я в Тюмени и с Валентином Андреевичем. Он как раз собирался ехать «на низ» для подбора опытных кадров и для Тюмени и для Екатеринбурга из числа заброшенных далеко на север ссыльных. Поэтому он обратился ко мне с просьбой рекомендовать кого-либо из подходящих людей. Я назвал ему несколько фамилий, но предупредил, что точно не знаю, кто из них согласится на его приглашение, а особо крупных работников на севере не знаю. Помню также, что, возвратившись из поездки, он с сердцем заметил: «Ну уж эти рекомендованные!» Оказывается, немало из указанных ему не удалось разыскать, а еще больше просто не пожелало ехать, так как успело уже «осесть» на месте и подыскать кое-какой заработок. Надо упомянуть, что это было время самой худшей реакции. Отовсюду шли вести о новых виселицах и щедрой раздаче каторги. Провокация работала весьма интенсивно, предыдущий разгром был еще слишком свеж, и возобновление партработы было очень нелегко. Знаю, что из крупных работников Трифонову удалось обнаружить на севере Мельничанского, который потом нелегально пробрался в Тюмень».

Тюмень тех лет — город своеобразный, живой, купеческий и пролетарский одновременно, с заводишками, мастерскими, судоверфью, железнодорожным депо. Кроме того, это был центр, сквозь который проходил, где сгущался, оседал, таился в бегах почти весь российский бунт, кочевавший в Сибирь и обратно. Три века Тюмень была перевалочным пунктом для тысяч и тысяч ссыльных, политических и уголовных: все они, миновав Уральский хребет, прежде всего попадали в Тюменскую тюрьму — первую тюрьму Сибири. Рабочих в городе было порядочно, работали, как повсюду в России, тяжко, до изнеможения, а по праздникам усердно пьянствовали и бились на кулачках «вýсмерть». Михаил Мишин, один из революционных тюменских деятелей тех лет,

описал тюменскую старину в своих записках, напечатанных лет тридцать назад в журнале «Каторга и ссылка».

Описал кулачные битвы с криками «Бою поддайте!», с кровавыми увечьями и многочисленной публикой, майскую забастовку пятого года и то, как стала сколачиваться социал-демократическая организация, и как возникла типография, и как пошли споры большевиков с меньшевиками, и как началась борьба с эсерами. В июле 1907 года типография провалилась, Мишин попал в тюрьму. Из тюрьмы пытались наладить работу на гектографе, но работников, способных для этого дела, на воле никого не осталось. «Опять помогли беглые ссыльные, — вспоминает Мишин. — Для временной работы в это время остановились бежавшие с севера В. Трифонов и А. Валек». (Через двенадцать лет Антон Валек был повешен колчаковцами в Екатеринбурге.) По-настоящему революционная работа в Тюмени оживилась через год, с появлением в городе А. А. Сольца.

Об Ароне Сольце я должен рассказать подробней. Это был замечательный человек нашей революции. Его сутью была несокрушимая вера в силу справедливости. В. Трифонов познакомился с Сольцем в Туринске, близко сошелся с ним в Тюмени. А. Сольц был старше отца, имел большой опыт подпольной работы — участвовал в революционном движении еще с 1895 года, работал вместе с В. П. Ногиным в группе «Рабочее знамя», затем примкнул к «Искре», и влияние его на В. Трифонова, как и на других молодых ссыльных из рабочих, было велико, он воспитывал их духовно, приучал к марксистской, ленинской литературе, да и просто к культуре, к знаниям, чего многим не хватало. Дружба с А. Сольцем осталась у В. Трифонова на всю жизнь. Пожалуй, у отца и не было друга ближе, чем Арон Сольц.

Помню его с детства — мы жили в одном доме — маленького человека с большой, шишковатой, седой головой. У него были большие губы, большие выпуклые глаза, смотревшие проницательно и строго. Он казался мне очень умным, очень сердитым и очень больным, всегда тяжело, хрипло дышал. Кроме того, он казался мне замечательным шахматистом. Я всегда ему проигрывал.

Арон Сольц был уроженцем Вильно, вырос в семье сравнительно интеллигентной и зажиточной, купеческой. В своей автобиографии для 41-го тома энциклопедического словаря Гранат А. Сольц написал так: «За время

моей гимназической жизни я мало или, вернее, совсем не интересовался социальными вопросами, но был весьма оппозиционно настроен к властям предержащим. Источником этой оппозиционности было, несомненно, мое еврейство. В гимназию я попал с величайшими трудностями, ибо попал тогда, когда прием был чрезвычайно ограниченный, и вот неравенство в гражданских правах меня, конечно, и толкнуло в оппозицию». Сказано честно, как умел сказать Сольц.

Б. Шалаев вспоминает: как-то в Тюмени, после собрания, рабочие разговорились о том, как и почему они стали большевиками. Почти все говорили о «сознании долга», и только Шалаев признался в том, что сознание долга его ничуть не тревожило, а к марксизму он пришел по-интеллигентски, от философии. Над ним стали подтрунивать. Особенно зло вышучивал его пожилой рабочий, всеми уважаемый Иван Иванович Борисов; он и обычно-то относился к Шалаеву свысока, как «истый» пролетарий к интеллигенту. Но Сольц неожиданно поддержал Шалаева, сказав, что и он пришел к марксизму сходным путем. Интерес к философии возник от ущемленности, от поисков справедливости, а философия повела на поиски истины и идеала.

Между прочим, «истый» пролетарий Борисов через несколько лет сделался провокатором, это выяснилось после революции. Одной из любимых фраз Сольца была: «Где много говорится о добродетели, там наверняка прячется какое-нибудь преступление».

После гимназии Сольц учился в Питере, в университете, попал в гущу споров, в схватки марксистов с народниками, был изгнан за участие в беспорядках и впервые оказался в тюрьме в 1901 году. Потом было много арестов, были ссылки, побеги, голодовки, была в начале империалистической войны известная прокламация «Долой войну!», за которую Сольц получил по приговору военного суда два года крепости. После Февральской революции Сольц редактировал газету «Социал-демократ», затем «Правду». В голодные девятнадцатый и двадцатый годы он работал в продовольственном отделе Моссовета, в Центросоюзе. Однажды какая-то делегация рабочих, доведенная до крайности ничтожными пайками и неуступчивостью Сольца, вздумала проконтролировать его самого: «А ну, проверим, чего начальники лопают!» Пошли к нему на квартиру, обыскали все углы и не нашли ни черта, кроме нескольких мороженых кар-

тошек. Между тем хозяин квартиры распоряжался вагонами с продовольствием.

Этот пример характерен, впрочем, не для А. Сольца, а для нравов революции.

Многие старые большевики называли А. Сольца «совестью партии». В 1920 году А. Сольц был введен в созданную по предложению Ленина Центральную контрольную комиссию, он неизменно входил во все составы ЦКК и ее Президиума вплоть до 1934 года. А. Сольц написал книгу о партэтике. В течение многих лет он работал в Верховном Суде и в комиссиях по чистке партии. Я встречал людей, которых он спас от исключения из партии, и людей, которых он исключил: все вспоминали о нем с уважением. Потому что все, что он делал, он делал по совести.

В книге о партэтике А. Сольц писал: «Человек отдельными поступками не измеряется. Надо знать всего человека, что он из себя представляет».

Весной 1923 года А. Сольц столкнулся с некоторыми фактами, которые побудили его заняться обследованием тюрем. По его инициативе ВЦИК создал специальную комиссию, облеченную правом освобождения от имени ВЦИК всех, кого она найдет нужным. Эта комиссия пересмотрела несколько тысяч дел, причем лично беседовала с каждым заключенным, обнаружила множество вопиющих случаев неправильного применения законов, бюрократического подхода, совершенно бессмысленного осуждения за мелкие дела на длительные сроки. Были освобождены две трети из всех, дела которых рассмотрела комиссия. Затем такие же комиссии были созданы по всему Союзу и проведена широкая амнистия. Через год, в 1924 году, «комиссия Сольца» повторила свое обследование, на этот раз кроме тюрем проверялись и народные суды, где скопились тысячи нерассмотренных дел.

А. Сольц требовал, чтобы работники юстиции отвечали за привлечение к суду, за качество приговора. В 1933 году в «Известиях» появилась его статья «Об ответе за привлечение, за свой приговор».

Когда в 1937 году началась развязанная Сталиным кампания массовых репрессий, такой человек, как Сольц, не смог молчать. Может, один из немногих, он пытался бороться. Он работал тогда помощником Генерального прокурора по судебно-бытовому сектору. А. Сольц стал требовать доказательств вины людей, ко-

торых называли врагами народа, добивался доступа к следственным материалам, вступил в резкий конфликт с Ежовым, Вышинским. Однажды он пришел к Вышинскому и потребовал материалы по делу Трифонова, сказав при этом, что не верит в то, что Трифонов — враг народа. Вышинский сказал: «Если органы взяли, значит, враг». Сольц побагровел, закричал: «Врешь! Я знаю Трифонова тридцать лет как настоящего большевика, а тебя знаю как меньшевика!» — бросил свой портфель и ушел. Вышинского он и в самом деле знал издавна, еще по Питеру, по юридическому факультету.

Сольца начали отстранять от дел. Он не сдавался. В октябре 1937 года, в разгар репрессий, он внезапно выступил на конференции Свердловского партактива с критикой Вышинского как Генерального прокурора и с требованием создать специальную комиссию для расследования всей деятельности Вышинского. Ему еще казалось, что прежние методы, введенные при жизни Ленина, обладают силой. Н. Н. Накоряков присутствовал при этом выступлении и вспоминает о нем в своей еще не опубликованной, но известной мне статье об А. Сольце: часть зала замерла от ужаса, но большинство стали кричать: «Долой! Вон с трибуны! Волк в овечьей шкуре!» Сольц продолжал говорить. Какие-то добровольцы, охваченные гневом, подбежали к старику и стащили его с трибуны.

Трудно сказать, почему Сталин не разделался с Сольцем попросту, то есть не арестовал его. Конечно, Сольц пользовался большим уважением в партии, авторитет его был велик, но ведь Сталин не церемонился с авторитетами. В феврале 1938 года Сольца окончательно отстранили от работы в прокуратуре. Он пытался добиться приема у Сталина. Но Сталин, с которым он вместе работал в питерском подполье в 1912—1913 годах, с которым ему приходилось в ту пору спать на одной койке, его не принял.

Сольц все еще не сдавался: он объявил голодовку. Тогда его запрятали в психиатрическую лечебницу. Два дюжих санитара приехали в дом на улице Серафимовича, схватили маленького человека с большой седой головой, связали его и снесли вниз, в карету. Потом его выписали, но он был сломлен. Я видел Сольца незадолго перед его смертью, во время войны. Он непрерывно писал на длинных листах бумаги какие-то

бесконечные ряды цифр. Не знаю, что это было. Возможно, он писал старым подпольным шифром нечто важное. Никто не сохранил этих длинных листов с тысячами цифр. Сольц был слишком одинок и слишком болен; кроме того шла война, жесточайшая война, заставлявшая думать о будущем, а все прошлое с его загадками и трагедиями казалось таким далеким и в общем-то несущественным. Сольц умер за девять дней до конца войны. Ни одна газета не поместила о нем некролога.

Все это произошло много лет спустя после того, как Сольц и Трифонов познакомились в сибирской ссылке.

В 1933 году Свердловский Истпарт обратился с письмом к А. А. Сольцу с несколькими вопросами о подпольной работе в Тюмени в 1909 году. Сольц написал:

«Какая к тому времени была организация в Тюмени? Отвечаю: я имел в виду, пользуясь довольно свободным режимом в Тюмени, поставить там типографию и обслуживать весь Урал. В самой Тюмени был только завод Машарова. Было небольшое количество соц.-дем., больше меньшевиков, чем большевиков. Был там тогда тов. Новоселов, за последнее время член ЦКК, был и Мишин, сейчас, кажется, пребывающий в меньшевиках. Был там Трифонов Валентин, участник восстания под кличкой «Корк» в Ростове, Мельничанский под кличкой «Максим», пожелавший бежать за границу на том основании, что в России делать нечего в духе Каутского, и задержанный мною, и Стецкий. Была еще группа интеллигентов...»

Квартира Сольца в Тюмени на втором этаже деревянного дома на Большой Разъездной сделалась «штаб-квартирой» тюменской парторганизации. Семьи у А. Сольца не было. Он всегда жил вместе с сестрою, Эсфирью Александровной, членом партии с 1903 года: она прошла с братом многие годы ссылок, была с ним и в Тюмени. Б. Шалаев жил на квартире Сольцев, он вспоминает: «Наше общее хозяйство вела Эсфирь, а мы с Ароном помогали ей и выполняли все черные работы по колке дров, топке печей и т. п. У обоих Сольцев имелся заработок уроками, Арон преподавал даже детям исправника. Вскоре и я имел уроки».

Нелегальная газета «Тюменский рабочий», редактором которой был А. Сольц, стала главной силой организации. Газета выступала с обличениями местных промышленников, например, владельца паровой мельницы миллионера Текутьева, призывала к забастовкам, печатала в своей типографии листовки и прокламации, ей принадлежала важная роль в полемике с эсерами по поводу «эксов». В 1908 году, в сентябре, эсеры произвели очередную экспроприацию: ограбление сборщика денег по казенным винным лавкам. Настоящих виновников полиции схватить не удалось, но в ее руки попал рабочий Мартемьянов, член РСДРП. Ему грозила виселица. Защита его затруднялась тем, что он не мог доказать своего алиби: как раз в момент ограбления Мартемьянов разносил прокламации рабочим. Стремясь спасти товарища от казни, газета «Тюменский рабочий» выступила со специальной статьей «Об экспроприациях», написанной Б. Шалаевым, где прямо потребовала от эсеров прекратить отмалчиваться и признать участие в ограблении, чтобы спасти невинного человека. Эсеры возмущались, кричали о предательстве, грозили «перестрелять» всю редколлегию газеты, но в конце концов вынуждены были признать «экс» своим. Правда, это произошло не скоро и неожиданным образом.

Пока шло следствие по делу Мартемьянова, охранка сумела подготовить и при помощи нескольких провокаторов нанести удар по организации: в начале 1909 года провалилась типография, были арестованы А. Сольц, М. Мишин, Б. Шалаев, Мельничанский, Стецкий и Ершов-Максимов. В. Трифонов незадолго до этого провалился в Екатеринбурге и должен был скрыться с уральского горизонта. Он поехал в Ростов, на родину, был схвачен на железной дороге и в то время, как его друзья томились в Тюменской тюрьме, оказался в тюрьме в Ростове. Он просидел там около года, после чего отправился в свою третью ссылку, в Березов.

Но мне хотелось бы продолжить рассказ о Тюмени, ибо тюменские товарищи Трифонова не покидали его долго, некоторые всю жизнь: через восемь лет, в семнадцатом, в Питере, судьба свела Трифонова, и Сольца, и Шалаева, и даже Мишина в одном доме, в одной квартире.

Почему провалилась организация в Тюмени в 1909 году? Кто были провокаторы? Довольно точно это выяснилось лишь после 1917 года. Провокация нависала отовсюду, она была в те годы ежедневным бытом и ночным кошмаром всех революционных партий. В 1908 году все газеты мира писали об Азефе. Ссыльные эсеры признавались, что не знают, как оправится их партия от этого удара. «Провокация дотянулась до нас через существовавшие революционные связи между партиями,— пишет в своих воспоминаниях Б. Шалаев,— а также через личные знакомства. Ясно чувствовалось, что в дальнейшем эта опасность еще больше усилится. Сольц ясно понимал и в разговорах со мной четко формулировал это. Он говорил, что из личного опыта убедился, что наиболее ценные сведения охранка может получить только через провокатора. Откуда же она может знать больше? Поэтому появление провокатора — не случайность, а неизбежность. Что же делать? Свернуть работу — значит погубить все дело. Продолжать? Рано или поздно станешь жертвой провокации. Остается одно: как можно шире развертывать пропагандистскую работу, чтобы она «обогнала» провокацию, вовлекая в революцию все большие массы. Жертвы неизбежны, но их можно значительно сократить путем большего внимания к жизни партийцев. Ведь провокатор рано или поздно выдаст себя своим эгоизмом и отсутствием моральной устойчивости».

Эти четкие умозаключения кажутся сейчас несколько наивными. Да, действительно, провокаторы выдавали себя, но чаще всего это происходило поздно, а не рано. Шесть арестованных — Сольц, Шалаев и их товарищи,— сидевшие в общей камере, целыми днями обсуждали одно: кто провокатор? Для конспирации и для того, чтобы выработалось независимое и беспристрастное мнение, каждый делал выводы самостоятельно, затем все материалы передавались Мишину, тюменскому старожилу, лучше других знавшему не только тюменцев, но и всех приезжих, и тот уже приходил к окончательному заключению. Так было установлено, что провокатор — молодой парень, один из типографских рабочих, Семен Логинов. Вспомнили, как несколько месяцев назад он будто по ошибке принес огромный тюк с прокламациями, напечатанными для екатеринбургской организации (в то время екатеринбургская организация была разгромлена, и для того, чтобы соз-

дать у полиции впечатление, что она захватила совсем не тех людей, в Тюмени напечатали прокламации под маркой Екатеринбургского комитета), не в условленное место, а на квартиру Сольца. Это было грубейшее нарушение правил конспирации, но Сольц не успел даже как следует отругать Логинова: явилась полиция. Тогда, к счастью, все обошлось благополучно. Пристав был настолько уверен в победе, то есть в том, что обнаружит прокламации в комнате Сольца, что не взял обычного наряда полиции, а явился вдвоем с околоточным надзирателем: тут сыграла роль элементарная жадность, ему не хотелось делиться наградой с большим числом людей. Но именно потому, что полицейских пришло лишь двое, тюк удалось незаметно, из окна второго этажа — проделал это дворник, умиравший от страха,— выбросить на улицу и скрыть.

Второй раз полиция действовала более проворно. В типографии были захвачены Логинов и Стецкий, причем Логинову «удалось» бежать, и он, в паническом состоянии примчавшись к Сольцу, успел сообщить ему, что типография провалилась. Зачем он это сделал? Возможно, Логинова послала, инспирировав его побег, полиция, с тем чтобы сохранить предателя и одновременно спровоцировать Сольца на ответные действия,— в таком случае паническое состояние Логинова естественно, он боялся, что будет раскрыт и с ним тут же рассчитаются. Сольц и Шалаев поняли, что бежать практически нельзя, полиция следит за каждым шагом, а кроме того, газета действовала настолько широко, открыто, что бегство редакторов рабочие могли расценить как трусость и измену. Они остались в городе. Через несколько дней их взяли. Но суду еще требовалось доказать, что рукописи, захваченные в типографии (Стецкий бросил их в печку, пытаясь сжечь, но не успел), действительно принадлежат им. После 1917 года в архивах охранки обнаружился документ, подтвердивший догадку насчет Логинова: его расписка в получении мзды от полиции в сумме двадцати пяти рублей.

На том же этаже тюрьмы, где сидели шестеро, в камере смертников томился рабочий Петр Мартемьянов: тот, кого обвинили в ограблении артельщика и приговорили к виселице. Приговор был послан в Петербург на утверждение. Сольц дважды, сидя в каме-

ре, подавал прокурору заявление о том, что Мартемьянов не мог совершить ограбление, так как именно в это время он по его, Сольца, заданию был занят разноской прокламаций. Прокурор считал, что заявления ложны и представляют лишь попытку спасти товарища от петли. Мартемьянов ждал казни. У дверей его камеры день и ночь стоял военный караул. Один из солдат этого караула оказался своим человеком, революционно настроенным — из Тобольского полка, и он помог Сольцу и остальным наладить связь с волей. Судьба Мартемьянова разрешилась неожиданно.

В Тюмени ждали суда, а В. Трифонов снова шел знакомой этапной дорогой из Тюмени в Тобольск. Оттуда предстоял ему длинный путь по Оби в городишко среди лесов и тундры, уже двести лет известный как место ссылки,— Березов. Из Тобольска пароходом больше тысячи верст на север.

Когда вели через Тобольск, отец издали видел знакомый Тобольский каторжный централ: высоко на крутом берегу Иртыша над лугами и лесом серой плотной стеной темнели «пáли», бревенчатый частокол, за «пáлями», невидимая, стояла еще одна, каменная стена, и где-то там, внутри, среди каменных коридоров — брат. За три с лишним года Валентин побывал в двух ссылках, бежал, работал в Екатеринбурге и Тюмени, жил в Ростове, сидел в тюрьме в Саратове, сейчас шел в свою третью ссылку, из которой опять убежит, а брат все годы неотлучно — там, в кандалах.

Каторга — это не ссылка.

И младший, с тоской подумав о брате,— сам этапник, под конвоем стражи,— почувствовал себя почти вольным человеком.

Весь быт каторжных централов — Тобольского, Орловского, Александровского, Нерчинска и Горного Зерентуя — был устроен так, чтобы отбить у человека желание жить. До 1907 года тобольская каторга, как и прочие российские каторжные тюрьмы, находилась в руках «иванов» — главарей уголовников. После разгрома революции пятого года в тюрьмы хлынули тысячи политических, социал-демократов, эсеров, анархистов, максималистов, солдат и матросов, участвовавших в вооруженных восстаниях. Между «иванами» и «политиками» сразу возникла вражда, ибо политические не захотели подчиняться произволу «иванов», а те не желали терять своего главенства в каторжном мире. На-

чалась битва, жестокая, с ночной поножовщиной, со многими жертвами с обеих сторон, хорошо описанная писателями-каторжанами.

Большевики из рабочих, солдаты и матросы, спаянные дисциплиной, латышские «лесные братья» со здоровенными кулаками оказались победителями. В Тобольском централе весною 1907 года четырнадцать грузин, мстя за своего товарища, убитого по наущению «иванов», — он возражал на кухне против того, чтобы «иваны» забирали лучшие куски, напали внезапно на уголовников и зарезали вожаков. Несколько грузин погибло, бой был неравный, но царству «иванов» пришел конец. Один из мемуаристов тобольской каторги Гитер-Гранатштейн рассказывает о «голом бунте», который произошел в 1907 году, — пятьсот человек сняли с себя всю одежду, остались нагими, протестуя против бесчеловечного обращения и истязаний администрации.

В том же году был затеян побег. Много дней рыли подкоп. Через товарищей на воле раздобыли штатскую одежду, паспорта, деньги, несколько револьверов, приготовили квартиру на время пребывания в Тобольске — все это организовывал А. А. Сольц, находившийся в то время в городе. Выдал предатель, началась расправа. Начальник централа Богоявленский, злобный старый тюремщик, бросил зачинщиков в карцер, к нескольким применил розги.

Розги политическим — это было не просто наказание, страшное болью и нередко смертельным исходом, это была провокация, после которой следовали бунты и самоубийства. Тридцать лет назад Вера Засулич стреляла в Трепова за то, что тот посмел наказать розгами землевольца Боголюбова; двадцать лет назад на Каре разыгралась трагедия из-за применения розог к Надежде Сигиде — в знак протеста покончило с собой несколько политических каторжан. Вспыхнул бунт и в Тобольском централе. Возглавил бунт Дмитрий Тохчогло, большевик, недавний киевский студент, получивший каторгу взамен смертной казни за перестрелку с полицией и ранение пристава. (Впоследствии, в Александровском централе, Тохчогло станет близким товарищем Е. Трифонова.) Сохранились прощальные письма к родным, написанные накануне бунта.

Вот письмо Ивана Семенова в Тверскую губернию, на почтовую станцию Микулино-Городище, деревня Бетлево, Ульяне Корниловой: «Дорогая мама! Шлю те-

бе сердечный привет с пожеланием всего хорошего. Дорогая мама, может быть, когда ты получишь это письмо, меня не будет в живых. Я не буду тебе описывать подробно, почему это так, напишу вкратце. Троим из наших товарищей дали розги. Мы не можем оставить этот позор без внимания, а поэтому решили смыть этот позор своей кровью. Завтра мы поднимаем бунт, и, наверно, нас переколют штыками. Другого выхода у нас нет, как только умереть. Дорогая мама, прошу тебя, не плачь обо мне и не упрекай меня за то, что я причинил тебе много горя. Иначе я поступить не мог. Не буду описывать, почему не мог, так как ты этого не поймешь. Итак, прости, прощай! Целую тебя без счета раз! Твой любящий *Иван*».

На другой день бунтари стали «ломать тюрьму», кричать, буйствовать, а когда в камеру ворвались солдаты, заключенные вступили с ними в борьбу. Многие были тяжело побиты и ранены прикладами и штыками, один человек убит: Иван Семенов.

Почти в этот же день начальник централа Богоявленский получил письмо с местным штемпелем: «Нами получены сведения из Тобольской каторжной тюрьмы № 1, что Вы бесчеловечно обращаетесь с нашими товарищами политическими и уголовными заключенными, за что и объявляем Вам смертный приговор, который не замедлим исполнить. Инкогнито».

Через десять дней Богоявленский был убит на улице выстрелом из револьвера. Стрелявший скрылся. Полиция схватила по подозрению некоего Рогожина, местного ссыльного, но убедительных доказательств вины Рогожина не было, и на суде он был оправдан.

В каторжную тюрьму пришел новый хозяин, Могилев. Он прославился как знаменитый молчальник. Заключенных он не замечал, проходил мимо, как глухой, не отвечал на их просьбы, мольбы, оскорбления, проклятья. Он истязал молча. Обычным наказанием стало 30 суток карцера и сотня розог. Могилев ввел новшества: холодные и горячие карцеры. Температура охлаждалась или нагревалась до сорока градусов, горячие карцеры практиковались перед поркой, чтобы разгорячить кровь.

Заключенные протестовали, как могли, отказывались принимать пищу, выходить на прогулку, девять человек пытались покончить с собой. С детства запомнился мне рассказ Евгения Андреевича — не знаю, от-

носится ли он к периоду Могилева или к периоду более позднего инквизитора, небезызвестного Дубяго,— о том, как голодали камерой уже неделю, все были без сил, экономили каждое движение, чтобы продлить борьбу. Начальство не шло на уступки. Один из заключенных не выдержал, говорит: «Товарищи, я больше не могу терпеть. Чтобы не сдаться и не подвести вас, разрешите мне покончить с собой». И вот, лежа на нарах, обессиленные, долго обсуждали вопрос: имеет ли он моральное право уйти от борьбы? Согласились, разрешили.

Русская каторга после пятого года — это история отчаяннейшей войны заключенных «политиков» за свое человеческое достоинство. Сражения этой войны развертывались иногда на таких незначительных плацдармах, из-за таких ничтожных поводов, которые сейчас покажутся пустяками. Но из-за них люди шли на смерть, убивали тюремщиков, убивали себя. Каторжане непрерывно против чего-то протестовали: против того, что начальство обращалось к ним на «ты», против требования тюремщиков приветствовать их словами «здравия желаю» и снимать шапки (некоторые в лютый мороз нарочно выходили на прогулку без шапок, за что получали карцер), против телесных наказаний, против насильственной стрижки волос, протестовали против «подаванцев», то есть подававших прошения с просьбой о помиловании и снижении сроков, и против тех, кто надеялся на царскую милость по случаю трехсотлетия Романовых.

Иногда война немного утихала, начальство где-то сдавалось, в чем-то уступало, и воцарялся смрадный, тягучий мир, но ненадолго. Каторга не могла стать миром по той причине, что она придумана была для убивания духа, а дух — сопротивлялся. И рано или поздно затишье взрывалось кроваво, страшно.

Е. Трифонов писал на каторге в Тобольске стихи. Потом писал и в Александровском централе, куда его перевели в 1913 году. Тоненькая книжка этих стихов «Буйный хмель» —необычный и, может быть, единственный в своем роде образец каторжной поэзии — вышла сразу после революции. Вот стихотворение «Утром».

Звонок подымет нас в ноябрьской мутной рани,
И свет чадящих ламп сметет обрывки грез,
И окрик бешеный, и град площадной брани...
Пора вставать.— Эй, подымайся, пес!

Встаем. Свернем постель и бродим, как в тумане.
Цвель по стенам, как пятна ржавых слез.
Потеки мыльные от мерзостной лохани,
За окнами — безлюдье, сумрак и мороз.

Потом в ряды построит нас свисток,
Молитву проревем нестройно, диким хором.
Стоим и хмуро ждем. Вот загремят запором,
И, грузен, туп и зол, вплывет тюремный бог.
И начинаем день, день скуки и мечтаний,
Жуя ломоть сырой и кислой дряни.

В других стихах он рисует картины тяжелого труда каторжной артели, возвращения домой с работы, ночной маеты. («Полночный час, полночный час! Спит дух, злой дух, что днем зовется...»), он проклинает палачей, мечтает о расплате с ними, вспоминает прошлое («все изломы жизни, горькие ошибки, весь короткий, буйный, бесшабашный путь — ни минуты ясной, ни одной улыбки, ничего, чем мог бы юность помянуть»). Иногда ему кажется, что жизнь навсегда искалечена, кончена, сил нет — и лет ему было тогда всего двадцать семь,— но иногда: «Унынью черному еще я знаю меру! Еще хранит душа моя всю страсть мою, и ненависть, и веру. Нет, вам не сразу сдамся я!»

Он радуется таежной весне, письму с воли, друзьям, которые все вынесли и дожили до свободы.

Вот они уходят:

Вы, упрямцы, умевшие все снести без мольбы и проклятий,
Обнажавшие молча на плахе клейменые плечи,—
Вы уйдете отсюда, как гонцы и предтечи
Все отвергнувшей и на все покусившейся братьи.

Вы уйдете отсюда и покинете банду беспутную,
Этот мир беспокойного и упрямого люда,
Мрак и слякоть, и скуку, и глушь беспробудную,
Все покинете вы и уйдете отсюда...

Матросы и солдаты восьмой камеры решили покончить с Могилевым. Они знали, что идут на смерть. Уговорились вызвать Могилева по какому-то поводу в камеру, напасть на сопровождающих его надзирателей, и во время схватки один из солдат, человек очень сильный, должен был просто задушить Могилева. Но и этот план рухнул, всех выдал перетрусивший уголовник.

8 января 1909 года в камеру пришел старший надзиратель Григорьев, известный своей волчьей нена-

вистью к каторжанам,— он любил говорить: «Я пил и буду пить кровь из заключенных» — и потребовал выдать зачинщиков. Ему ответили ругательствами. Григорьев выхватил шашку и отрубил голову тому, кто стоял ближе. Тогда каторжанин Филиппов, бывший артиллерист, вырвал у Григорьева шашку и отсек голову ему. Надзиратели бросились на заключенных, началась сеча, в которой безоружные каторжане были, конечно, перебиты.

Два месяца зверствовал Могилев: тринадцать человек было повешено, многие замучены порками и карцерами. Восьмую камеру Могилев порол каждый день, давал всем подряд по 150 розог и после каждой десятки розог велел сыпать на рану соль.

В марте 1909 года молчальник Могилев, уже прославившийся по всей Сибири, был убит на улице эсером, бывшим балтийским матросом Н. Д. Шишмаревым.

Новый начальник централа заявил: «Я знаю, что меня тоже могут убить, но режим будет тот же».

Так жила Тобольская каторга и вместе с нею один из сотен ее обитателей — Евгений Трифонов, отбывавший срок под именем Валентина.

У окна в простенке — темный лик иконы,
В мутном полумраке прячутся углы.
Чей-то бред невнятный, чей-то скрежет, стоны,
Да порой о нары звякнут кандалы.

Медлит ночь в безмолвьи, тягостно и жутко,
Зорко тьма глухая стены стережет.
Слух мой ловит что-то напряженно-чутко.
В сердце скука злая, душная растет.

Бьется мысль бессильно, как в тенетах птица.
Липкая тревога ум обволокла.
Память воскрешает забытые лица,
Канувшие в вечность давние дела...

Загасил я гордость — и молчу бесстрастно.
И мирюсь постыдно, холодно терплю.
Только ненавидеть я умею страстно
И упрямо, жадно и напрасно
Эту жизнь бесплодную люблю.

Эсер Шишмарев, казнивший на улице Тобольска Могилева, сделал между тем важное признание: ограбление артельщика в Тюмени было произведено им. Ему нужны были средства для того, чтобы подготовить убийство Могилева.

Петр Мартемьянов был освобожден из Тюменской тюрьмы, военный караул с его камеры снят, а Сольц и его товарищи потеряли надежную связь с волей. Вообще солдаты Тобольского полка в революционных событиях тех лет сыграли заметную роль: они отказались стрелять в заключенных во время бунта в Тобольском централе, они наладили связь тюменских узников с волей, и они же, по-видимому, облегчили судьбу Шалаева и Сольца.

В конце 1909 года состоялся суд: Сольца и Шалаева оправдали за недостатком улик. Подлинные рукописи обоих — те самые, что не успел сжечь Стецкий,— являвшиеся главной опорой обвинения, таинственным образом исчезли из дела. Размышляя в течение почти полувека над загадкой исчезновения рукописей, Б. Шалаев пришел к выводу, что их выкрали писаря по просьбе тобольских солдат. Дело в том, что солдаты Тобольского полка не только сочувствовали революционерам, но и имели повод их отблагодарить: при помощи партии был устроен побег одного солдата, которому грозила каторга, и организовал этот побег Шалаев. Тогда солдаты сказали ему на всякий случай, что у них в тюменском суде есть «свои люди». Четверо остальных обвиняемых — Мишин, Стецкий, Мельничанский и Ершов-Максимов — были сосланы на поселение в Восточную Сибирь.

Мельничанский вскоре бежал в Америку, был секретарем профсоюза металлистов в Бруклине, а в 1917 году вернулся в Питер и жил одно время в той же квартире на 16-й линии, в которой жили Шалаев, Сольц и Трифонов. Джон Рид в своей книге «Десять дней, которые потрясли мир» упоминает Мельничанского как комиссара Военно-революционного комитета в Москве. После революции Г. Н. Мельничанский был на крупной профсоюзной работе.

Когда, бежав тою же осенью 1909 года из Березовской ссылки, В. Трифонов снова попал в Тюмень, почти никого из старых товарищей там уже не было: одни высланы на восток, Шалаев сразу после суда отправился в Нижний Тагил и потом к отцу, в лесничество, а Сольц уехал в Туринск. Через год эти двое встретятся совершенно случайно на Невском, в Питере: Шалаев будет уже студентом Технологического института, а Сольц корректором одного частного книгоиздательства. В руке у Сольца портфель, там корректура последнего романа Сологуба. Но это — для заработка.

Истинным делом Сольца в то время будет его нелегальная работа как члена Питерского комитета...

Итак, Трифонов приехал в город, опустошенный провокаторами. Он действовал осторожно — знал о недавнем печальном опыте Ганьки Мясникова[1], который, бежав из Иркутской губернии, по дороге решил заехать в Тюмень. Шпики увязались за ним. Он обошел нескольких товарищей, никого не заставая дома: всех в тот же вечер арестовали, так же как самого Ганьку. В тюрьме Мясникова свои же избили до полусмерти, и за дело.

В квартире на Большой Разъездной жила одна Эсфирь Сольц. Она рассказала отцу о положении дел в Тюмени и, наверное, посоветовала уехать. Город сквозил, как осенняя роща. Отец не уехал. Был недолгое время секретарем тюменской организации и, по свидетельству ротмистра Полякова, даже «значился кандидатом в члены Комитета». В декабре 1909 года, ночью, его схватили. Кара на этот раз была суровая: «За принадлежность к революционной организации и участие в группе, образованной с целью совершения грабежей и разбоев, выслать под гласный надзор полиции в Туруханский край на 3 года».

Поехал В. Трифонов в свою четвертую ссылку, вернее, не поехал, а пошел: этапом до Красноярска и оттуда тоже этапом на север. Было это весной 1910 года. По одному делу шли в этапе четверо: Пахомов, Дороган, Трифонов и Борисов, тот самый, что стал провокатором. Но тогда об этом еще никто не догадывался, даже сам Борисов. Завербовали его в 1914 году, когда он вернулся из Туруханки. Шли и знали — оттуда не убежишь. Кто и бегал из Туруханки, те большей частью гибли, не добирались до жизни.

В глухих чащах по берегам Енисея, других рек и речушек разбросаны таежные хутора, «станки», один от одного на неделю, а то и на три недели пути, и в них поодиночке, парами, тройками раскиданы поселенцы. Кругом на сотни верст — тайга без края, болота, зверье, смерть. Куда бежать? В 1907 году побежали на север, группой, убивали по дороге страж-

---

[1] Гаврила Мясников — из мотовилихинских рабочих, впоследствии один из лидеров рабочей оппозиции. В 1922 году исключен из партии за антипартийную деятельность.

ников, меняли лошадей, взяли Туруханск с ходу, открыли тюрьму, сожгли бумаги и, спасаясь от войск, выступивших из Красноярска, перли отчаянно все дальше и дальше на север, сквозь морозы ниже сорока, непроницаемый белый туман, через могилы, снега, мимо Дудинки к Ледовитому океану — куда? Главарь был Дронов. Идея, взлелеянная безумнейшим таежным одиночеством: объявить Туруханскую республику, перекинуться в Америку. Всех переловили, перестреляли казаки.

Два с лишним года прошло с тех пор. Власти завинтили запоры, ужесточили режим, с крестьян брали подписку, что те обязуются ловить беглых. За поимку три рубля. Дешевле, чем белку убить, но, однако, деньги.

В Туруханский край ссылали самых неукротимых, кого хотели обезвредить надолго. Был тут Свердлов, был один из вождей закавказских большевиков Сурен Спандарян, был замечательный Иосиф Дубровинский, по кличке Инок, близкий соратник Ленина, побывали тут Калинин, Сталин, Я. Шумяцкий. Ссыльные получали пособие 15 рублей в месяц, деньги небольшие, прожить на них было трудно, а «лишенные прав» и того не имели. Находили кое-какой приработок, жили охотой, рыбой. Выдержать Туруханку с ее ледяным климатом, пургами, непрерывной топкой печей, сырым и коротким летом, мошкарой, с ее белыми, изнуряющими душу ночами, с ее ощущением таежной пустыни и трагической отдаленности от всего остального мира могли люди физически очень крепкие. Спандарян заболел чахоткой и умер. Дубровинский погиб весной 1913 года, и до сих пор неясно, утонул он или покончил с собой. Отец знал Дубровинского, они жили рядом. Отец был первым, кто сообщил в Москву близким об обстоятельствах смерти Дубровинского: «Анна Адольфовна! Могу сообщить очень немного подробностей о смерти Иосифа Федоровича. В ночь на 20 мая — в Туруханском крае ночи в это время не бывает — Иосиф Федорович сел в лодку и выехал на реку; была волна. Иосиф Федорович с лодкой не справился, и ее перевернуло; пока с берега, заметив несчастье, выехали, Иосиф Федорович скрылся под водой: река в этом месте имеет 5 верст ширины, о поисках нечего было и думать; только 27 июня нашли тело Иосифа Федоровича. Вот и все известные мне подробности... Евгений Трифонов». (Отец все еще но-

сил имя брата.) Самоубийства в Туруханке были довольно часты. Об этом пишет в своих воспоминаниях «Туруханка», вышедших в 1925 году, Я. Шумяцкий. Люди уставали ждать, надеяться.

Эпидемия самоубийств в те годы, с десятого по тринадцатый, прокатилась по многим каторжным тюрьмам и ссылкам. Время было глухим и не оставляло надежд. Чего было ждать от замордованного каторжанина в каком-нибудь Горном Зерентуе, когда в Париже уходят из жизни Лафарг и Лаура Маркс? Но если бы те, дошедшие до последней грани, могли знать, что надо выдержать год или два и начнется мировая бойня, а там, из этой бойни...

Несколько лет назад я получил письмо из Уфы от Р. Г. Захаровой. Фамилия ничего не говорила. Прочитав, понял: писала вдова политического ссыльного Филиппа Захарова, который был товарищем отца по Туруханской ссылке. Потом Р. Г. Захарова приехала в Москву, показала свои воспоминания о муже (он погиб в 1937 году), и там было кое-что о Туруханке, о Дубровинском и об отце. Захаров был близок с Дубровинским, жил с ним в одном доме, даже в одной комнате. В этом же станке Байшинском жил некоторое время В. Трифонов.

Вот то немногое, что я нашел в воспоминаниях Р. Г. Захаровой об отце:

«О лишениях, которые испытывал Филипп в Туруханке, он не распространялся. Это была общая участь всех ссыльных, особенно тех, кто не получал материальной поддержки. Заработать там было невозможно. Попробовал он побыть на метеостанции за Полярным кругом, совсем один, но не выдержал одиночества в полярную зиму и вернулся в деревню.

Кроме названных уже мною лиц (Захарова упоминает Дубровинского, Свердлова, Сталина, Л. Р. Менжинскую.— **Ю. Т.**), рассказывал Филипп и о других ссыльных. Но мне запомнился лишь Трифонов Валентин Андреевич. Быть может, потому, что с ним мне пришлось встречаться впоследствии в Москве, о чем речь будет дальше. Говорил он о нем с большим теплом, хотя и характеризовал его как человека сурового, малоразговорчивого, очень волевого. Уважение друг к другу было взаимным, в чем я имела возможность убедиться.

Помнится рассказ о курьезном ответе Трифонова

туруханскому начальству. Вместе с Филиппом он совершил незаконное действие — съездил без разрешения в соседнюю деревню к товарищам. На обращенный к Трифонову вопрос, почему он совершил самовольную отлучку, он серьезно и мрачно ответил: «Потому что у меня были новые сапоги». Ответ так ошеломил начальство, что больше не стали задавать вопросов и наложили какое-то небольшое взыскание».

Вот что, просеиваясь через годы, остается в памяти человеческой: анекдот.

Филипп Захаров мог бы, наверное, вспомнить больше, но его нет. Нет никого. Остались воспоминания о воспоминаниях. А отец пробыл там три года, и взрослел, и однажды едва до смерти не замерз, и набирался ума, и охотился на медведя, и читал, и думал, и надеялся, и готовился к жизни. Отец, так же как Евгений, оставшись сиротой, учился очень недолго — лишь в приходской школе. Он окончил, кажется, четыре класса, а Евгений — два. В графе «образование» оба писали: «низшее». По-настоящему они учились чему-то в тюрьмах и ссылках, особенно в таких, откуда нельзя было удрать. И однако, несмотря на «тюремное» образование, Евгений стал талантливым литератором, а отец глубоко знал экономику, историю, марксизм, военное дело.

Тут главное, что помогало, что двигало,— люди, случайно встречавшиеся на путях и перепутьях. Но случайно ли? Такие люди, как Сольц, как Дубровинский, и должны были оказаться на этих путях: они выбирали их сами. Дубровинский хорошо знал Ленина, жил в Париже, в Лондоне, был отличным математиком, философом, переводил статьи по экономике с английского языка, который он выучил в Туруханке. (Сольц выучил английский в крепости.) Ссыльные в Туруханке получали почти все газеты и журналы, хотя средств на выписку ни у кого, конечно, не было. Делалось так: писали коллективное письмо в редакцию, а оттуда бесплатно высылали издания. Даже суворинское «Новое время» не отказывало.

После гибели Дубровинского осталась его довольно большая библиотека. Ссыльные решили в память о нем сделать библиотеку общей, передвижной. В связи с этой библиотекой Захарова рассказывает такой эпизод:

«По неписаному закону принято было, что каждый

вновь прибывший в ссылку товарищ делал сообщение о положении дел в России. От кого же было ждать более интересного, глубокого освещения всего происходящего в далекой, так давно оставленной России, как не от члена большевистского ЦК? Группа ссыльных, среди которых были Я. М. Свердлов и Филипп, работала в это время в селе Монастырском на постройке. Возводили дом, который, как они знали, должен был служить тюрьмой. К слову сказать, долго решали, имеют ли моральное право ссыльные работать на такой постройке, но решили, что предотвратить использование любого дома под тюрьму они все равно не в силах, а заработать больше было негде, вот и стали строить.

Туда как раз и должен был прибыть Сталин. Дубровинского уже не было в живых.

Филипп, не склонный по натуре создавать себе кумиров, да к тому же слышавший от Дубровинского беспристрастную оценку всех видных тогдашних деятелей революции, без особого восторга ждал приезда Сталина, в противоположность Свердлову, который старался сделать все возможное в тех условиях, чтобы поторжественней встретить Сталина. Приготовили для него отдельную комнату, из весьма скудных средств припасли кое-какую снедь. Прибыл!.. Пришел в приготовленную для него комнату и... больше из нее не показывался! Доклада о положении в России он так и не сделал. Свердлов был очень смущен.

Сталина отправили в назначенную ему деревню Курейку, а вскоре стало известно, что он захватил и перевез в полное свое владение все книги Дубровинского... Горячий Филипп поехал объясняться. Сталин принял его так, как примерно царский генерал мог бы принять рядового солдата, осмелившегося предстать перед ним с какими-то требованиями. Возмущенный Филипп (возмущались все!) на всю жизнь сохранил осадок от этого разговора».

Для бедного Филиппа Захарова хуже было то, что и Сталин, наверное, сохранил осадок от этого разговора.

В марте 1913 года срок ссылки Трифонова кончился, но он на несколько недель задержался в Туруханке: не на что было выехать.

Через восемь лет — уже отгремела революция, прошла гражданская — Филипп Захаров появился в Моск-

ве, и Трифонов устроил его плановиком в Нефтесиндикат, который тогда возглавлял. Но жизнь Захарова сложилась несчастливо: после ссылки он отошел от партии, а после революции не решился вернуться, чтобы не сочли, что хочет примазаться к победителям. Так было не с ним одним. Нечто похожее произошло с Шалаевым. В 1922 году по чьему-то наговору Захаров был арестован и сослан. Отец знал его как честного человека, он хлопотал за него, написал заявление в ГПУ, старался, чем мог, облегчить его участь. И чем-то, кажется, облегчил. Но ненадолго. В воспоминаниях Захаровой все это описано подробно, ибо эпопея с Филиппом Захаровым тянулась долго, вплоть до тридцать седьмого года, когда поставили точку.

Одной из явочных партийных квартир в Петербурге была квартира 21 дома 35 по 16-й линии Васильевского острова. Это шестиэтажный дом скучной поздней постройки. Он стоит и сейчас. Вокруг него по-прежнему теснятся низенькие, невыразительные домишки, а он выглядит солидно и буржуазно. Мама говорила, что в детстве гордилась этим домом, особенно — парадным, где имелись какие-то необыкновенные, выпуклые стекла темно-зеленого цвета. Прошлой осенью я был в Ленинграде, посмотрел на дом — я-то видел его впервые,— но выпуклых стекол не обнаружил. Все-таки они не выдержали такого количества событий: революции, гражданской войны, блокады. Квартира номер 21 находится там же, на шестом этаже.

Полвека назад хозяйкой квартиры была Татьяна Александровна Словатинская, член партии с 1905 года, моя бабушка со стороны матери. Она работала корректором в книгоиздательстве «Просвещение». Когда-то она училась музыке в Вильно (вместе с Эсфирью Сольц), семнадцатилетней девушкой приехала в Петербург, поступила в консерваторию, жила, как жили курсистки, уроками, к шести утра летела на бесплатные лекции профессора Лесгафта, а вечером на галерку слушать Шаляпина, но через два года консерваторию бросила: другая музыка оказалась сильней. К подпольной работе привлек А. А. Сольц. Было это в 1898 году, когда бабушке было девятнадцать лет. Очень скоро, с 1900 года, Е. Д. Стасова приучила ее к «технике» конспиративной работы, жизнь ее определилась: она стала профессиональной революционеркой. В своих

воспоминаниях, оставшихся в рукописи, Т. А. Словатинская писала: «Мне приходилось быть связистом, организовывать партийные собрания, передавать нелегальную литературу, печатать и распространять листовки, снабжать материалами подпольные типографии — все это, конечно, «техническая работа», но в условиях царского режима это была и очень ответственная работа, потому что от четкости ее выполнения зависела свобода, а иногда и жизнь многих наших товарищей».

В Ревеле в 1903 году Т. А. Словатинская познакомилась с М. И. Калининым, который работал тогда на заводе Вольта, а через три года на явочную квартиру Т. А. Словатинской в Петербурге (тогда еще на Забалканском проспекте, в доме 40) приехала молодая эстонская девушка Катя Лоорберг, участница забастовки на Балтийской мануфактуре; она скрывалась от полиции, ей достали билет на пароход и дали «явку» в Питер на Забалканский. С этой девушкой у Словатинской сохранилась дружба на всю жизнь. В квартире на Забалканском Катя Лоорберг познакомилась с М. И. Калининым и стала вскоре его женой, Екатериной Ивановной Калининой. В начале 1906 года на этой же квартире на Забалканском проспекте проходило важное партийное собрание, на котором присутствовал Ленин.

Из воспоминаний Т. А. Словатинской:

«Мою квартиру выбрали потому, что она была очень удобна в конспиративном отношении. Она находилась на 4-м этаже, на 5-м была лечебница, а на 3-м зубной врач. К врачу и в лечебницу всегда ходило много народа, и поэтому приходившие товарищи не вызывали подозрений. Они расспрашивали у швейцара о лечебнице, а шли ко мне.

Должно было собраться человек пятнадцать, в том числе Е. Д. Стасова. Секретарь собрания тов. Эссен (партийная кличка «Зверь») сказала мне, что сейчас придет Ленин, он точен всегда. И действительно, точно в условленный срок, когда я побежала открыть, я увидела Ленина. Владимир Ильич прошел с черного хода, через большой двор, проследил, не идет ли кто за ним, а когда поздоровался, первыми его словами были: «За мной никого нет, чисто!» Этими короткими словами он показал свою дисциплинированность опытного подпольщика: важно было не притащить за собой «хвост», шпика. Ведь тогда, после кратковремен-

ных «свобод» девятьсот пятого года, многие товарищи стали нарушать правила конспирации.

На собрании обсуждался вопрос о предстоящих выборах в Первую Государственную думу. Ленин говорил, что революция не кончилась, и разоблачал вредность конституционных иллюзий, говорил, что дума — это подделка и полицейский обман.

К сожалению, мне, как хозяйке, надо было все время следить за домом и быть начеку, так что в тот раз как следует послушать Владимира Ильича не удалось».

Много раз и позже встречалась Т. А. Словатинская с Лениным: в 1907 году в Куоккале, после революции в Таврическом дворце, в Смольном и потом в Москве, когда работала дежурным секретарем в Бюро секретариата ЦК.

В десятом или, может быть, в одиннадцатом году Т. А. Словатинская поселилась с сыном Павлом и дочерью Женей, моей будущей матерью, на Васильевском острове, на 16-й линии. Квартира была большая и так же, как прежняя, на Забалканском, стала явочной. В одной из комнат жил А. А. Сольц, приехавший после Тюменской ссылки, потом по рекомендации Сольца переехал туда же Б. Е. Шалаев с женой. Шалаев учился в Технологическом институте. Несколько дней на этой квартире прожил Сталин. Его тоже привел Сольц.

Т. А. Словатинская вспоминает:

«В 1912 году, бежав из ссылки, И. В. Сталин приехал в Петербург. В это время у меня на квартире жил А. А. Сольц, или, как считал старший дворник, господин Кац. Он «снимал» маленькую комнату за кухней, предназначенную для прислуги. Однажды он сказал, что приведет товарища кавказца, с которым хочет меня познакомить. И тут выяснилось, что этот кавказец с партийной кличкой «Василий» уже несколько дней живет у Арона, не выходя из комнаты. Уж не знаю, как они там помещались вдвоем на узкой железной кровати. Видно, все те же неписаные законы конспирации не позволяли им даже мне открыться в первые несколько дней. В самом деле: квартира явочная, хозяйка живет по чужому паспорту, жилец тоже по чужому, а гость к нему приезжает — беглый ссыльный. При таких данных можно было опасаться каждого случайного взгляда: кухарки, других жильцов, детей, не говоря уже о дворниках.

Так я познакомилась со Сталиным. Он показался мне сперва слишком серьезным, замкнутым и стеснительным.

Казалось, больше всего он боится чем-то затруднить и стеснить кого-то. С трудом я настояла, чтоб он спал в большей комнате и с бо́льшими удобствами. Уходя на работу, я каждый раз просила его обедать с детьми, оставляла соответствующие указания работнице. Но он запирался на целый день в комнатке Арона, питался пивом и хлебом и много писал. В то время И. В. руководил кампанией по выборам в думу.

Примерно с неделю он жил с нами. Я, как связист ПК, выполняла и его поручения, главным образом по связи с людьми, передаче каких-либо партийных документов. Один раз по заданию ЦК у меня на квартире было проведено собрание представителей районов. Собрались товарищи с Выборгской стороны — двое, из-за Невской заставы, с Путиловского завода и др. Сталин вел собрание и предложил мне секретарствовать. На повестке дня того совещания был вопрос о подготовке к выборам в Госдуму. Разбирали кандидатуры. Выдвинули тт. Бадаева и Н. Д. Соколова.

Помню, как мы втроем, Василий, Арон и я, ездили на студенческий вечер. В тот период мы часто с каким-либо студенческим землячеством устраивали вечера-концерты, якобы с благотворительной целью, а на деле, чтоб собрать деньги для партии. На вечерах удобно было устраивать встречи с нужными товарищами и, если позволяла обстановка, обмениваться двумя-тремя словами, не прибегая к явочным квартирам.

В тот вечер все у нас обошлось благополучно, а вот позднее и Арон, и Сталин были арестованы. Сталина арестовали весной 1913 года на благотворительном вечере в Калашниковской бирже. Помню всю историю, как сейчас.

Сталин сидел за столиком в одной из комнат и беседовал с депутатом Малиновским, когда заметил, что за ним следят. Он вышел на минутку в артистическую комнату и попросил кого-то из товарищей вызвать меня из буфета. (Я дежурила там, так как сбор с буфета тоже шел в нашу кассу.) Мы разговаривали всего несколько минут. И. В. успел сказать мне, что появилась полиция, уйти невозможно, очевидно, он будет арестован. Он попросил меня сообщить в ПК, что перед концертом он был у Малиновского и думает теперь, что оттуда и следили.

Действительно, как только он вернулся на свое место, к столику подошли двое в штатском и попросили его выйти. Сделали они это тихо и деликатно. Публика не обра-

тила внимания, вечер продолжался. О том, что Малиновский провокатор, никто еще не знал, однако этот случай показался подозрительным. (После революции Малиновского расстреляли по приговору партийного суда.) Впоследствии И. В. рассказывал, что, когда в день ареста он зашел по делу к Малиновскому домой, тот очень настойчиво звал его с собой на концерт. И. В. совсем не хотел идти, отговаривался тем, что у него нет настроения и вообще он совсем неподходяще одет, но Малиновский пристал, даже нацепил какой-то свой галстук. Сталина выслали в Курейку. По поручению ЦК я раза два отправляла ему посылки: какую-то, помню, тельняшку, какие-то 50 рублей дал мне Н. Н. Крестинский».

Я перечитываю эти строки со смешанным чувством изумления и горечи. Т. А. Словатинская писала воспоминания незадолго до смерти, в 1957 году. О Сталине уже было много сказано на XX съезде. И Словатинская могла беспрепятственно окинуть взором всю свою жизнь и жизнь своей семьи, разрушенной Сталиным: зять ее погиб, сын Павел был сослан, восемь лет отбыла в ссылке и дочь — та девочка Женя, которая когда-то встречала Арона и Василия в квартире на 16-й линии. Но и отзвука всей этой боли нельзя найти в воспоминаниях Т. А. Словатинской. Что ж это: непонимание истории, слепая вера или полувековая привычка к конспирации, заставлявшая конспирировать самую страшную боль? Это загадка, которая стоит многих загадок. Когда-нибудь ей найдут решение, и все, вероятно, окажется очень просто. Когда-нибудь! Но что делать сейчас? Я долго колебался: помещать или нет воспоминания бабушки о Сталине в «Отблеске костра». Они могут показаться некстати. Но, поразмыслив, решил, что поместить надо, потому что основная идея — написать правду, какой бы жестокой и странной она ни была. А правда ведь пригодится — когда-нибудь...

В начале 1914 года В. Трифонов приехал в Петербург. В своей автобиографии — два пожелтевших листка сохранились в его архиве — он пишет об этом времени кратко: «После ссылки приехал в Питер. Поддерживал связь с организацией через тт. Молотова, Калинина, Залуцкого и других. В конце 1916 года с Егором Пылаевым организовал типографию Питерского комитета партии». Отец пришел на явочную квартиру, где жили его товарищи по Тюмени Сольц и Шалаев, где его знали по письмам. («Познакомился тут с замечательными ребя-

тами: казаки, братья Трифоновы»,— писал Сольц Словатинской из Тюмени. С Евгением он познакомился заочно, по письмам.) Вскоре поселился в этой же квартире и прожил там до дней революции. В четырнадцатом году Сольца там уже не было: в начале года он бежал из Нарымской ссылки, приехал в Москву, и, когда началась мировая война, вернее, в самый ее канун, в июле, когда объявили всеобщую мобилизацию, Сольц по решению московской организации большевиков написал и выпустил для распространения среди солдат прокламацию «Долой войну!». Эта листовка наделала большой шум. Преданный провокатором, Сольц был арестован 31 июля 1914 года и приговорен военным судом к двум годам крепости. В квартире на 16-й линии он появился лишь в конце шестнадцатого года.

Но Шалаев там жил. Как раз весною четырнадцатого года он окончил Технологический институт и вскоре стал работать помощником главного механика на Петроградском трубочном заводе. Историю с типографией он помнит: «Трифонов обратился ко мне с предложением организовать на Трубочном заводе производство деталей печатного станка для нелегальной типографии ПК. По условиям моей технической работы я всецело был поглощен эксплуатацией паровых котлов, в связи с чем к работе нашей главной ремонтной мастерской имел малое отношение и не мог там сам командовать. Поэтому пришлось договориться, чтобы ведением этого сугубо конспиративного дела занимался кто-либо из опытных и надежных рабочих. Надо сказать, что станок был почти совсем готов, когда надобность в нем окончательно миновала: пришла Февральская революция».

О днях Февраля в Питере, о морозах, о голоде, о разгромах булочных, о том, как отчаявшиеся бабы били городовых скамейками, на которых сидели часами в хлебных очередях, о слухах, о заговорах, о тревожных вестях с фронта, о том, как потрясали столицу валы забастовок, как гребень валов становился все грознее, как бездарный русский царь пытался судорожно и бессмысленно себя спасти, как фрондировала и трепетала дума, как панически интриговали союзники, как люди революции, проникшие везде и повсюду, раскачивали и раскачивали эту лодку, уже черпавшую бортом воду, и как случилось то, что должно было случиться,— обо всем этом писали много, страстно, по-всякому. Писали вскоре после событий, по горячим следам, писали, отдышавшись, через год-другой,

через пять лет, через десять, писали в Питере и Москве, в Берлине, Софии, Париже. Все эти воспоминания, записки очевидцев (горделивые и стройные — победителей, полные стенаний, упреков и злобы — побежденных) имели одну общую черту: оценку того, что было, с позиций сегодня. Чем более проходило времени, тем рассудительнее становились оценки.

В. Трифонов с первых дней Февральской революции стал секретарем большевистской фракции Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Эту обязанность он исполнял до июня, когда, по собственным его словам, «сдал секретарство М. М. Лашевичу». Значит, он был в гуще событий, в водовороте Таврического дворца, где находился Исполком Совета и рядом заседали думские деятели; значит, при нем арестовывали министров, волокли Щегловитова, был обнародован знаменитый «Приказ № 1», упразднивший власть офицеров, при нем вооруженный народ залил все помещения, все лестницы дворца «каким-то серым движущимся кошмаром, кошмаром говорящим, кричащим, штыками торчащим, порой извергающим из желтых труб «Марсельезу», по злобному выражению Шульгина. И он сам был частью этой толпы, которая Шульгину показалась кошмаром и стала потом действительным кошмаром его эмигрантских ночей. Главной задачей в эти дни, даже часы Февраля, было: восстанавливать связи. Большинство опытных работников партии находились вне Питера, в эмиграции, в ссылках. Те же, кто успел приехать в первые дни, кто вышел из тюрем, из потаенных квартир, стремились как можно быстрее найти товарищей. Все шли к думе, к Таврическому дворцу: там встречались, узнавали новости, организовывались, слушали охрипших ораторов, кричали «ура».

Не знаю, что отец делал конкретно в эти дни. Знаю только, что он был там, в Таврическом, в эпицентре всероссийского землетрясения.

И снова я думаю о том, что лучший художник — время. Проза Тацита и Пушкина прекрасна не только сама по себе, но и потому, что над нею трудилось время. Оно окружило каждую фразу и каждую мысль такой далью, таким простором, какие не под силу создать никому из смертных.

Это касается великого искусства.

Но даль и простор иногда превращают в искусство то, что никогда не было искусством, потому я и думаю, что

время обладает этой странной силой: даром художественности. Дневники, письма, деловые записки, судебные протоколы и военные реляции с ходом лет приобретают неожиданные свойства. В старых и немудреных словах, сказанных когда-то мимоходом, по делу, кристаллизуется поэзия. Со словами происходит то же, что с химическими элементами: распадаясь с течением времени, они возрождаются к новой жизни в другом качестве.

Ни один мемуарист не может избежать невольной и бессознательной саморедактуры. Когда же редактуру берет на себя время, тогда возникает феномен художественности. Время ничего не дописывает и ничего не вычеркивает, оно действует как-то иначе. То, что убито временем, то уж убито окончательно, а то, что осталось жить, то живет удивительной, меняющейся жизнью.

Так вот, на 16-й линии Васильевского острова...

Словатинская ничего не записывала в те годы. Не вел никаких записей и отец. Не вели дневников и другие большевики, бывавшие в этой квартире: Сольц, Егор Пылаев, Залуцкий, Калинин. И не только из привычной конспирации, но и потому, что искренне не считали свою жизнь чем-то замечательной и достойной увековечения. А когда началась революция, у них и вовсе не стало времени.

Но у Словатинской был сын Павел. В 1917 году ему исполнилось четырнадцать лет. Он учился в пятом классе Второго Василеостровского коммерческого училища, и вот он-то вел дневник. Он писал каждый день, очень сухо, по-деловому, ибо, к счастью, не обладал склонностью к литературе. Но — каждый день! Выросший в революционной семье, он все события видел по-своему, он повторял сведения, которые слышал от взрослых, и знал при этом, что можно доверять дневнику, а что нельзя: иногда недоговаривал и шифровал, повинуясь законам конспирации. О событиях Февральской революции он писал подробно и длинно, это было то, что потрясло, что сразу нарушило весь ход жизни, но потом, когда после июля партия ушла в подполье,— жизнь и разговоры старших отразились на жизни детей — записи делались все скупее, оборванней.

Вот записи февральских дней 1917 года из дневника Павла:

«25 февраля.

Встал в 8.30. Пошел в школу, на углу Большого пр. встретил наших школьников, они все смотрели по направ-

лению 14-й линии. Там шла толпа рабочих забастовщиков, кричали «ура!». Была полиция, казаки, но не разгоняли толпу. Стояла рота солдат Финляндского полка, но офицер ее поспешно увел. Рабочие остановили трамвай, потом какой-то кондуктор в рыжей папахе крикнул: «Господа товарищи! Идем снимать с Трубочного завода!» «Урра!» Все пошли по 16-й линии. Мы пошли в школу. Там почти никого нет. Занятия были только у нашего класса. После 3-х уроков нас распустили. Я зашел домой, оставил книги, сказал, что вернусь к 5-ти часам, и пошел к Гене. Мы решили пройти на Петроградскую сторону, посмотреть трамваи, которые повалили забастовщики. Шел мелкий снег, было —6°. Мы пошли по Среднему пр. На улице маленькие мальчики устроили драку, кричали: «Бей казаков!» Везде у лавок хвосты. Трамваи не идут. Вместо трамваев некоторые ломовики развозят людей. Мы перешли через мост, через Марсово поле и скоро дошли до Невского. На Невском масса народа, все идут по направлению к Знаменской пл. Мы с Геней пошли туда. На Аничковом мосту поперек моста стояли два ряда конных казаков, но только для виду, они всех пропускали. Вскоре мы увидели красные флаги. Мы догнали главную массу рабочих и пошли с ними. Пели «Марсельезу» и другие революционные песни. Изо всех окон смотрели люди, некоторые махали платками. Это очень возмутило рабочих. «Трусы!— кричали все.—Выходите на улицу! Это вам не представление!», «Выходите, трусы!», «Буржуи!» Грозили выбить стекла, но не было камней. Когда вышли на Знаменскую пл., то устроили митинг. Толпа была тысяч 30. У памятника Александру III вышли несколько ораторов, произносили речи. Раздавались крики: «Долой войну! Долой самодержавие! Долой правительство! Долой думу! Да здравствует Совет рабочих депутатов!» — и громче всего: «Амнистия!!!» Вокруг площади стояли казаки, солдаты, но они не разгоняли толпу. Когда им велели разгонять, они медленно проезжали сквозь народ, солдаты еле протискивались. Рабочие кричали: «Ура, казаки! Вы наши братья, присоединяйтесь к нам!» Вдруг на другом конце площади у Николаевского вокзала раздались выстрелы. Произошла паника, все бросились бежать, но со всех сторон раздались крики: «Товарищи, стойте! Холостые патроны!», «Назад, товарищи!» Все вернулись назад. Оказалось, что на другом конце площади, у Николаевского вокзала, конные городовые начали разгонять

толпу. Казаки бросились на городовых и ранили помощника пристава...»

Это не совсем точно: казаки действительно оттеснили полицейских, пытавшихся разогнать митинг, причем был убит полицейский пристав Крылов.

Мы с Геней протиснулись туда. Толпа волновалась, раздавались крики: «Бей городовых!» Окружили нескольких солдат, кричали, что они наши братья, что мы будем бить только городовых. Солдаты стояли смущенные, растерянные, улыбались. Кое-кто пробовал их обезоружить, но они не отдавали своих винтовок. Вдруг в толпе появился автомобиль, на нем несколько военных. Все бросились туда, хотели их перебить, но раздались крики: «Раненый солдат!», и их пропустили. В толпе стали носить на палках потерянные шапки. Отряд солдат хотел пройти сквозь толпу, их не хотели пускать, они сказали, что идут обедать, их пустили. Казаки то уезжали, то снова появлялись. Стали снова произносить речи. Один рабочий поднялся и размахивал саблей, которую он у кого-то отнял. Вдруг в толпу врезался отряд солдат. Все думали, что они хотят арестовать ораторов, но они только отняли саблю и ушли. Ораторы предлагали идти к арсеналу, чтобы вооружиться, говорили, что надо выбрать Временное правительство и Совет рабочих депутатов, идти к Предварилке, чтобы освободить заключенных. В конце концов решили идти к Казанскому собору, чтобы там назначить час выступления на завтра. В толпе мы встретили В. А. (В. А. Трифонова. Павел везде называет его инициалами.— **Ю. Т.**). *Как только все тронулись по Невскому, появились драгуны (инородцы) и стали разгонять. Они скакали во весь опор вдоль по Невскому и размахивали нагайками, но не хлестали. Несколько человек было сшиблено с ног. Им удалось рассеять толпу и отнять красные флаги. Так как было уже больше четырех часов, мы решили идти домой. В. А. остался там. Мы повернули на Знаменскую ул. За нами все бежали, кричали, что драгуны уже хлыщут нагайками. Мы повернули на Мал. Итальянскую, потом на Литейный и вышли опять к Невскому. Навстречу нам бежали люди, мы услыхали выстрелы. Впоследствии я узнал, что у Гор. думы на крыше был поставлен пулемет, который стрелял по толпе, было убито несколько студентов. Мы повернули назад и по Симоновской дошли до Михай-*

ловской и опять вышли на Невский. Там уже ничего не было, только вдали была видна толпа, и все шли туда. Мы пошли домой. Идя по Конногвард. бульвару, мы слыхали как бы частые пушечные выстрелы. Я пришел домой в 6 ч. Мы очень устали, я в этот день прошел больше 18 верст. Когда я пришел домой, В. А. был уже дома. Б. Е.[1] *рассказывал, что у них на Трубочном заводе, когда рабочие забастовали и вышли на двор, какой-то прапорщик застрелил одного рабочего. Был Андр. Фед.*[2]*, говорил, что у Государственной думы была демонстрация и расстрел. Вечером у Казанского собора была толпа, полиция стреляла, были убитые».*

«28 февраля.

...По всему Вас. острову идет стрельба. Городовые засели на чердаке и стреляют из пулеметов. Говорят, что и в нашем доме сидят городовые. По нашему дому открыли огонь с улицы. Все жильцы вышли на лестницу. Внизу раздался стук, ворвались унтер-офицер и несколько солдат Финляндского полка. Они искали городовых, которые засели в нашем доме, но никого не нашли. На Среднем пр. взяли участок и мировой суд и все бумаги сожгли. По воздуху летают обгорелые клочки бумаги... В нашем доме организуется домовой комитет, чтобы осмотреть весь дом, все чердаки, нет ли где городовых. Б. Е. Шалаев выбран председателем. Решили устроить дежурство у ворот, чтобы чужих не пускать. Я дежурил с двумя студентами с 4 до 6 ч. В это время пришли человек 50 вооруженных солдат и рабочих, объявили, что в нашем доме спрятано два пулемета, угрожали всех расстрелять и поджечь дом. Они произвели обыск по всему дому, отобрали у одного капитана шашку и револьвер, больше ничего не нашли. Потом забрали все домовые книги, разложили костер и сожгли. Издали видно было, как горит Суворовский полиц. участок. То и дело проезжают автомобили, им кричат «ура!». В. А. вернулся поздно ночью. Он был в думе. При нем арестовали Хабалова, Штюрмера, Питирима и Протопопова. В. А. назначен комиссаром Совета рабочих депутатов на Васильевском острове».

---

[1] Б. Е. Шалаев.
[2] Под этим именем автор дневника знал Егора Пылаева.

«4 марта.

Встал в 9.30. Занес на 13-ю линию (Совет) газеты с Геней, дела не было. В 2 ч. все пошли на собрание соц. дем. на Большом проспекте, 88. Там было человек 70, много говорили, решили организовать агитаторов, выслушали доклады Совета раб. деп. ПК и резолюцию «инициативной группы». Я записался в партию. После ждали до 6.30 газеты «Правда» № 1, но она еще не вышла. Дома читал Диккенса «Тайна Эдварда Друда».

Первый номер «Правды» после почти трехлетнего перерыва вышел на следующий день, 5 марта. Четырнадцатилетний автор дневника поглощен работой в районном Совете: он собирает деньги, развозит экземпляры газет, брошюры, помогает секретарю райкома. Почти каждый день он бывает в Таврическом, выполняет поручения Стасовой, самые разные. 29 марта, например, есть запись о том, что он ездил к Чхеидзе, отвез ему соболезнование ЦК по поводу нечаянного самоубийства его сына; потом это соболезнование было опубликовано в «Правде». Дальше в тот же день:

«Поехал в редакцию «Правды», Мойка, 32, взял 10 комплектов газеты. Заехал домой, завтракал. Потом поехал в Таврический дворец, завез газеты. Оттуда поехал в «Прибой» с тов. Карлом Андреичем за литературой. Взяли 16 пачек брошюр, назад поехали на автомобиле с тов. П. П. В думе я продавал брошюры в Екатерин. зале, потом перешел в Секретариат ЦК. Вечером завез в «Правду» статью т. А. П. Молотова (В. М. Скрябин)...»

Вот так летят его дни. Прекрасное время! Занятия в школе идут через пень-колоду, ученики не являются, учителя тоже, на уроках все без конца разговаривают. Слухи, новости, рассказы о том, что случилось вчера, сегодня и вот только что на соседней улице. Учителя говорят о французской революции. Вместо урока физики директор Викентий Викентьевич, взволнованный, рассказывает о Польском восстании, о народовом Жонде.

И — страстное, всеобщее, повальное увлечение демократией!

«Из Лентовской гимназии прислали повестку, просят прислать делегатов для основания ученической газеты. Было собрание всей школы, выбрали меня. В 6.15 поехал в Лентовскую гимназию, там были делегаты от 32-х учебных заведений».

Авторитет Павла внезапно вырос: еще бы, он свой человек в районном Совете, у него друзья матросы, с боевым кронштадтцем В. Панюшкиным он развозит брошюры и газеты, а его сосед по квартире В. А. Трифонов работает в Петроградском Совете и должен знать все последние новости.

Наверное, В. А. Трифонов знал много. Но всех последних новостей в то время не знал никто. С каждым днем Петроград наполнялся людьми, освобожденными из тюрем, прибывшими из дальних ссылок, с каторги. Приехал из Тюмени Мишин, рассказал потрясающие новости, которые, впрочем, не потрясли никого, кроме Шалаева, Сольца и Трифонова: по документам охранки, только что обнаруженным, стало ясно, что Петр Мартемьянов, тот самый, кого всеми силами старались спасти от виселицы, сделался потом штатным осведомителем. Ах, давно это было, неинтересно, ненужно, забыто, к черту! Сольц приехал из Москвы 2 мая, привез с собой Е. А. Трифонова, который после выхода из Александровского централа жил поселенцем в Усть-Куте, на Лене.

Многолетний каторжанин, изжаждавшийся по делу, по людям, с разгона влетел в водоворот событий. Господи, представить себе недавних пленников, много раз терявших надежду, в Питере, в мятежной столице, где хозяйничала революция, где все трещало, все рушилось и где была весна и сверкало небывалое солнце семнадцатого года! Уже на следующий день, 3 апреля, Евгений Трифонов, вместе с братом, с новыми друзьями, был на вокзале и встречал Ленина. Был с ними и упорный летописец, он записал наутро:

«3 апреля, понедельник. Солнце.

Встал в 9.45. Поехали в думу. Там я попал на заседание Сов. солд. деп. Председателем был Чхеидзе, тов. председ. Керенский. Был доклад рабочей и продовольственной секций. На заседании был Плеханов (он недавно приехал из Англии). После перерыва был доклад военной секции. В середине я ушел, мы поехали домой

обедать. Потом (в 7 ч.) мы поехали встречать Ленина и других эмигрантов, которые приехали из Швейцарии. Мы поехали сперва в ПК (дворец Кшесинской). Там открылся солдатский клуб «Правда». Был митинг. Через несколько времени мы все вышли, построились колонной и со знаменами пошли на Финляндский вокзал. Впереди ехал бронированный автомобиль. На Нижегородской мы остановились, а ПК и ЦК пошли к вокзалу. К нам присоединился какой-то полк и несколько заводов. Потом все пошли к вокзалу. Там стояли довольно долго. Подошел Василеостровский район с милицией и оркестром Московского полка. Стало очень темно. На броневике зажгли прожектор. Подошли все городские районы. Было очень красиво, масса знамен, освещенных прожектором. Было тысяч 30 народу. В 11.30 подошел поезд. Их встретили «Марсельезой». В середине толпы расчистили проход, и по нему проехал Ленин на бронированном автомобиле со знаменем ЦК, освещенный прожектором. Все кричали «ура!». Внутрь пускали по билетам. Мы прошли. (Автор дневника имеет в виду партийные билеты; он недавно получил такой билет, поэтому гордо пишет: «Мы прошли». — **Ю. Т.**) *Ленин вышел на балкон и говорил речь. После говорил Зиновьев и другие. Прожекторы все время освещали толпу. Потом толпа разошлась. Все закусили и спустились в зал. Там Ленина приветствовали представители всех районов и делегаты из разных городов. Потом Ленин рассказал о положении дел в Зап. Европе и сказал, что русская революция должна перейти во всемирную социальную революцию. Под конец все спели «Интернационал» и разошлись. Мы пришли домой в 5 час. утра. Лег в 5.15».*

На другой день Ленин выступал в Таврическом дворце на общем собрании социал-демократов, участников Всероссийского совещания Советов, со знаменитыми Апрельскими тезисами. Автору дневника посчастливилось быть и там. Он записал скупо, пожалуй, чересчур скупо:

«Я попал на хоры. Председателем выбрали Чхеидзе. Войтинский сказал о цели заседания и перечислил фракции, присутствующие здесь: б-ки, м-ки, Бунд, объединенцы и пр. За ним говорил Церетели о необходимости объединения. Потом выступил Ленин. Он произнес большую речь, высказался решительно против объединения, сказал, что все вожди социал-демократии всего мира

предали дело социализма, и потому предлагал основать новую коммунистическую партию. Сказал, что вся власть должна перейти к Советам рабочих, солдатских, крестьянских и батрацких депутатов. Потом я должен был ехать в «Правду» и других ораторов не слышал».

Конечно, автор был слишком юн, чтобы по-настоящему оценить всю важность этого дня и выступления Ленина. История России и, может быть, мира в этот день качнулась круто.

Апрельские тезисы с ошеломляющей ясностью объявили всем, что своеобразие момента «состоит в *переходе* от первого этапа революции, давшего власть буржуазии в силу недостаточной сознательности и организованности пролетариата, — ко *второму* ее этапу, который должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства». Сейчас это кажется хрестоматийной истиной. Каждый школьник знает, что буржуазная революция должна была перейти в пролетарскую. Но тогда, в апреле, когда история лишь творилась, пророчество Ленина — даже не пророчество, а твердой рукой нарисованная картина того, что должно быть и что будет, — ошеломило не только врагов, но и друзей революции. Кадеты, буржуа всерьез перепугались, большевики же отчетливо поняли суть происходящего, и у них захватило дух от того, что открылось. Это не пустые фразы, которые легко сочинять спустя пятьдесят лет. Мать говорит, что В. Трифонов не раз с волнением вспоминал о том, как он впервые услышал Апрельские тезисы и как у него вдруг на многое открылись глаза, а он был человек, очень уверенный в себе и редко признававший, что кто-либо на что-либо мог ему открыть глаза.

В одном из пунктов тезисов говорилось об устранении полиции, армии, чиновничества, то есть о замене постоянной армии всеобщим вооружением народа. Это было то дело, которому отец посвятил себя в ближайшие месяцы.

После Февраля в Питере организовалась довольно сильная десятитысячная рабочая милиция, но большевики стремились к созданию новой вооруженной силы пролетариата — Красной гвардии. Шестой съезд партии наметил ленинский курс на вооруженное восстание против Временного правительства.

В день закрытия съезда группа опытных партийных работников, организаторов Красной гвардии в

районах Питера, избрала так называемую «инициативную пятерку», которая, по существу, явилась первым общегородским центром Красной гвардии. В пятерку вошли: В. Павлов, В. Трифонов, Е. Трифонов, И. Жук и А. Кокорев. Через несколько дней к ним примкнул В. Юркин. История действий «инициативной пятерки» была почти неизвестна нашим историкам. Единственное упоминание о «пятерке» имелось во втором издании книги Е. Пинежского о Красной гвардии (1933 г.), но и этот автор никакими подробностями не располагал, а лишь ссылался на разговор с В. Трифоновым, который во многом критиковал первое издание книги Пинежского, вышедшее в 1929 году.

Вообще надо сказать, период июля — августа 1917 года и деятельности Красной гвардии считался в нашей исторической науке наиболее глухим и неясным. Принято было считать, что в это время Красная гвардия, подавленная тяжелыми июльскими событиями, свернула свою работу, распылилась, ушла в подполье. Принято было также считать, что общегородской центр по руководству Красной гвардией возник лишь в сентябре, когда была создана Центральная комендатура Красной гвардии, куда, кстати, вошли все члены «инициативной пятерки». На самом деле такой центр существовал и действовал раньше.

Подтверждением этого оказались сохранившиеся в архиве В. Трифонова документы той эпохи — подлинные, написанные рукою отца протоколы заседаний «инициативной пятерки», проходивших в августе 1917 года. Сохранилось семь таких протоколов. Из них видно, что Красная гвардия в эти трудные месяцы вовсе не свернула своей работы, а, наоборот, продолжала наращивать силы, создавать новые отряды, обучать рабочих и — что особенно важно — продолжала неустанно вооружаться. Добыча оружия была главной заботой «инициативной пятерки». Действия «пятерки» явились практическим выполнением намеченного Лениным и принятого Шестым създом партии плана вооруженного восстания. Неудивительно: все члены «инициативной пятерки», за исключением И. Жука, были большевиками.

Кто были эти люди, возглавившие Красную гвардию? Все они проявили себя как организаторы красногвардейских отрядов в районах. В. Трифонов был одним из руководителей Красной гвардии Василеостровского района.

Владимир Павлов, рабочий автомобильного завода «Русский Рено», был членом партии большевиков с 1911 года. Он вел партийную работу сначала в Выборгском, потом в Пороховском районе и в «инициативной пятерке» представлял эти районы. В октябрьские дни он был комиссаром тюрем на Выборгской стороне, потом ушел на фронт с одним из первых красногвардейских отрядов. В 1919 году В. Павлов — начальник штаба бригады на деникинском фронте, в 1920 году — командир бригады на польском и врангелевском фронтах. Затем он работал на Дальнем Востоке, был председателем Авиатреста, одним из организаторов нашей авиапромышленности. Погиб в 1925 году, случайно попав под поезд. В «Правде» от 2 сентября 1925 года, в некрологе, посвященном В. Павлову, набросан такой беглый портрет: «Этот большой, немного сутулый, рыжеватый человек с умным лбом и небольшими серыми, живыми, всегда немного насмешливыми глазами никогда не выдвигал себя вперед, не показывал себя «с лучшей стороны», он делал то, что нужно было делать, и делал это хорошо и мужественно... Павлов был гораздо крупнее, чем казался. Это был сильный и умный человек, крепкий революционер, стойкий большевик».

Евгений Трифонов еще с весны включился в организацию Рабочей гвардии или, говоря точнее, Рабочей милиции на Путиловском заводе. Один факт, что человек, едва отдышавшийся после каторги и, по существу, новый в городе, неизвестный путиловцам, стал активнейшим организатором на громадном заводе, говорит о многом: сколько внутренней энергии скопилось в этих людях, вернувшихся из заточения. И, конечно, опыт участника Ростовского восстания был тут кстати. Через много лет, в 1932 году, Е. Трифонов вспомнил об этих днях в небольшой статье «Как вооружался пролетариат», напечатанной в №№ 11—12 журнала «Каторга и ссылка». Написаны эти воспоминания размашисто, небрежно и колюче, как Е. Трифонов писал и свои повести о гражданской войне под псевдонимом Евгений Бражнев. Вот отрывок:

«Пока Керенские и Рябушинские, эсеры, меньшевики, кадеты строчили свои декларации и конституции, суетились и жужжали в своих «комитетах спасения» и «предпарламентах», в это время пролетариат потихоньку вооружался. Контрреволюция бездарно проморгала это дело — и поплатилась шкурой за свое ротозейство...

В мае 1917 года в Петергофском райкоме большевиков явочным порядком (еще задолго до партийных решений и директив по этому вопросу) трое невзрачных парней поставили столик в прихожей, прибили над ним табличку «Здесь запись в Рабочую гвардию» и уселись за столик с карандашами в руках. И когда мы записывали в Красную гвардию первых редких охотников, господа Керенские и Рябушинские тогда еще не подозревали, вероятно, что спустя немного дней красногвардейские колонны будут штурмовать Зимний дворец... В июльские дни мне пришлось быть начальником милиции Путиловского завода. Я получил от начальства приказ: «Приготовиться к возможным волнениям на улице». На рассвете 4 июля, когда Путиловский клокотал точно котел с перегретым паром, заводская милиция в составе 2 тысяч человек в боевом порядке с примкнутыми штыками подошла и построилась перед столовой, где заседал зав. комитет, решавший вопрос: выступать или воздержаться? Начальник милиции вошел в комнату и доложил заводскому комитету: милиция прибыла и находится в распоряжении комитета. И когда 30-тысячная масса путиловцев двигалась через Нарвскую заставу к Таврическому, впереди колыхалась щетина милицейских штыков...»

4 июля путиловские милиционеры под командованием Е. Трифонова вместе с рабочими завода демонстрировали по городу. В них стреляли из домов на Невском, на Литейном, они тоже стреляли. В ночь с 3-го на 4-е произошло столкновение между милиционерами Е. Трифонова и милиционерами 1-го Спасского комиссариата (из буржуазного центрального городского района), в результате чего часть спасских была арестована. Временное правительство грозило начальнику путиловской милиции репрессиями, и Е. Трифонов на некоторое время скрылся из Питера. Он уехал на родину, в Ростов, принимал там участие в партийной конференции. Вернулся в Питер он в начале августа. В «инициативной пятерке» Е. Трифонов представлял Нарвско-Петергофский район.

Колоритной фигурой в «инициативной пятерке» был Иустин Жук, по кличке «Анархист». Жук был одним из руководителей черкесской группы «анархистов-коммунистов». Во время ареста в 1908 году пытался бомбой взорвать себя и жандармов. Киевский военно-окружной суд приговорил его к смертной казни, замененной затем пожизненной каторгой, и Жук девять лет провел в Шлиссельбургской крепости. Его, так же как Е. Трифонова,

освободила из неволи революция. Вот что написано в книге «Памятник борцам пролетарской революции» (Истпарт, 1925 год) в некрологе, посвященном И. Жуку:

«Он принадлежал к числу тех немногих анархистов-синдикалистов, которые шли рука об руку с коммунистами. Жук не был членом нашей партии формально, но он был горячим работником коммунизма, отдал себя в распоряжение партии, признал ее суровую дисциплину и погиб на посту, на который его поставила партия...

Для шлиссельбургских рабочих Жук был все — их политический вождь, руководитель их хозяйства, их продовольственный комиссар, организатор их отрядов. Человек богатырского сложения, великан, Жук в то же время отличался необыкновенной добротой и детской мягкостью характера. В глазах его светились ум и воля... Он был, несомненно, одним из крупнейших рабочих организаторов. Всей душой он рвался на работу по восстановлению разрушенного войной хозяйства, и работа спорилась в его руках. В родном Шлиссельбурге он делал чудеса. Но пролетарская революция призвала его под ружье. И он пошел комиссаром Карельского участка. Здесь он погиб с оружием в руках — пал в бою в октябре 1919 года».

Из «хозяйственных чудес» И. Жука известен, например, такой факт: на пороховых заводах он налаживал производство сахара из опилок. Об этом есть упоминание в письме Ленина Г. Е. Зиновьеву: «Говорят, Жук (убитый) делал сахар из опилок. Правда это? Если правда, надо обязательно найти его помощников, дабы продолжить дело. Важность гигантская»[1].

Об А. Кокореве почти ничего не удалось узнать. Известно только, что он представлял в «пятерке» Петроградский район. После опубликования «Отблеска костра» в «Знамени» некоторые дополнительные сведения я неожиданно получил от М. А. Бобкова, члена КПСС с 1917 года, бывшего красногвардейца завода Лоренц в Петрограде. М. А. Бобков сообщил, что А. Кокорев работал на заводе Лоренц, после Февраля был избран начальником заводской милиции, участвовал в штурме Зимнего, дрался на фронтах гражданской войны, был тяжело ранен. В 1919 году, разбитый параличом, он появился один раз на каком-то заводе в Москве, дальнейшая его судьба неизвестна.

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 51, стр. 74.

Протоколы «пятерки» написаны на больших листах бумаги, очень скупо, резко, ничего лишнего, имена и названия сокращены, иногда зашифрованы. С этих страниц дышит грозовой ветер семнадцатого года. Вот первый протокол о совещании 2 августа 1917 года, на котором представители разрозненных боевых организаций районов Петрограда постановили создать «инициативную пятерку».

«Совещание о Красной гвардии
2 августа 1917 года.

Присутствовали представители двенадцати районов Петрограда — всего 18 человек.

В. Т. (В. Трифонов. — **Ю. Т.**) кратко сообщает о положении дел с Красной гвардией, о разоружении рабочих организаций (имеется в виду предпринятое Временным правительством на ряде заводов разоружение рабочей милиции), информирует о политическом состоянии в стране, о впечатлениях от поездки в провинцию. Говорит о предстоящих в ближайшее время боях за власть, кто будет у власти — буржуазия или пролетариат. Армия деморализована, она сыграет роль, если ее сцементировать рабочими вооруженными дружинами. Надо немедленно приступить к широкой организации вооруженных сил пролетариата и созданию общегородского центра...»

Представитель Выборгского района предлагает сообщить примерные цифры вооруженных рабочих (организованных) по районам. Сообщаются цифры по всем 12 районам. Итог внушительный — 14 200 человек Красной гвардии и Рабочей милиции. Далее слово берет представитель Шлиссельбургского района И. Жук:

«— В большинстве районов милиция из рабочих давно превратилась в обывательскую. Рабочие из нее ушли, и она заполнилась всякой сволочью, буржуазной молодежью и занимается водворением порядка, охраной существующего строя и собственности. Эти задачи настолько привлекательны, что иные чудаки из рабочих ставят эти задачи даже перед Красной гвардией. Это неверно. Красная гвардия должна строиться для нарушения существующего порядка, для экспроприации собственности, для казни. У нас сейчас уже огромная сила — 14 тысяч вооруженных рабочих. Нам нечего миндальничать и нечего ждать, надо начать бить по головам. Если мы попрежнему будем словоблудить и блюсти порядки, то рабочие будут создавать боевые организации помимо нас».

«В. Т.— Ясно, что не охрана вообще порядка и жизни наша задача. Вооруженные рабочие могут ставить перед собой только одну задачу — свержение государственного порядка, основанного на собственности, не останавливаясь перед вооруженным насилием. Но это не значит, что рабочие, организованные в Красную гвардию, могут сами походя заниматься насилием и устраивать домашние революции; они только вооруженный отряд пролетариата и вместе со всем пролетариатом примут участие в борьбе за власть. Охранять буржуазный порядок мы не должны, но нарушать его удовольствия ради тоже не следует. На нас лежат и охранные задачи: мы можем и должны охранять пролетарский порядок и жизнь пролетариата. У Анархиста чувствуется перегиб, который может быть опасен, так как он может скомпрометировать идею Красной гвардии в рабочих массах...»

В конце совещания В. Трифонов предлагает создать организационную пятерку. Дальнейшие протоколы относятся к совещаниям этой вновь избранной «пятерки», которые проходили 3, 5, 8, 12, 16 и 20 августа 1917 года.

На этих совещаниях обсуждались важнейшие вопросы строительства Красной гвардии: подбор людей в районах, выработка устава Красной гвардии, добыча оружия. И все это решалось быстро, по-революционному — как того требовало время. 5 августа В. Павлову и В. Трифонову было поручено разработать устав Рабочей гвардии и основы районных и центральной комендатуры. (В целях маскировки, чтобы не возбуждать подозрительность Временного правительства, предлагалось пока именовать гвардию не Красной, а Рабочей гвардией.) Из протокола 16 августа известно, что проект устава готов и его можно обсуждать.

Но самые красочные страницы деятельности «пятерки» — операции по добыче оружия. Об этих операциях, чрезвычайно смелых и удачных, сказано в протоколах кратко, но выразительно:

«Совещание «пятерки» 8 августа.

Кок. (Кокорев.— **Ю. Т.**) передает полученное им сообщение, что на Мойке имеется склад револьверов, винтовок и патронов офицерского союза, и предлагает захватить это оружие.

Поручается В. Т. и В. П. ознакомиться с вопросом на месте и попытаться оружие получить...»

«Совещание «пятерки» 12 августа.

В. Т. сообщает, что два пулемета, револьверы, винтовки и патроны на Мойке взяты и переведены на Васильевский остров. Сошло благополучно. Ограничились зуботычинами. Владельцы оружия, по-видимому, контрреволюционная организация. Шума поднимать не будут. Всего взято 2 пулемета Максима, 6 ручных пулеметов Гочкиса, 420 винтовок, 870 револьверов и большое количество патронов. Участвовали гвардейцы Васильевского острова, машины дал Петроградский район. Участникам пришлось раздать револьверов с патронами 18 штук...»

Еще более удачно прошла операция на вокзале, о которой известно из протокола 16 августа. На вокзале гвардейцам пришлось вступить в перестрелку с охраной, зато было взято 3600 винтовок, которые тут же распределили по районам.

Два этих факта во многом объясняют то обстоятельство, что к концу августа отряды рабочих Питера имели немало оружия, а это сыграло решающую роль в отпоре Корнилову и в последующих событиях. Добычей оружия красногвардейцы занимались непрерывно вплоть до октябрьского восстания. Пинежский во втором издании своей книги сообщает, что в начале октября Центральной комендатуре Красной гвардии удалось получить на Сестрорецком оружейном заводе 5 тысяч винтовок. Винтовки были доставлены в Петроград на грузовиках и распределены по районам Красной гвардии соответственно значению каждого района и его нужде в оружии. Всей этой достаточно сложной, конспиративной операцией руководили тт. В. Трифонов и В. Павлов.

Вместе с протоколами «пятерки» в архиве В. Трифонова сохранился и проект устава, о котором я говорил выше. Это несколько страниц рукописного текста, написанного рукой отца. На общегородской конференции Красной гвардии 22 октября 1917 года этот проект устава был принят с некоторыми изменениями. Интересными оказались и другие документы архива, относящиеся к истории Красной гвардии: например, обширный финансовый отчет Красной гвардии, списки красногвардейцев по районам, разного рода мандаты, удостоверения и т. д. Все эти документы находятся сейчас в Центральном музее Советской Армии.

После разгрома корниловщины, в сентябре 1917 года, руководство Красной гвардии преобразовалось в легаль-

ную организацию — Центральную комендатуру Рабочей гвардии, в которую вошли члены бывшей «инициативной пятерки». Созданию Центральной комендатуры помогла поддержка Питерского комитета партии и Междурайонного совещания районных Советов. Затем 22 октября на той самой общегородской конференции красногвардейцев, на которой утверждался устав, был создан новый орган: «Главный штаб Красной гвардии».

Доклад по уставу делал В. Трифонов. Кстати, этот доклад вызвал оживленные споры по такому, казалось бы, малосущественному вопросу, как название руководящего органа Красной гвардии. Комендатура или штаб? В. Трифонов в проекте устава предложил «штаб», так как слово «комендатура» звучало слабо и не выражало подлинного значения Красной гвардии. Противники же штаба говорили, что негоже революционерам заимствовать у царизма названия. После горячей дискуссии победил все-таки Главный штаб.

Сейчас эти споры кажутся наивными, но в те дни они были понятны и не вызывали улыбок: ненависть ко всему старому — с его правопорядком, установлениями, названиями — была слишком велика.

Работа конференции проходила в накаленной атмосфере. Решающая схватка между Военно-революционным комитетом и Временным правительством близилась, и все это понимали. На экстренном заседании Главного штаба Красной гвардии 23 октября было избрано для текущей работы бюро из пяти человек: К. Юренева, В. Трифонова, В. Павлова, С. Потапова, В. Юркина. Председателем Главного штаба был избран К. Юренев.

К. Юренев был, пожалуй, единственным из руководителей Красной гвардии, не принадлежавших по своему происхождению к рабочим. Это был журналист, опытный конспиратор и партиец с большим стажем. Впоследствии он стал дипломатом, был послом в Италии, в Персии, в Японии и в 1937 году погиб, как многие другие.

Представляют интерес и недостаточно еще выяснены нашими историками взаимоотношения и взаимодействия Военно-революционного комитета и Главного штаба Красной гвардии в решающие дни Октября. Военно-революционный комитет возник 12 октября на закрытом заседании Петроградского Совета. Предложение о создании такого комитета, штаба революции, внесли большевики. Организационно комитет оформился спустя че-

тыре дня на пленуме Петроградского Совета. Тут все решалось днями, часами.

Н. И. Подвойский в своих воспоминаниях «Красная гвардия в октябрьские дни» пишет: «Основной задачей Военно-революционного комитета становилось — взять фактическое управление гарнизоном в свои руки».

Как известно, с этой задачей Военно-революционный комитет отлично справился. Главную роль в успехе Октябрьского восстания сыграло то обстоятельство, что гарнизон Питера в большинстве своем оказался на стороне восставших. Большевистская агитация среди солдат сделала свое дело. Военно-революционный комитет, естественно, направлял и объединял все силы революции: солдат, матросов и красногвардейцев. Однако Красная гвардия сохраняла при этом определенную независимость и организационную цельность, выработанные в течение нескольких месяцев боевой деятельности. Красная гвардия сохраняла свой штаб, она имела в Военно-революционном комитете своих представителей. По сообщению Пинежского, «официальными представителями Центральной комендатуры в нем (в Военно-революционном комитете.— **Ю. Т.**) были тт. Юренев и В. Трифонов. Фактически же с комитетом имели постоянные сношения и тт. С. Потапов, В. Павлов, а позже и т. Юркин».

Каким образом происходили эти «постоянные сношения» и как действовали, помогая друг другу, революционные солдаты и вооруженные рабочие в дни Октября, хорошо изображено в талантливых, к сожалению, незаконченных воспоминаниях К. Еремеева, одного из членов Военно-революционного комитета.

Из дневника Павла:

«24 октября (6 ноября н. ст.), вторник.

Встал 8.20. В училище 5 уроков, рус., немец., минералог., фр., рисов. Учил историю. Электричество не горит, вода не идет. Пошел в Р. К. «Рабочий путь» сегодня ночью был опечатан. Приехал домой в 5. Мама звонила, что обедать не придет. (Из воспоминаний Т. А. Словатинской известно, что именно в эти часы она по поручению секретариата ЦК разыскивала Н. К. Крупскую.— **Ю. Т.**) *В. А. пришел, пообедал и уехал в Смольный. В 5.35 зажглось электричество. Теперь будет гореть от 6-ти до 12-ти. В 6.30 пришла мама. Она видела*

на Дворцовой площади много войск (юнкеров и казаков), охраняют Зимний дворец. Временное правительство распорядилось развести мосты на Неве, чтобы рабочие не перешли в город. Маме пришлось ехать на Биржевой мост. В нашем доме собрание жильцов, решили дежурить всю ночь. Погасло в 12 ч. Приехал В. А., он был в Смольном. Там заседание Совета. Смольный охраняют 800 солдат и 30 пулеметов. Правит. войска (юнкера и ударники) развели Николаевский и Дворцовый мосты. Литейный мост в руках красногвардейцев. По Вас. острову ходят патрули Красной гвардии. После того, как были закрыты «Рабочий путь» и «Солдат», в типографию явился Литовский полк, распечатал типографию и роздал газетчикам газеты. В 1 ч. ночи В. А. поехал в Петропавловскую крепость за оружием для Вас. остр. района. Я лег в 1 ч. В. А. приехал в 6 ч. утра и в 8 опять уехал».

«25 октября (7 ноября н. ст.), среда.

В училище не пошел, сегодня будет там акт и уроков не будет. Пошел в РК. Меня послали в издательство «Прибой» — Николаевская, 12,— за литературой. Трамваи идут. Николаевский мост охраняют матросы-кронштадтцы. На Неве стоят миноносцы. Дворцовый мост утром был разведен, а когда я ехал назад, его уже свели. У штаба охрана из юнкеров. Привез брошюры, был в РК до 1 часу, пошел домой. В. П. Ногин зашел попрощаться, он уезжает в Москву. В 6 пришел В. А. Власть перешла в руки Совета. Многие министры арестованы. Керенский бежал. Б. Е. Шалаев видел, как на Невском проспекте разоружали юнкеров, охранявших Врем. прав. Они не оказывали никакого сопротивления. В. А. уехал в Смольный. Я разбирал брошюры. В 9.40 мы услыхали пушечные выстрелы. С перерывом стрельба продолжалась до 12-ти часов. В 12.30 (электричество не потухло) пришли мама и В. А. из Смольного. Они сказали, что обстреливается Зимний дворец...»

После свержения Временного правительства красногвардейцы продолжали нести на своих плечах главную тяжесть революционной борьбы: дрались с Красновым, подавляли мятежи юнкеров, боролись со спекуляцией, с грабежами винных подвалов, с саботажем. В ночь на 29 октября юнкера сделали попытку восстания, за-

хватили Михайловский манеж с броневиками и легковыми машинами, телефонную станцию, а самокатчики попытались освободить Временное правительство из Петропавловской крепости.

Красная гвардия разгромила юнкеров в тот же день. Михайловское артиллерийское училище взял отряд шлиссельбуржцев под командованием И. Жука и выборжцев под начальством К. Орлова. Одно за другим прекратили сопротивление и были разоружены остальные военные училища. В эти же дни красногвардейцы героически сражались с войсками Керенского под Пулковом и Царским Селом.

Участник этих событий Малаховский писал в своих воспоминаниях[1]: «С одной стороны, красногвардейцы показывали необычайный героизм, самопожертвование, готовность умереть, холодать и голодать, своим энтузиазмом заражали и поддерживали солдат гарнизона, настойчиво требовали снарядов, патронов на передовые позиции, беспрекословно выполняли все приказания, без малейшего дезертирства шли на позиции, и ни в какой мере нельзя сказать, чтобы питерский пролетариат дрогнул хотя бы на минуту. С другой стороны, эта лучшая по духу армия не могла бы продержаться долгое время, так как не имела правильной централизованной организации, а главное, снаряжение этих прекрасных бойцов было рассчитано на то, что прямо от станков они идут в бой, без продовольствия и огневых припасов...»

Малаховский вспоминал и о ненужном «удальстве» красногвардейских и матросских отрядов, которое вело к большим потерям. «Когда перешли в наступление, часто во время перебежек они не пригибались совсем, отчего немало полегло лишних жертв. Когда же мы, обучавшие их солдаты, указывали на недопустимость этого, то получали в ответ, что сгибаться при перебежках и стрелять лежа — позор для революционеров, показывает их трусость».

В боях с Красновым быстро успели закалиться и приобрести военные навыки красногвардейские части. Из них формировались экспедиционные отряды, которые в декабре 1917 года и в январе 1918 года ушли в разные районы страны для подавления контрреволюционных мятежей и установления советской власти.

---

[1] Сборник «Ленинградские рабочие в борьбе за власть Советов», 1917, статья «Красная гвардия Выборгского района».

Из книги Е. Пинежского известно, что первая попытка отправить большой красногвардейский отряд из Питера была сделана еще раньше, вскоре после Октябрьского восстания. Главным штабом, говорится в книге, была произведена широкая мобилизация Красной гвардии на поддержку Москвы. В Смольном собралось около 4500 красногвардейцев, готовых к отправке. Но приехавший из Москвы В. П. Ногин отменил эту экспедицию. Красногвардейцы были возмущены, устроили митинг, кричали: «Мы предаем Москву!» — и чуть не избили члена Главного штаба В. Трифонова».

Из воспоминаний Ф. Ф. Раскольникова и из некоторых других источников видно, что экспедиционный отряд на помощь Москве был все-таки послан — 2 ноября 1917 года. Но то был не красногвардейский отряд, а отряд революционных моряков, 428-й Ладейнопольский полк и бронепоезд путиловских рабочих. Основную силу отряда составляли моряки. Командовали всей экспедицией (очень лихо захватившей по дороге в Москву белогвардейский бронепоезд) Ф. Ф. Раскольников и К. С. Еремеев. Эпизод, рассказанный Пинежским, мог произойти несколькими днями позже.

Документы из архива В. А. Трифонова помогли восстановить многие факты, остававшиеся для историков Красной гвардии неясными. Недавно вышла большая книга ленинградского ученого В. И. Старцева «Очерки по истории Петроградской Красной гвардии и рабочей милиции», где документы из архива В. А. Трифонова использованы многократно. А я помню, как в 1956 году, уже после Двадцатого съезда партии, я пришел к одному почтенному историку и показал ему протоколы «инициативной пятерки». Я полагал, что делаю благое дело: даю в руки специалиста драгоценный, никем еще не изученный материал. Почтенный историк, пошевелив бумаги, с сомнением покачал головой: «А подлинные ли это документы?» Он должен был знать, что они подлинные, ибо они из архива одного из руководителей Красной гвардии. Но почтенного историка на самом-то деле волновало другое: «А подлинно ли то, что произошло на Двадцатом съезде? А подлинно ли то, что В. А. Трифонов посмертно реабилитирован?» Я ушел от него с тяжелым чувством: вдруг понял, как медленно, с каким трудом будет разрушаться заматерелая неправда и как много людей будут ее защищать, защищая себя.

В. И. Старцев в своей книге на основании финансового отчета В. А. Трифонова доказывает, что первый красногвардейский отряд, именовавшийся 1-м Петроградским боевым батальоном, был отправлен из Петрограда 13—14 декабря. («11 декабря член Главного штаба В. Н. Павлов получил от заведующего финансовым отделом В. А. Трифонова 8 тыс. рублей для организации отряда».) Отряд ушел в Могилев. Возглавил отряд Владимир Павлов, о котором ни один из почтенных историков в течение тридцати лет не написал ни строчки. В составе отряда было около пятисот красногвардейцев.

Затем В. Н. Павлов вернулся в Питер и стал формировать новый отряд. 1 января 1918 года этот второй отряд уходил на фронт, и его провожал Ленин, выступая перед красногвардейцами в Михайловском манеже. Когда Ленин возвращался из Манежа, на него было совершено покушение, к счастью неудавшееся: вождя спас от пули Фриц Платтен, швейцарский коммунист. В. А. Трифонов присутствовал на проводах отряда Павлова как член Главного штаба Красной гвардии.

В его архиве сохранился интересный документ: «Порядок отправления Первого отряда Социалистической гвардии», где вся процедура продумана с большой тщательностью и очень торжественно.

«1) Отправление первого отряда Социалистической гвардии назначено на 1 января 1918 года с Царскосельского вокзала. 2) Перед отправлением отряду будет произведен смотр в Михайловском манеже и проводы. 3) Сбор частей отряда из районов в Михайловском манеже назначается ровно в 3 часа дня, куда к этому времени прибывают народные комиссары, члены Главного штаба Красной гвардии и представители организаций, участвующих в проводах. 4) Все части из районов к Михайловскому манежу идут в стройном порядке, с оркестрами музыки частей и плакатами...»

Революция еще не имела войска и не имела военачальников. Отряды вооруженных рабочих возглавлялись рабочими. Большевики дали новое название этой вновь родившейся силе: «Социалистическая гвардия». Слово «армия» произносить не хотелось, но очень скоро его пришлось произнести.

На несколько дней раньше отряда Владимира Павлова, в конце 1917 года, покинул Питер другой крас-

ногвардейский отряд: под командованием Евгения Трифонова он отправился на юг, на борьбу с Калединым.

Красногвардейские части Р. Сиверса и В. Антонова-Овсеенко, вместе с которыми действовал и отряд Евгения Трифонова, в феврале 1918 года взяли Ростов. Некоторое время Е. Трифонов был комендантом Ростова. В романе Алексея Толстого «Хождение по мукам» описано столкновение начальника петроградской Красной гвардии Трифонова с бандитом-анархистом Брайницким. (Возник этот эпизод так: Толстой и Е. Трифонов случайно познакомились в купе «Стрелы» по дороге в Ленинград. Всю ночь вспоминали гражданскую войну, Е. Трифонов много рассказывал, Толстой записывал. Этот же эпизод есть и в книге самого Е. Трифонова (Бражнева) «В дыму костров».)

Дальнейшая судьба Е. Трифонова складывалась бурно. В «Правде» от 13 апреля 1918 года появился приказ Народного комиссариата по военным делам: «Казак Новочеркасской станицы Донской области Евгений Андреевич Трифонов назначается Военным Правительственным комиссаром Южно-Русских областей. Ему вменяется в обязанность объединить деятельность Военных комиссариатов этих областей Южного района и согласовать ее с предначертаниями Российского Федеративного Правительства...» После занятия Ростова немцами Е. Трифонов командовал частями на Царицынском фронте, был комиссаром в штабе «Южной завесы», начальником 9-й кавалерийской дивизии, военным комиссаром Донской области. Когда один из комбригов Первой Конной армии Маслаков поднял мятеж и повел бригаду на Дон, Е. Трифонову пришлось пехотными частями ликвидировать конников «Маслака».

Затем Евгений Трифонов работал в Дальневосточной республике, воевал с басмачами в Узбекистане — это были его последние военные дела, в 1925—1927 годы,— а в мирное время учился в Военной академии, был директором Историко-революционного театра, писал пьесы и повести, работал в Центральном Осоавиахиме. Он умер в декабре 1937 года от разрыва сердца в своем доме, в Кратове, в поселке старых большевиков. Кадровый военный, краснознаменец, он просился в Испанию, но его не брали. Да и какая могла быть Испания! Брат был арестован и объявлен врагом народа, и его самого, уже исключенного из партии, ждала, очевидно, та же участь.

Но все это — далеко, через двадцать лет. А пока что он выехал из Питера холодным декабрьским днем во главе отряда красногвардейцев, жаждущих давить и крушить контрреволюционную гидру, где бы она ни появилась.

Отец отправился на фронт на три месяца позже. В декабре он работал в Главном штабе Красной гвардии, ведая финансовым отделом. Отдел этот был создан в первых числах декабря. Вопрос об уплате жалованья красногвардейцам был одним из важнейших и к тому же не просто разрешимых вопросов, которые встали перед Главным штабом.

Красногвардейцы не получали особого жалованья: за ними сохранялась зарплата по месту работы. Заводчики и фабриканты выплачивали эти суммы без энтузиазма, всячески тормозили выплату, а порой отказывались платить вовсе. В ноябре и декабре то и дело вспыхивали конфликты между рабочими и заводской администрацией. Заводчиков вызывали в Главный штаб, требовали объяснений и чаще всего слышали в ответ слова о тяжелых обстоятельствах, отсутствии средств и т. д. «Банкротов» тут же сажали под арест в подвалы Смольного. Но саботаж промышленников продолжался. Главному штабу не осталось ничего иного, как поставить перед Совнаркомом вопрос о выделении известной суммы на оплату красногвардейцев. Совнарком ассигновал два с четвертью миллиона рублей.

«Финансовая отчетность Главного штаба,— писал Пинежский,— велась т. В. Трифоновым исключительно образцово, что видно из отчета, составленного им в феврале 1918 г. Отчет, представляющий большой толстый том, страниц в 500 с лишним, составлен на редкость добросовестно. Казалось бы, что в ту бурную революционную эпоху народные деньги расходовались без особой обоснованности и, так сказать, на ходу,— на самом деле все мельчайшие расходы были документально обоснованы». И тут же в примечании Пинежский сокрушался по следующему поводу: «Финансовый отчет Главного штаба Красной гвардии дает ценнейший материал для историка. Можно сожалеть, что т. В. Трифонов почти целых 15 лет держит его у себя, на правах некоей «собственности». Было бы со всех точек зрения лучше, если бы т. В. Трифонов все же передал отчет какому-либо архиву».

Это писалось в 1932 году. В самом деле, почему отец не отдал все свои документы, в том числе фи-

нансовый отчет, в какой-нибудь музей или архив? Мне это обстоятельство тоже одно время представлялось странным. Но, поразмыслив, я понял, мне кажется, причины и понял, что отец поступил правильно.

Уже в конце двадцатых и начале тридцатых годов культ личности Сталина начал давать себя знать и в исторической науке, как и в других областях. Отец опоздал с книгой воспоминаний, а теперь ему пришлось бы писать о «роли товарища Сталина в создании Красной гвардии». И не хотелось отцу давать свои материалы для того, чтобы такого рода сочинения писали другие.

Работу в Главном штабе Красной гвардии В. Трифонов совмещал и с некоторыми другими важными работами, которые ему поручала партия. Он был введен, например, в состав созданной в ноябре (21 ноября 1917 года) по предложению Дзержинского «Комиссии для борьбы с контрреволюцией». По существу это был первый состав ВЧК. В него вошли Скрыпник, Флеровский, Благонравов, Галкин и Трифонов.

Официально Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем возникла 7 декабря. Накануне, 6 декабря, на заседании СНК Дзержинскому было поручено срочно, к следующему дню, подготовить доклад по этому вопросу. Дело было важнейшее, не терпело отлагательств. Впрочем, все дела тогда решались стремительно. Есть записка Ленина Дзержинскому, написанная седьмого же декабря, перед заседанием СНК:

«К сегодняшнему Вашему докладу о мерах борьбы с саботажниками и контрреволюционерами.

Нельзя ли двинуть подобный декрет:

О борьбе с контрреволюционерами и саботажниками.

Буржуазия, помещики и все богатые классы напрягают отчаянные усилия для подрыва революции, которая должна обеспечить интересы рабочих, трудящихся и эксплуатируемых масс.

Буржуазия идет на злейшие преступления, подкупая отбросы общества и опустившиеся элементы, спаивая их для целей погромов. Сторонники буржуазии, особенно из высших служащих, из банковых чиновников и т. п., саботируют работу, организуют стачки, чтобы подорвать правительство в его мерах, направленных к осуществлению социалистических преобразований. Доходит

дело даже до саботажа продовольственной работы, грозящего голодом миллионам людей.

Необходимы экстренные меры борьбы с контрреволюционерами и саботажниками»[1].

Далее Ленин предложил семь пунктов экстренных мер. Доклад Дзержинского был основан на этих предложениях Ленина. Здесь же, на заседании СНК, утвердили первый состав Чрезвычайной комиссии (еще не полный): Ксенофонтов, Жедилев, Аверин, Петерсон, Петерс, Евсеев, Трифонов В., Дзержинский, Серго, Василевский.

В постановлении СНК говорилось: «Комиссии обратить в первую голову внимание на печать, саботаж и т. д. правых с.-р., саботажников и стачечников. Меры — конфискация, выдворение, лишение карточек, опубликование списков врагов народа и т. д.»

До сентября 1918 года ВЧК не расстреляла ни одного политического врага советской власти. В. Трифонов работал в ВЧК недолго, лишь в дни ее становления. В январе 1918 года ленинским декретом была создана «Всероссийская коллегия по формированию Рабочей и Крестьянской Красной армии», и В. Трифонова, как имевшего опыт военной организации рабочих, ввели в эту коллегию. Она состояла из пяти человек: из трех представителей Наркомвоена (Крыленко, Мехоношин, Подвойский) и двух представителей Красной гвардии (Юренев, Трифонов).

Короткая, полная самоотверженности и героизма история Красной гвардии завершилась в начале 1918 года. Говоря словами Пинежского: «Красная гвардия, честно и до конца выполнив свой долг, ушла со сцены. Ей на смену пришла славная, верная заветам Рабочей Красной гвардии Красная рабоче-крестьянская армия».

А отец жил все там же, на Васильевском острове. Но квартира пустела, так же как пустел город. Шалаев с семьей уехал на Урал, Сольц был в Москве, брат воевал на юге. Макс Мельничанский приехал в январе из Москвы на съезд профсоюзов, рассказывал, как во время московских событий (в октябре — ноябре) его арестовали юнкера и чуть не расстреляли. Народ из Питера уезжал: рабочие уходили с отрядами, обыватели спешили кто куда: на юг, на восток, подальше из беспокойного, голодного города. Почти каж-

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, стр. 156.

дая запись в дневнике Павла в эту зиму начинается так: «воды нет, электричество не горит», «трамваи не ходят», «хлебный паек уменьшен с 1/2 ф. до 3/8 ф.».

10 марта 1918 года питерский период в жизни отца кончился: Всероссийская коллегия переехала в Москву. Все советское правительство переехало тогда в Москву. В апреле В. Трифонов, как представитель Наркомвоена, должен был отправиться на Урал для организации Уральской армии, но затем Наркомвоен неожиданно изменил свое решение. Ночью 23 апреля было решено отправить В. Трифонова на юг, где наступали немцы.

Когда начинаются войны, конца их не видит никто. Весной 1918 года мало кто мог предположить, что борьба с контрреволюцией затянется почти на четыре года. «Левые» грезили мировой революцией. Впрочем, мировой революцией грезили в те дни все, но «левые» ждали ее как манну небесную, как решение всех проблем. Ленин сказал на Седьмом съезде партии: «Бросьте иллюзии, за которые вас жизнь наказала и еще больше накажет. Перед нами вырисовывается эпоха тягчайших поражений, она налицо, с ней надо уметь считаться...» Так мог сказать человек гениальной зоркости, каким был Ленин. Обыкновенные люди живут, подчиняясь законам бессознательного оптимизма, необходимого для жизни так же, как кислород, как вода, как одежда, спасающая от холода.

Весной 1918 года громадное большинство жителей России считало, что все революции, какие могут быть в одной стране, уже совершились и бесконечная война, разруха, голод, страдания близки к концу. Многим казалось, например, что стоит остановить немцев, сбросить в море немногочисленных интервентов и разгромить кое-где контрреволюционные банды, и гражданская война закончится.

Из Москвы на юг с ужасающей медленностью тянулся поезд: шесть классных вагонов, четыре теплушки и две платформы с машинами. На каждой станции стояли подолгу, телеграфировали в Москву, чтобы нажать на начальников станции, телеграфировали на юг, чтобы узнать, не занят ли путь немцами. В поезде кроме чрезвычайного представителя Наркомвоена В. Трифонова ехали комиссары, командиры красногвардейских отрядов (ехал, например, первый комиссар Петропавловской крепости Тер-Арутюнянц, которого това-

рищи звали просто «Тер»), агитаторы, военные специалисты, примкнувшие к революции, и латышские стрелки — среди них Литке, Лукс, Пецгольц, прошедшие с отцом почти всю гражданскую войну. Поезд направлялся в Ростов. Но на станции Грязи выяснилось, что путь на Ростов с севера отрезан немцами, единственная возможность попасть в донскую столицу — далекий кружной путь через Царицын, Тихорецкую, с юга.

30 апреля поезд прибыл в Царицын. В этот же день Трифонов принимал участие в заседании Царицынского штаба обороны, председателем которого был Минин. На заседании делал доклад Крачковский, начальник отряда «III Интернационал», о положении на Чирском фронте, где советские войска дрались с кадетами. Из штаба удалось связаться по телеграфу со станцией Тихорецкой и узнать, что путь до нее свободен. Вечером, вернувшись из штаба на вокзал, Трифонов нашел на путях вновь подошедший поезд: комиссар Никольский с отрядом в 60 человек направлялся в Кубанскую область за продовольствием.

Взбаламученный и коварный Юг, где все бродило, все было неясно и непрочно, имел только один устойчивый запах: он пахнул хлебом. На станциях перед Царицыном впервые появился белый хлеб. Люди из поезда, который пробился сюда из голодной столицы, смотрели на лепешки и каравай грубо испеченного деревенского хлеба с горечью и надеждой: он был для них не едой, а спасением. Он должен был спасти революцию. Но для этого надо было защитить Юг.

Трифонов и Никольский решили соединить оба поезда и ехать до Ростова вместе. На другой день, 1 мая, в Царицыне произошла праздничная демонстрация, или, как тогда говорили, манифестация. На площади собралось около десяти тысяч человек, выступал Минин, выступали агитаторы из поезда Трифонова. Поздно вечером выехали на Тихорецкую.

Все эти подробности — не вымысел и не туманные отзвуки рассказов, слышанных когда-то от отца. Это сведения из дневника Павла, которого В. Трифонов взял с собой в качестве адъютанта. Недавний петроградский школьник со старательностью Нестора продолжал вести запись всех происходящих событий — и больших, и малых. Конечно, во многие важные соображения и дела В. Трифонов не посвящал чересчур юного адъютанта, а если во что и посвящал, то Павел, как опытный,

несмотря на молодость, конспиратор, не стал бы доверять эти важные соображения своему дневнику. Но ценность дневника заключалась в том, что записи делались с замечательной регулярностью в течение четырех лет: с начала семнадцатого года и до двадцать первого года. Почти все это время, особенно в период гражданской войны, начиная с поездки на Юг и потом на Восточном фронте, на Юго-Восточном фронте и Кавказском П. Лурье сопровождал отца в качестве адъютанта[1].

И теперь, когда я пытаюсь восстановить майскую поездку на Юг и понять, в чем ее суть, я нахожу в дневнике Павла подробный, расписанный по дням и даже часам маршрут В. Трифонова по Северному Кавказу и Донской области, вижу имена людей, с которыми В. Трифонов встречался и вел переговоры, и среди них громкие имена Автономова, Сорокина и других, но о чем велись эти переговоры и чем они каждый раз кончались, понять из дневника трудно. Иногда попросту невозможно. Дневник Павла военных лет напоминает судовой журнал, где тщательно отмечено передвижение корабля, но ничего не сказано о мыслях и переживаниях команды и пассажиров. Но и на том спасибо громадное. О сути дела можно догадаться по другим источникам, например по телеграммам и разговорам по прямому проводу, которые сохранились в архивах.

Май 1918 года на Юге — что может быть сложней, многослойней, запутанней, невероятней во всей истории гражданской войны! Пожалуй, только Баку в тот же период, или чуть раньше, может сравниться с Доном и Кубанью по запутанности ситуации. На всех дорогах Юга гремела стрельба. Казалось, воевали все против всех. С Запада наседали немцы, и никто не знал, где они остановятся. Первые немецкие десанты высадились в середине мая на Тамани. Высадились хозяйственно, по-немецки, с сельскими машинами, гребли, косили, хапали, прессовали, увозили в голодный фатерланд все подряд: зерно, мясо, шерсть, солому, полову. На Дону и по всему Северному Кавказу советские войска вели непрерывные бои с кадетами и бандами восставших казаков, «восстанцев». Шайки головорезов под черными анархистскими знаменами мотались по степям и железным дорогам,

---

[1] П. А. Лурье, член партии с 1917 года, жил в Москве. По профессии он инженер, участник Отечественной войны, персональный пенсионер. (Умер в 1972 г.— *Прим. сост.)*

и логика их поступков была дика и темна: то они остервенело дрались с немцами, то поворачивали оружие против Советов, то просто грабили кого попало, убивали и умирали в пьяном угаре, неизвестно за что. Среди горских племен, где воспламенился национализм, тоже стали возникать разные банды, шайки и союзы, которые подкармливала Антанта. Антанта преследовала свои цели. Немцы — свои. Турки тоже были не прочь погреть руки у кавказского костра: они вошли в Закавказье и зарились на Осетию и Дагестан. Белая гвардия стремилась задушить большевиков какими угодно средствами и чьими угодно руками, хотя бы руками казаков, которые в конечном счете стремились совсем не к тому, к чему стремилась белая гвардия.

И, кроме того, во всей этой кровавой сутолоке, во всех лагерях были еще честолюбцы, наполеонишки, которые преследовали свои личные цели. Это было время авантюристов, калифов на час. Это было время, когда возникали и лопались целые призрачные государства. Это была первая послеоктябрьская весна, бушевавшая как молодое вино, и никто не мог знать, какой будет вкус у этого вина через месяц или через год.

Отец был послан на Юг с мандатом чрезвычайного представителя Наркомвоена. В замысел Наркомвоена входило поднять донское казачество на борьбу против немцев, однако осуществить этот замысел не удалось.

2 мая поезд В. Трифонова двигался по Владикавказской железной дороге к Тихорецкой. На пути встретился поезд Центроштаба Донецкого бассейна, направлявшийся в Царицын: первые признаки того вала, который откатывался с запада под ударами немцев. Последние верст сто перед Тихорецкой ползли совсем медленно, этот отрезок пути считался опасным из-за бродивших вокруг шаек корниловцев. (Белогвардейцев на Кубани все еще называли «корниловцами», хотя генерал Корнилов был убит в апреле в боях под Екатеринодаром и его заменил Деникин.) Утром приехали в Тихорецкую.

Вести из Ростова были тревожные: немцы захватили весь Крым, стояли в четырех верстах от Таганрога, под Таганрогом шел бой. Значит, не остановились на Украине, рвутся дальше, на территории Российской Федерации. Значит, война тяжкая, надолго.

В Новочеркасске вспыхнуло контрреволюционное восстание Голубова, но было быстро подавлено. В. Трифонов

решил ехать в Ростов, взяв с собой лишь девять человек, а весь поезд оставить в Тихорецкой.

4 мая на рассвете, пробившись сквозь встречный поток эшелонов и штабов, отступавших с севера, добрались наконец до Ростова. Там шла спешная эвакуация, вокзал был забит, молоденький и совершенно одуревший комендант станции, недавний питерский студент, орал и отбивался от окружавших его, размахивавших наганами представителей разных отрядов, каждый из которых требовал отправить его эшелон в первую очередь. В городе то и дело начиналась стрельба, и никто не мог понять, кто стреляет: то ли подошедшие немцы, то ли белогвардейцы из отряда Дроздовского или местные контрреволюционеры. Неясно представляли это и в штабе. Командующий Первой Украинской революционной армией Харченко был занят эвакуацией, стремясь навести хоть какой-то порядок, в этом помогал ему Орджоникидзе, находившийся в Ростове как чрезвычайный комиссар юга России. Отец был знаком с Серго по Питеру, здесь их пути сошлись вновь, а в дальнейшем они много и дружно работали вместе на Кавказском фронте.

К середине дня 4 мая удалось эвакуировать основную массу отрядов.

Павел записал в дневнике, что в три часа дня, когда он вместе с В. Трифоновым пошел в Палас-отель, где помещался Ростовский Совет, там уже никого не было, все уехали на вокзал. У входа стояли швейцары и лакеи, ухмылялись: «Все удрали!»

Вечером опустевший вокзал захватила кучка офицеров из отряда Дроздовского, но уже через несколько часов, ночью, их вышибли части Второй Украинской армии, прорвавшиеся к Ростову с севера, из Новочеркасска. Командовал Второй Украинской революционной армией Бондаренко; Трифонов встретился с ним утром 5 мая. (Этот Бондаренко зимой 1919 года был в штабе 9-й Донской кавдивизии, которую Евгений Трифонов формировал тогда в Саратове.) Ростовский вокзал вновь запрудили войска. Теперь тут распоряжался комиссар по эвакуации города Новочеркасска, прибывший сюда с частями Второй армии. Эвакуация продолжалась несколько дней в чудовищном беспорядке. Город горел, на вокзале свирепствовали мародеры. Вся эта катастрофическая суматоха была вызвана не только стремительным продвижением немцев, но и тем, что советские части на Дону и Кубани не имели единого командования. Об

этом говорится в одной из телеграмм В. Трифонова в Москву, в Наркомвоен.

Из Ростова В. Трифонов выехал 5 мая в одном вагоне с командармом Харченко, молодым здоровенным парнем. Оба украинских командарма, Бондаренко и Харченко, слушались Трифонова безотказно: действовал мандат Наркомвоена. Мандат был большой, с печатями и написан могучим слогом. И Трифонов то и дело его вытаскивал. В том же вагоне ехал Савин-Мокроусов, впоследствии известный крымский партизан; он был ранен, то стонал, то шутил, то начинал вдруг упрашивать Трифонова передать в Москве привет Чичерину: «Он меня знает, мы были в эмиграции в Лондоне, обязательно передайте ему привет от Савина-Мокроусова!» Это было так важно в ту ночь, когда никто не мог сказать, доедет ли Трифонов не только до Москвы, но даже до Тихорецкой. В Батайске поезд застрял. На станции, вокруг станции сидели, дремали, лежали вповалку смертельно усталые солдаты Тираспольского полка: те, что с боями прошли через всю Украину с румынского фронта. Командир тираспольцев Княгницкий ждал какой-то эшелон, который должен подойти утром. Трифонов поехал дальше на паровозе.

На том же паровозе оказалась «знаменитая» Маруся Никифорова, начальница отряда анархистов, молодая пьянчужка и психопатка. Еще недавно воспитанница Смольного института, а ныне прославленная атаманша любила разъезжать по Ростову в белой черкеске с газырями и белой лохматой папахе,— ехала тихая, трезвая, в солдатской шинельке. Отряд ее растрепали немцы, вместе с нею ехали лишь несколько солдат. Однако через неделю, добравшись до Царицына, Маруся приняла участие в бешеном анархистском бунте, который поднял Петренко.

Но тогда, на паровозе, этого не знали. Была холодная ночь, с ветром, все жались к котлу, чтоб погреться. Кованая немецкая волна гнала без разбора, мяла под себя Дон, Россию, революцию, всех. В Тихорецкой стоял так называемый начальник войск Северного Кавказа Сорокин. В то время еще никто не знал, что он проявит себя как изменник и будет расстрелян не далее как через год. Тогда он кричал, командовал, распоряжался и грозил расстрелом, как другие. И на него тоже кричали, не желали ему подчиняться и грозили расстрелом. Трагедией момента было то, что слишком много людей распоряжалось.

Между тем Новочеркасск взяли восставшие казаки, а 8 мая немцы взяли Ростов. Совнарком еще 17 апреля специальным декретом предписал разоружать все войска, переходящие из Украины на территорию Российской Советской Республики. По предложению Трифонова была создана комиссия по разоружению в составе Харченко, Тер-Арутюнянца, Аронштама и представителя от Сорокина. Однако, несмотря на выполнение этого условия советской стороной, немцы продолжали наступать в глубь Советской России.

Сложность обстановки становится ясной из нескольких телеграмм Трифонова в Наркомвоен. Копии этих телеграмм находятся в фондах Центрального музея Советской Армии.

«9 мая 1918 г.

Военная вне всякой очереди.
Москва. Ново-Лесной переулок Наркомвоен.
Троцкому, Подвойскому.

Считаю нецелесообразным вмешательство из прекрасного далека в местные дела не зная обстоятельств при которых приходится работать... Своими распоряжениями вы вносите дезорганизацию в наладившуюся было работу. Положение здесь чрезвычайно сложное и запутанное. Отступающие из Украины войска до 40 тыс. совершенно дезорганизованы и деморализованы. Нужен большой такт и политическая опытность чтобы не вызвать катастрофы. Распоряжающихся органов здесь четыре или больше: 3 командующих армиями Антонова-Овсеенко. Главнокомандующий Кубанью Автономов, Главком Донской Ковалев. Вследствии оторванности от России существует стремление к большей самостоятельности. Нужно постепенно и планомерно вводить и людей и события в русло. Дело у меня налаживается... Вносить дезорганизацию не следует тем более, что по отношению ко мне это будет уже не первый раз...

Член Наркомвоен *В. Трифонов*».

Серго выехал из Ростова 8 мая и направился в Царицын. По дороге он вступил в бой с отрядом анархиста Петренко, который похитил ценности, вывезенные в свое время из екатеринодарского банка: несколько десятков миллионов рублей золотом. С частью этого золота потом пришлось повозиться отцу, поэтому расскажу о нем подробнее. Эпизод с петренковской авантю-

рой описан в книге З. Орджоникидзе «Путь большевика». Серго организовал погоню за похитителями. Банду анархистов и левых эсеров удалось догнать на бронепоезде где-то около Сарепты, большая часть золота была спасена.

Не так давно я получил письмо из Днепропетровска от Л. С. Годзиевской, свидетельницы всей этой головокружительной и похожей на киносюжет истории. Она ехала в поезде, в котором везли ценности. Ее муж, Д. А. Дунин, был комиссаром финансов Донской республики. Привожу письмо Л. С. Годзиевской,— вернее, два ее письма, дополняющие одно другое,— как документ времени, рисующий довольно характерную картинку того периода гражданской войны, мая 1918 года.

«От Д. А. Дунина я узнала, что в Екатеринодар из Ростова прибыли ценности, изъятые у буржуазии из сейфов, плюс золотой фонд Ростовской республики на сумму 400 миллионов рублей в золотом исчислении. Ценности были в двух вагонах, товарных. Этот груз был направлен в Екатеринодар, так как к Ростову подходили немцы. А в день прибытия все эти ценности по постановлению Совдепа Екатеринодара были отправлены срочно в Царицын. Сопровождать этот груз было поручено комиссару финансов Д. А. Дунину. Ему были вручены соответствующие мандаты, и он же был назначен комендантом поезда с двумя помощниками. На сборы дали 2—3 часа. В сумерках я прибыла на вокзал — там уже стоял мощный паровоз, два классных вагона, два с ценностями, опломбированных, 20 красноармейцев, два пулемета. В один из товарных вагонов погрузили ценности Государственного банка.

До Тихорецка мы домчались быстро, и Дунин отправился к начальнику войск Северного Кавказа Сорокину, без разрешения которого никто не имел права двигаться по железной дороге. Через час были получены в штабе Сорокина разрешение и пропуск следовать до Царицына, куда мы должны были прибыть в течение 24 часов.

На станции Торговая, за Батайском, нас окружил так называемый «1-й левоэсеровский революционный полк», три эшелона бандитов численностью в 785 человек. Запломбированные вагоны вызвали у бандитов подозрение. Вооруженные буквально до зубов, они вырывают из рук дежурного по станции жезл и свой первый эшелон пропускают вперед. Так мы очутились у них «в плену» —

позади нас еще два эшелона. Выхода не было. Надо было двигаться вперед, так как из Ростова были сведения, что вот-вот город будет занят немцами. Мы поняли, что попали в беду.

К вечеру на станции Гнило-Аксайская бандиты устроили нам крушение: пустили навстречу нашему паровозу несколько пустых вагонов, и наш состав на полном ходу врезался в эти вагоны. Паровоз встал на дыбы, сошел с рельсов, мы все попадали с диванов, наступила тишина, и через 5—10 минут к нам в вагон ворвались вооруженные до зубов и сразу же набросились на Дунина, потребовав от него документы, как от коменданта поезда. Не дожидаясь ответа, с отборной руганью тут же стали его избивать, избили до полусмерти, арестовали и его помощников. И тут же их увели с гиканьем и криками: «В штаб Духонина!» Это был мягкий вагон, в котором находился начальник штаба — я не уверена в том, что это был Петренко,— среднего роста еще молодой человек в офицерской шинели, рядом с ним сестра милосердия, его любовница. В руках у него находились все документы и мандаты, отобранные у Дунина, все они подвергались резкой критике. Петренко не верил ни единому слову, он глумился надо всем и всеми. Нас обвинили в том, что мы белогвардейцы, что ценности мы где-то награбили и что все мы подлежим расстрелу. В таком ужасе нас держали около трех суток, продолжая очень медленно двигаться вперед. Мы все находились в одном вагоне под стражей. Нас ограбили до нитки. Пить не давали, умываться не давали, кормили сыром (иногда) и держали под угрозой расстрела.

На одной из станций, уже на подступах к Сарепте, бандиты устроили митинг и постановили, что, поскольку деньги народные, они должны принадлежать народу, надо делить, и баста. И начали делить. Открыт был вагон, где находились деньги в закрытых небольших ящиках,— это были золотые монеты. Кто их раздавал, нам не было видно из окна вагона, но мы видели, как бандиты их прятали: они снимали с себя сапоги, запихивали деньги в портянки, завязывали в тряпье и подвешивали под колени, прятали в ножны. Вагон же с ценностями из Ростова не трогали.

Картина была потрясающая. Нас выгоняли всех в поле, но мы отказались идти, так как решили, что бандиты из пулеметов всех расстреляют. Среди нас была жена одного комиссара, ожидавшая ребенка. Вот в этот самый

отчаянный момент подоспела помощь со стороны Серго Орджоникидзе. Он и тов. Дунаевский, комиссар из Ростова (впоследствии расстрелянный Сорокиным в Пятигорске), вместе с воинскими частями, оставившими Ростов, нас всех спасли. Три эшелона бандитов были окружены, разоружены (оружие всех видов и родов лежало горой до самых крыш вагонов), обысканы. Значительная часть золота была тут же изъята, и только небольшая часть пропала со сбежавшими в поле. Нас, женщин, отвели в вагон Серго. Тут же был организован военно-полевой суд в составе пяти человек: Серго Орджоникидзе, тт. Дунаевского, Дунина и еще двух (фамилий не помню), и у вагона, где я находилась, на моих глазах семь бандитов были расстреляны, в том числе и начальник штаба левоэсеровского полка. Я его очень хорошо запомнила, в серой офицерской шинели — надо отдать ему справедливость, умирал он мужественно. С разрешения комвзвода он подошел вплотную к красноармейцам, раскрыл, вернее, распахнул свою шинель, кричал все время: «Братцы, стреляйте только в грудь!» Так он шел спиной к полю и рухнул под пулями последним.

Таким образом спас нас всех, в том числе и меня, от верной смерти Серго. Нас привезли в Царицын. И в ту же ночь Царицын стала осаждать и бомбить знаменитая Маруся Никифорова. Оставаться было опасно, никто не мог сказать, в чем дело, полная информация отсутствовала, и меня Дунин буквально последним пароходом отправил в Саратов, а сам возвратился в Царицын для участия в государственной комиссии по сдаче ценностей. Вот так схематически обстояло дело с хищением ценностей в сумме 400 миллионов рублей».

Л. С. Годзиевская пишет не совсем точно: два эшелона бандитов, возглавляемые, по-видимому, самим Петренко, сумели прорваться к Царицыну. Трое суток шел настоящий бой на улицах города, и лишь 12 мая мятеж был ликвидирован и золото возвращено Государственному банку.

Орджоникидзе и Трифонов, как два чрезвычайных комиссара, разделили сферы действий: Орджоникидзе поехал из Ростова в Царицын, а Трифонов — на юг, в Екатеринодар и Новороссийск.

В Екатеринодаре Трифонов намеревался переговорить с Автономовым, главкомом Кубанской республики, но того не было в городе. Вечером 10 мая Трифонов вместе

с секретарем Ростовского Совета Равиковичем выехал в Новороссийск и прибыл туда ночью. Несмотря на ночные часы, в городе шла гульба, по улицам шатались ватаги моряков, горланили песни.

Весь ушедший из Севастополя Черноморский флот стоял в Новороссийском порту. Севастополь был взят немцами, и они радиотелеграммой потребовали, чтобы корабли вернулись в Севастополь,— иначе угрожали продолжать наступление на Кавказ. В штабе Трифонов встретил наркома почт и телеграфа Н. П. Глебова-Авилова и местного партийного работника Островскую, они обрисовали положение, достаточно напряженное: флот находится в западне. Немецкие подводные лодки подходили к самому входу в Новороссийскую бухту, немецкие аэропланы летали над бухтой. В случае наступления немцев по берегу не было ни достаточных сил для сопротивления, ни укреплений у города. Внушало тревогу и политическое положение. Командовавший флотом адмирал Саблин определенно реставрировал на кораблях старые порядки, начиная с того, что поднял старый Андреевский флаг. Под покровительством Саблина оживало реакционное офицерство.

Работа большевиков с матросами затруднялась бедой, общей для всей периферии: оторванностью от центра, отсутствием регулярной информации и политического руководства. На флоте не было комиссара,— эту должность упразднил проходивший в марте Второй общечерноморский съезд. И местных большевиков тревожило то, что команды все более подпадали под влияние офицерства, среди которого были сильны эсеры, меньшевики, скрытые контрреволюционеры, склонявшие матросов к тому, чтобы вернуть корабли в Севастополь. Новороссийск был плохо приспособлен для военного флота. Но и уходить было некуда: все порты Черного моря уже захватили враги.

Большевики предвидели трагический исход: топить флот. Через несколько дней, 18 июня, это было сделано под руководством посланного Лениным Ф. Раскольникова, и эсминец «Керчь» послал прощальное радио: «Всем, всем. Погиб, уничтожив те корабли Черноморского флота, которые предпочли гибель позорной сдаче Германии». Но в тот день, когда Трифонов приехал в Новороссийск, был в штабе и разговаривал на броненосце с командующим флотом Саблиным, этот исход еще не казался единственно возможным.

Невозможным было только одно: отдавать флот Германии. Трофинов понял, что командование флотом стоит на пороге жизненно важных решений и оставлять Саблина без комиссара нельзя. В телеграмме, посланной уже из Царицына, 17 мая, Трифонов предложил назначить двух политических комиссаров в Черноморский флот и назвал две фамилии, в том числе Глебова-Авилова. Это совпадало с решением центра: еще 14 мая Глебов-Авилов был назначен главным комиссаром Черноморского флота и в тот день, когда Трифонов давал эту телеграмму, уже приступил к исполнению обязанностей.

12 мая из Новороссийска Трифонов отправил в Наркомвоен телеграмму:

> «Москва Ново-Лесной переулок Наркомвоен Троцкому, копия Александровский вокзал поезд Военного Совета Бонч-Бруевичу.
>
> Сегодня прибыл в Новороссийск. Пробуду день или два и через Екатеринодар Тихорецкую если позволят обстоятельства выеду в Москву. Наши войска занимают позиции у Батайска...
>
> Принимаются меры военного характера. Помимо того принимаю меры для ликвидации гражданской войны мирными путями. Гарантирую повстанцам безопасность и свободный проезд до любого пограничного пункта.
>
> Телеграфируйте свое мнение по этому вопросу.
>
> Екатеринодар Чрезвычайный штаб обороны мне.
>
> Член Наркомвоен *В. Трифонов*».

Из телеграммы от 9 мая явствует, что у Трифонова складывались неблестящие отношения с Наркомвоеном, и в частности с Троцким. Вступить с Троцким в конфликт было дело нехитрое: его терпеть не могли военные, фронтовые работники. Впрочем, и у отца характер был не из легких. Он был слишком независим, обо всем составлял собственное мнение и отстаивал его с большим упорством.

Мне известно из одного письма к Е. Трифонову, написанного в конце мая 1918 года, о том, что неважные отношения сложились у отца и с Антоновым-Овсеенко, и с Юреневым, хотя с обоими он тесно работал еще в Питере, в красногвардейский период. В этом письме много интересного, но приводить его мне не хочется, потому что и Антонов-Овсеенко, и Юренев, и Трифонов, при всех

их разногласиях, теперь как бы сравнялись судьбой: их всех уничтожил Сталин.

Они могли спорить, могли не любить друг друга, могли ошибаться и заблуждаться, что свойственно людям, но они делали одно дело: революцию. И были преданы этому делу. И погибли за него.

14 мая Трифонов приехал в Екатеринодар и встретился наконец с главкомом войск Северного Кавказа Автономовым, который только что вернулся из Армавира. Между ЦИК Кубанской республики и Автономовым в это время уже назревал конфликт, который вскоре едва не дошел до вооруженного столкновения. Еще более явно обнаружилась в эти дни вражда между Сорокиным и местным Советом в Тихорецкой. Оба военных деятеля проявляли открытый бонапартизм, не желали подчиняться ни Москве, ни местным партийным организациям. В роли командующих они оказались беспомощны, зато под флагом борьбы с контрреволюцией расстреливали людей направо и налево, пытаясь как будто бы наладить дисциплину, а на самом деле еще более сгущали сумбур.

Трифонов старался укротить чересчур самостоятельных военкомов. В Тихорецкой он решительно встал на сторону местного Совета в его споре с Сорокиным и предотвратил едва не начавшееся кровопролитие. Из Тихорецкой же 15 мая Трифонов отправил шифрованную телеграмму в Екатеринодар, на имя военкома Кубанской республики Иванова, где среди непонятных цифровых строк имеется такая фраза: «Никаких расстрелов не производить, никаких приказов не издавать».

17 мая, приехав из Тихорецкой в Царицын, Трифонов направил в Москву, в Наркомвоен, такую телеграмму:

«Сообщаю Царицына. Объездил всю Кубанскую и Черноморскую области. Положение очень сложное, запутанное и серьезное. Автономов командующий войсками никуда не годится в оперативном отношении. Операциями никто не занимается и меньше всего ими занимается командующий. Я ультимативно поставил перед кубанскими организациями требование сменить командующего. Временно командующим выдвинул Калнина нач-ка отряда действующего на побережье. Нужно, чтобы вы подтвердили мое требование. Считаю необходимым мой приезд в Москву ряд вопросов необходимо выяснить. Думаю дождаться Снесарева. Сообщите, ког-

да он выехал, где находится в настоящее время. В Царицыне нужно создать окружной и оперативный центр объединив организации Снесарева и Центроюга эвакуированного из Донецкого бассейна. Необходимо назначить двух политических комиссаров к командующему флотом Саблину. Выдвигаю Авилова-Глебова живущего в Новороссийске и бывшего морского офицера Симичева...

Член Наркомвоен *В. Трифонов*».

Сохранилась телеграмма Орджоникидзе Ленину, посланная из Царицына 22 мая. «С Автономовым покончено. Командование он сдает Калнину. Автономов выедет в Москву. Моя просьба его не отталкивать и дать работу в Москве, сам он, как человек, безусловно не заслуживает того, чтобы отбросить от себя...»[1]

Серго ошибся. С Автономовым еще не было покончено. На другой день, 23 мая, были отправлены следующие телеграммы:

«Военная вне всякой очереди Москва.
Наркомвоен Троцкому.

Чрезвычайный Кубанско-Черноморский штаб обороны отстранил в согласии со мной Автономова. Автономов не подчинился и объявил штаб шпионами. Положение грозит осложниться. Необходимо, чтобы вы подтвердили отстранение Автономова приказом для опубликования.

Член Наркомвоен *В. Трифонов*».

«Военная вне всякой очереди,
Екатеринодар Штаб Обороны Тихорецкая. Автономову...

...Именем Совета Народных Комиссаров Российской Советской Федеративной Социалистической республики в интересах защиты российской социалистической революции от нашествия контрреволюционных банд отечественного и иностранного происхождения предписывается Автономову немедленно подчиниться Постановлению Штаба обороны. Сложить звание главнокомандующего и ждать распоряжения Народного комиссара Троцкого. Всякое

[1] З. Орджоникидзе. Путь большевика, стр. 211.

противодействие и междуусобица будет расцениваться как измена и предательство революции.

Чрезвычайные комиссары
Орджоникидзе Трифонов».

В музее обороны Царицына-Волгограда сохранилась телеграмма Орджоникидзе в Москву от того же числа — 23 мая 1918 года:

«Москва Кремль. Ленину и Сталину.

Положение осложняется, ни в коем случае Автономова не поддерживайте. Немедленно распорядитесь об его отстранении. Положение здесь неважное — нужны решительные меры, а местные товарищи слишком дряблы: всякое желание помочь рассматривается как вмешательство в местные дела. На станции стоят 6 маршрутных поездов хлеба в Москву и Питер и не отправляются. Минин выехал в Москву. До приезда Трифонова, который выехал сегодня, никаких мер не принимайте. Еще раз повторяю, что нужны самые решительные меры: вокруг Царицына бушует контрреволюция.

Орджоникидзе».

Автономов был вынужден подчиниться, сдал командование, и его конфликт с ЦИК разбирался на Третьем съезде Советов Кубани и Черноморья. Затем Автономов по предложению Орджоникидзе отправился в Москву, где снова получил назначение на военную работу на Северный Кавказ — разумеется, уже не в качестве главкома. Он честно воевал с белыми и в феврале 1919 года в горах, во время отступления, умер от тифа.

Отец пробыл в Царицыне всего несколько дней, виделся там с братом: в конце мая Евгений Трифонов находился на Царицынском фронте.

В. Трифонова отзывали в Москву, чтобы направить на Урал, где неожиданно возникла новая опасность: мятеж чехословаков. И снова медленный, громоздкий поезд со множеством прицепившихся попутчиков: сербская миссия, тихорецкая делегация, какие-то французские врачи и сестры и царицынский комиссар финансов Соколов, который вез в Москву ценности — те самые, которые были эвакуированы из Ростова, которые похитил бандит Петренко и которые снова удалось отбить с помощью Серго.

В воскресенье 26 мая, вечером, преодолев все опасности, много раз отбиваясь от вооруженных банд, поезд подошел к Москве. Издали было видно большое зарево: в Сокольниках горели заводы и склады снарядов. Поезд остановился в пяти верстах от города. Отец пошел в город пешком...

Путь на Урал был долгий: сначала надо было доехать до Петрограда, оттуда через Вологду и Вятку в Екатеринбург. Туда из Питера уже отправился отряд эстонцев в 1000 человек и несколько других отрядов. В одном поезде с отцом выехали на Урал Смилга, Павлов со своим отрядом (тот самый Владимир Павлов, который был в «инициативной пятерке») и отряд рабочих в триста человек, присоединившийся в Петрограде. В этом же поезде втайне от всех было отправлено золото Ростовского банка, которое Трифонову было поручено спрятать в надежном месте на Урале. Время было тревожное, правительство решило вывезти эти ценности из Москвы. В письме к брату Евгению, о котором я упоминал, написанном 31 мая, вскоре после прибытия в Москву с юга, и где с горечью говорится о новом столкновении с Наркомвоеном («Когда я приехал в Москву, уже все вопросы были решены. Когда я потребовал перерешения, то, конечно, и Троцкий и вся прочая братия встала на дыбы...»), есть, между прочим, упоминание о ростовском золоте: «Неожиданно меня Свердлов попросил поехать на Урал с ценностями».

Перед Череповцом, ночью, какие-то вооруженные толпы напали на поезд, хотели отбить вагоны с продовольствием. Произошла перестрелка, бандиты разбежались. На станции было оставлено сто человек петроградского отряда. После Перми встречали на дороге составы с «красными финнами», беженцами из Финляндии, где белогвардейцы с помощью германского десанта в апреле и мае разгромили Советы и теперь творили расправу над революционерами. На станции Шаля встретили поезд товарища Токоя, председателя финляндского Совета народных уполномоченных. Все это были довольно мрачные встречи и невеселые разговоры. Из газет, которые достали в Перми, стало известно, что немцы на юге взяли Батайск, а чехословаки продолжают наступать.

8 июня поезд прибыл в Екатеринбург. С этого времени в течение почти целого года жизнь В. Трифонова была связана с тяжелейшей борьбой на Восточном фронте —

одной из самых драматических страниц истории гражданской войны. Если называть официальные должности, то отец был: начальником формирования Уральской армии, начальником Камской флотилии, членом Реввоенсовета Третьей армии, оставаясь все время членом коллегии Наркомвоена. А что происходило на Урале и в Сибири?

Чехословацкий мятеж вспыхнул в конце мая. В русских лагерях в 1917 году находилось до двухсот тысяч военнопленных чехов и словаков, из числа которых сформировался корпус для переброски во Францию, на Западный германский фронт. Это была затея Антанты. Командование корпуса обратилось к Советскому правительству с просьбой разрешить частям корпуса проследовать до Владивостока, чтобы оттуда морским путем переправиться в Европу. Это был долгий, но единственно возможный путь во Францию, и Советское правительство дало согласие.

Эшелоны чехословацких войск постепенно растянулись по всему пути от Пензы до Владивостока. К концу мая в корпусе насчитывалось до 50 тысяч человек. Мятеж был заранее продуман и тщательно подготовлен, ибо выступления произошли одновременно во многих городах. Подобно электрическому току, бегущему по проводу, волна мятежа прокатилась по всей Транссибирской дороге: один за другим или почти одновременно пали Челябинск, Пенза, Сызрань, Томск, Курган, Новониколаевск. Об истинных вдохновителях не приходилось гадать. О них прямо говорилось в статье «Французские миллионы», напечатанной в июне 1918 года в центральном органе Чехословацкой коммунистической партии «Прукопник свободы», выходившем в Москве. Ленин цитировал эту статью в своей знаменитой речи 29 июля на объединенном заседании ВЦИК, где он раскрыл перед миром заговор Антанты: «От 7 марта до дня выступления вожди Национального чешского совета получили от французского и английского правительства около 15 миллионов, и за эти деньги была продана чехословацкая армия французским и английским империалистам».

В июне, когда В. Трифонов приехал в Екатеринбург, чехословаки, взяв Челябинск, уже двигались по направлению к уральской столице, белогвардейцы заняли Нижний Тагил и Невьянск, а на Южном Урале в оренбургских степях орудовал атаман Дутов. Всему этому валу контрреволюции противостояли разрозненные, полупартизан-

ские и малочисленные силы Восточного фронта, которым командовал Муравьев, бывший царский капитан и левый эсер. 6 июля левые эсеры подняли мятеж в Москве. Бомбой был убит германский посол Мирбах. Мятеж подавили быстро, но ЦК левых эсеров успел отдать распоряжение Муравьеву снять войска с фронта и направить в Москву. Войска не поддержали изменника. Муравьев был застрелен в Симбирске, 11 июля, в самом начале своей авантюры. Новым командующим фронтом стал Вацетис.

Большевики спешно организовывали военную силу, способную остановить наступление чехов и белых. 20 июля 1918 года — день, когда родилась Третья армия, впоследствии прославившая себя многими боевыми делами. Военная судьба отца на Востоке тесно связана с этой армией, он стал членом ее Реввоенсовета — правда, не сразу, а спустя несколько месяцев, в трудное время, когда армия отступала. Командующим Третьей армии был назначен Р. И. Берзин, в Военный совет, кроме Р. И. Берзина, вошли М. М. Лашевич и И. Т. Смилга, начальником политотдела армии стал Ф. И. Голощекин — старый большевик, участник Пражской конференции.

В. Трифонов занимался в это время созданием Камской флотилии и организацией на заводе в Мотовилихе производства бронепоездов. В Перми было задержано огромное количество всякого военного имущества, эвакуированного с германского фронта: оружие, снаряды, кавалерийское снаряжение, обмундирование, продовольствие. Все это какая-то специальная снабженческая организация (каких было много, и самых таинственных и непонятных в ту пору) направляла куда-то на Восток, в Сибирь. Не белым ли? Среди этого имущества были обнаружены заграничные морские орудия, разнообразные, вплоть до шестидюймовых пушек «Кане». Трифонов затребовал из Петрограда группу матросов-артиллеристов, вскоре прибыло десять человек. Некоторые из них принесли большую пользу Камской флотилии. Тяжелые пушки «Кане» ставились на баржи, а более легкие орудия устанавливались на специальные понтоны японского происхождения, которые двигались при помощи бензино-керосиновых моторов.

Не менее важным и таким же новым делом было оборудование бронепоездов на Мотовилихе. Всего было построено четыре бронепоезда, они хорошо показали себя в боях.

В течение нескольких недель в июле и августе отец исподволь занимался поисками места для схоронения ценностей. На Мотовилихинском заводе были заказаны двенадцать железных ящиков, но два оказались лишними, все поместилось в десяти. (Я помню с детства один из этих ящиков, оказавшихся лишним: он стоял под большим отцовским письменным столом в его кабинете и всегда был заперт, отец хранил там оружие.) Так как белые наступали, 11 августа чехи взяли Казань, и положение становилось все более критическим, было решено как можно скорее спрятать ценности. Кстати, красноармейцы уже начали подозревать, что в тяжелых ящиках, которые так часто перевозят с места на место, хранится что-то серьезное. Особенно догадливы были немцы из интернационального отряда, которым чаще других поручалась охрана ящиков. «Гольд! Гольд!» — говорили они, посмеиваясь. Скверно одетые, полуголодные, измученные непрерывными боями люди без конца таскали за собой огромное богатство, принадлежавшее республике. В конце августа его спрятали в одном из домов в городе Лысьве. Ночью приехали с телегой четверо: Трифонов, Голощекин, предсовдеп Перми Новоселов и Белобородов (месяц назад расстрелявший Николая Романова в Екатеринбурге) и лично зарыли ящики в подвале дома. Наутро в этот дом въехала и разместилась там ничего не подозревавшая воинская часть. К концу года Лысьва была занята колчаковцами, а после гражданской войны за ценностями приехал от Наркомфина Н. Н. Крестинский и все благополучно нашел.

Отряд интернационалистов, о котором я упоминал выше, играл заметную роль на Восточном фронте. Вернее, таких отрядов было несколько, и один из первых организовал Бела Кун, будущий вождь венгерской революции. Бела Кун был комиссаром бригады Третьей армии. Сольц рассказывал, как вскоре после Февральской революции, когда он редактировал газету «Социал-демократ», в Москве к нему в редакцию, в гостиницу «Дрезден», пришел солдат в австрийской шинели, пленный, и сказал, что он венгерский социал-демократ и хочет сотрудничать с русскими революционерами, может проводить работу среди австрийских пленных. Это был Бела Кун. На Восточный фронт, в Пермь, он приехал 6 августа из Москвы вместе с Лашевичем и Залуцким.

П. Лурье вспоминает о том, как Кун, человек южный, страдал от суровых уральских холодов и ходил в двух

кожаных куртках. Когда его спрашивали, почему он так странно одевается, он говорил шутливо: «Я весь простужен! Два зима на фронте, полтора года в Сибири, один зима здесь!»

Однако все эти не привыкшие к уральским морозам люди, мадьяры, чехи и немцы, заброшенные в глубочайшую российскую глушь вселенским вихрем, показывали в боях самоотверженность и преданность революции.

Первые интернационалисты, с которыми В. Трифонов встретился, были три австрийских солдата, присоединившиеся в мае 1918 года в Царицыне к Дружковскому отряду — это был отряд донецких рабочих из Дружковки, человек пятьдесят. Они выехали с В. Трифоновым из Царицына в Москву, отправились вместе с ним на Восточный фронт и сопровождали его больше восьми месяцев. Командовал Дружковским отрядом И. Чибисенко. Между прочим, из трех австрийских солдат никто не был настоящим австрийцем: Прокопчук был русин, Юзеф Шруб чех, а Франц Мужйна итальянец. Они, как и большинство интернационалистов, уехали на родину в ноябре 1918 года, когда пришла весть о революции в Австро-Венгрии.

Был в Третьей армии такой чех — Франц Каплан, командир речной флотилии интернационалистов. Флотилия — это сказано, правда, довольно громко, она состояла из одного парохода и трех понтонов с пушками и пулеметами — всю осень отважно воевала с белогвардейцами, теряя в боях один понтон за другим. В ноябре Каплан с помощью мотовилихинских рабочих оборудовал бронированный пароход с шестидюймовыми пушками. Франц Каплан был человек веселый, шутник, фантазер. После революции в Германии он, например, фантазировал: как можно устроить революцию в Чехии? «Это очень просто. Самые революционные рабочие живут в Кладно, недалеко от Праги. Надо только иметь много денег, подкупить всех пражских шоферов, и пусть они сразу выедут в Кладно. Там рабочие сядут на машины — вот и готова подвижная армия революции!»

В декабре 1918 года, в трудные дни колчаковского наступления на Пермь, Франц Каплан был комиссаром по охране пермского моста. В ночь на 11 декабря на него совершили нападение, он был ранен и вскоре поехал на родину. Впрочем, через год Франц неожиданно появился перед В. Трифоновым в Саратове, в штабе Юго-Восточного фронта,— оказалось, до родины он так и не добрался, воевал на Украине.

Все в том же отцовском сундуке, где лежали карты, сохранилось несколько полевых книжек — небольших тетрадей с обложками из твердого, глянцевитого картона, на которых типографским способом написано: «Полевая книжка» и напечатана марка издательства «Воин», выпускавшего эти книжки по заказу, вероятно, еще царской армии. В полевых книжках сохранились копии многих приказов, предписаний, телеграмм и донесений, написанных В. Трифоновым на фронте. Много среди этих бумаг просто деловых, будничных и малоинтересных записей военного быта.

Впрочем, по-своему интересна, конечно, любая запись, датированная 1918 годом. В каждой сохраняется неповторимое: язык, запах, дыхание, напряжение того времени, и даже удивительно, как все это угадывается в самых простых строчках какой-нибудь просьбы о присылке «двух пудов бензина» или приказа о «предъявителе сего т. Бруте, который командируется в Питер за папиросами и табаком».

Вот, например, предписание, посланное В. Трифоновым начальнику Петроградского продовольственного отряда 21 июня 1918 года.

> «Отряду предписывается остаться в Перми для обучения военному строю и обращению с оружием. Условия денежного и иного довольствия, заключенные с Петроградской коммуной, остаются в силе; военный комиссариат берет на себя только руководство обучением и оперативное руководство. Дружинники отряда, согласные на эти условия, остаются в Перми, остальные должны немедленно вернуться в Питер.
>
> Наркомвоен *В. Трифонов*».

Обычно он подписывался просто «В. Трифонов» или «член коллегии Наркомвоен В. Трифонов», но иногда для краткости и, по-видимому, большей внушительности — «Наркомвоен В. Трифонов». В случае с Петроградским продовольственным отрядом понадобился, как видно, последний род подписи. Этот рабочий отряд, прибывший в Пермь в июне, вел себя весьма вольно и независимо, и потребовались усилия, чтобы привести его к порядку. В другой депеше, относящейся к сентябрю 1918 года и направленной В. Трифоновым в Пермскую ЧК, говорится о том, что мобилизованная для окопных работ

«праздношатающаяся публика» должна быть передана в распоряжение Военного комиссариата на позже 12 часов 12 сентября для отправки на работу.

Много документов посвящено подготовке бронепоездов на Мотовилихе и бронированных понтонов. Ввиду наступления чехов этой работе придавалось большое значение, она делалась крайне спешно. Опытных, преданных делу инженеров и механиков, которые могли бы правильно организовать производство, было мало, надежных людей, можно сказать, не было вовсе, ибо заводские специалисты в лучшем случае были настроены нейтрально, а некоторые не скрывали своей враждебности к новой власти. Впрочем, большинство из них просто разбежалось. В. Трифонов стал энергично разыскивать — и разыскал — механиков и техников среди интернационалистов.

Вот несколько телеграмм и предписаний, говорящих о лихорадочной подготовке бронепоездов и понтонов и о важной роли, которую сыграли тут интернационалисты.

«22 июня 1918 г.
Областной военком Анучину, Голощекину.

Штаб фронта Берзину.

По указаниям, полученным из Екатеринбурга, платформы обшиваются двойной броней по 3/8 дюйма каждая. Двойная обшивка задержит работы на несколько месяцев. Задержка абсолютно недопустима тем более, что та броня, которой обшивают платформы, теперь 1/2 дюйма не пробивается винтовочной пулей на расстоянии 25 шагов. Было пять испытаний разных плавок, и все дали одни и те же результаты. Я дал заводоуправлению указания, чтобы заготовка производилась с расчетом, что платформы покрываются одним рядом брони 1/2 дюйма. Необходимо ваше подтверждение. Четыре первые платформы будут готовы ко вторнику 25, первый паровоз к будущему вторнику. Вероятно, первые платформы пошлем с простым паровозом.

Наркомвоен *Трифонов*».

«27 июня.
Берзину, Голощекину.

Нам крайне необходим томский интернационалист тов. Лоренц. Необходим он для организации бронированных поездов. Чем скорее вы его пришле-

те, тем скорее будут готовы поезда. Я вам телеграфировал об этом несколько раз, но все безрезультатно.

В. Трифонов».

Уже в начале июня был готов первый бронепоезд: это ясно из предписания от 5 июля Петрову, который назначался комиссаром 1-го Пермского бронированного поезда и был обязан следить за тем, чтобы «поезд беспрепятственно продвигался до Екатеринбурга, где он должен быть передан в распоряжение командующего фронтом тов. Берзина». Между тем работа по подготовке других поездов, бронеплатформ и понтонов продолжалась, и интернационалисты были тут по-прежнему главными действующими лицами. В записке от 8 июля начальнику отряда интернационалистов Бартмусу Трифонов называет пятерых, по-видимому австрийцев: Эльхмана, Гофмана, Гааза, Шимона и Саараз Георга, которых предписывалось направить для работ в качестве механиков на понтонах.

Интересна телеграмма, посланная 24 сентября 1918 года в Управснаб Третьей армии.

«Тов. Ишмаеву.

Прошу, товарищ, сделать все возможное для отряда интернационалистов Камской флотилии. Они чуть ли не в единственном числе держат теперь фронт на Каме. Отряд очень боевой и верный. Они просят теплого обмундирования, сапог и 4 револьвера. Они все время находятся в воде, и сапоги им нужны. Сделайте, товарищ, что можно.

В. Трифонов».

Есть и такое печальное сообщение:

«Речная флотилия интернационалистов потеряла в сражении все свое имущество: их пароход и два понтона потоплены неприятелем. Им необходимо выдать все обмундирование на 120 человек.

В. Трифонов».

Среди интернационалистов был известен пламенный агитатор Рейнер, командир батареи, состоявшей из мадьяр и немцев. Он попал в плен к белым и был убит после зверских пыток. Одним из батальонов командовал Ференц Мюнних, нынешний член правительства Венгерской Народной Республики.

Вот небольшой эпизод, характеризующий и интернационалистов, и военный быт, и нравы того времени. Под Лысьвой один наш отряд самовольно отступил с фронта.

Приказано было его разоружить. По ошибке заодно разоружили и отведенную в г. Лысьву на отдых роту интернационалистов. Когда разобрались, оружие им вернули — все, кроме четырех пулеметов, ибо по тогдашним понятиям это была слишком большая роскошь. Командир роты пришел в вагон В. Трифонова, бывшего тогда в Лысьве, и доказывал, что эти «четыре пулемьёта, четыре «ма́ксима» взяты ими в боях, законные трофеи. «Мы готовы отказаться от отдыха и немедленно выступить, только отдайте эти четыре пулемьёта, четыре «ма́ксима». Он все время повторял, чуть ли не со слезами: «Четыре пулемьёта, четыре «ма́ксима»!»

В числе самых мужественных и стойких бойцов Уральского фронта были латышские стрелки. Группа латышских стрелков из 6-го и 4-го лат. полков начала работать с В. Трифоновым с весны 1918 года, со времени Всероссийской коллегии по формированию Красной Армии. Это были молодые парни, смелые, надежные, исполнительные. Люди, которые работали с В. Трифоновым, «прилеплялись» к нему всей душой и старались отовсюду, куда бы их ни забрасывала военная судьба, разыскать его и вернуться под его начало. Вот так же разыскал В. Трифонова и пришел к нему в Саратове громадный веселый чех Франц Каплан.

А я помню, как некоторые из латышских стрелков, такие как Иван Иванович Лукс, Эрнест Иванович Литке и другие, появлялись в нашей квартире на улице Серафимовича еще в тридцатые годы. Отец чем-то помогал им, то одному, то другому, устраивал на работу...

И как странно теперь, через почти тридцать лет после того, как я последний раз видел Литке, — совсем не помню его лица, помню только, что был он очень долговяз, рыж, в гимнастерке с широким армейским поясом, в сапогах, помню разговоры о нем, полушутливые, добродушные,— читать про него в «Полевой книжке». В октябре 1918 года Литке был командиром полка Особого назначения, и В. Трифонов часто отдавал ему разного рода письменные распоряжения и приказания, иногда довольно грозные. В одной записи, например, за какое-то нарушение дисциплины он грозил предать весь командный состав полка суду полевого трибунала.

Давно нет в живых отца, сгинул куда-то и Литке, и едва не погибли старые полевые книжки, в которых отпечаталась эта далекая, взбудораженная, кому-то уже непонятная сейчас жизнь. Зачем же я ворошу ее страницы? Они волнуют меня. И не только потому, что они об отце и о людях, которых я знал, но и потому, что они о времени, когда все начиналось. Когда начинались мы.

В середине октября 1918 года В. Трифонова вызвали для доклада в Москву. В одном вагоне с ним ехал Бела Кун. Говорили о мировом пожаре: он должен был вспыхнуть вот-вот. Европа уже дымилась. В Болгарии разразилось солдатское восстание. Турция и Болгария вышли из войны. Кайзер в панике шел на уступки социал-демократам, в Венгрии пахло порохом, и Бела Кун говорил, что родина зовет его.

И правда, он скоро уехал: в ноябре в Австрии произошла революция.

В Москве В. Трифонов тяжело заболел испанкой. Болел долго, был при смерти. Не видел, как Москва праздновала первую годовщину революции, как были иллюминованы здания, стреляли ракеты, разъезжали автомобили с оркестрами, как над Театральной площадью два аэроплана разбрасывали прокламации, а на Советской площади вместо памятника Скобелеву открыли обелиск в честь Октябрьской революции. Все это видел Павел и описал очень подробно. По городу Павел разъезжал верхом на лощади. Вечером он ходил в театры. Во всех театрах по случаю праздника шли революционные пьесы: в театре Зимина шла опера «Фиделио», из эпохи Французской революции. В домах было холодно, не топили. Отец никак не мог побороть болезнь, началось воспаление легких. Он бредил, был очень плох. Его перевезли в закрытом автомобиле в квартиру Сольца на Немецкую улицу. Он был плох не только от болезни, но и от мыслей: там, откуда он приехал, было тяжко, он рвался туда, он не имел права оставаться в иллюминованной столице, да еще умирать здесь. И надо же заболеть в такой миг истории, когда наконец началось!

9 ноября грянуло в Германии. Вильгельм отрекся. В Берлине и других городах выбраны Советы рабочих и солдатских депутатов.

Из дневника Павла:

«*11 ноября.*

Москва. В 6 ч. пошел в Большой театр, где состоится концерт только для советских деятелей и

членов партии. Я получил билет в ложу газ. «Правда». На улицах манифестации по поводу германской революции. Перед концертом т. Ленин сообщил последние телеграммы. В Берлине войска восстали, власть перешла к Совету. Шейдемановцы составляют общесоциалистическое правительство поровну правых и независимых с.-д. В Баварии власть перешла к Советам. В Ковне германский солдатский Совет принял верховное командование Восточного фронта. По всей Украине восстания германо-австрийских войск, организуются Советы.

Ленин сказал краткую речь, потом говорили Свердлов и Каменев. Начался концерт. Оркестр играл 6-ю симфонию Чайковского, потом было пение, балет, декламация (выступали Качалов, Москвин и др.). 4-й акт оперы «Садко», 2-я сцена оперы «Фиделио». Видел т. Островскую. Пришел домой в 2 ч. ночи. Приехал В. Павлов и Л. Пылаева из Перми, ночевали в эшелоне. Павлов поступает в Академию Ген. штаба».

Через десять дней приехал с Южного фронта Евгений Трифонов — его тоже вызвали в Академию Генштаба. Братья не успели толком поговорить: в конце ноября отец, выздоровев, выехал на Урал, где белые начали наступать.

В ту пору В. Трифонов был довольно молод — в восемнадцатом году ему исполнилось тридцать,— но его звали «Дед» даже те, кто был значительно старше. Он был среднего роста, сильный, коренастый: физическую силу развил постоянными, с юности, со времен ссылок, упражнениями с гирями. По характеру он был человек молчаливый, сдержанный, даже несколько мрачноватый, не любил, что называется, «выдвигаться».

Замкнутость, как черту характера отца, увидела Лариса Рейснер, побывавшая с флотилией на Волге в 1919 году и написавшая книгу «Фронт»:

«Осколок разбитого чортом кривого зеркала застрял и в товарище Трифонове. Из ссылки и тюрьмы он вынес тяжелую сдержанность долголетнего пленника, несколько болезненный страх перед слишком громкими словами, мыслями и характерами. В сильном и умном человеке, великолепном большевике и солдате революции немного скучно желание обмануть себя и других — изобразить свое крупное «я» самым сереньким, самым будничным

человечьим пятном. Но бурный 1919 год через все логические дырки прорастает веселой зеленой травой; неудержимый ветер времени рвет серые очки с чернявого трифоновского лица, что ему не мешает и сегодня все так же упорно защищать свой давно развалившийся душевный острог и любимейшее подполье чувств».

Сказано красиво, ярко, даже несколько пышно, как писала Рейснер, но что-то в этом отрывке верно угадано. Это «что-то»: неумение и нежелание таких людей, как отец (а он являл собою довольно типичный образ русского революционера), делать так называемую политическую карьеру, добиваться личной популярности. Свойство таких людей — оставаться в тени.

Отец был прирожденный организатор. Везде, где бы он ни работал, он тащил громоздкий воз — воз о р г а н и з а ц и и, будь то организация Красной гвардии, или Камской флотилии, или производства бронепоездов на Мотовилихе, или же просто упорная будничная бесконечная работа по созданию армии на Юге, на Востоке и на Кавказе.

Когда Лариса Рейснер встретила В. Трифонова на Волге, самые тяжелые дни Восточного фронта уже миновали. Позади были отступление, лютые морозы конца декабря, потеря Перми — то, что называлось потом «пермской катастрофой». В Перми, в день эвакуации, Трифонова нашел в штабе старый приятель, пермский старожил Борис Шалаев, спрашивал: как быть? Жена боялась с двумя малыми детьми бежать из города, да еще при таком морозе. «Нашел его в доме Мешкова, куда перебрался штаб,— вспоминает Шалаев.— Еле удалось до него дозвониться. При моем появлении он торопливо подошел ко мне и сразу сказал: положение резко изменилось к худшему, подробностей он передать не может. Об эвакуации теперь не может быть и речи. Он и сам не знает еще, уцелеет ли в создавшейся обстановке. «Ты, как инженер, можешь уцелеть и при белых, а в случае чего найдешь ход к партизанам,— сказал он.— Ну, убьют, значит, не увидимся, а жив буду — значит, увидимся!» И мы расстались, а всего через каких-нибудь восемь часов уже загремели первые выстрелы белых на противоположной окраине города».

Не думаю, чтобы этот мимолетный, в суматохе, разговор со старым и внезапно появившимся товарищем по ссылке особенно запомнился отцу. Но других воспоминаний у меня нет. А в дневнике Павла и вовсе две строчки:

«Эвакуация Перми. Скоро уезжаем. Кунгур взят белыми. Сильный мороз —30°».

Позади были горечь ухода, гибель друзей и то, что было потом,— мучительная перестройка Третьей армии, приезд комиссии ЦК в лице Дзержинского и Сталина с целью расследования причин «катастрофы». В ноябре 1918 года, в самый тяжкий для Восточного фронта период, В. Трифонов был назначен членом Реввоенсовета Третьей армии. Вместе с командующим и другими руководящими работниками армии он принял основной критический удар комиссии ЦК.

О трудностях, с которыми столкнулись большевики Восточного фронта, можно судить по докладу В. Трифонова в Военно-революционный совет. С этим докладом В. Трифонов приехал в Москву, он написан в октябре — ноябре 1918 года, то есть еще до потери Перми, до приезда комиссии ЦК. Он подводит итоги пятимесячной работы. Доклад обширен, приводить его целиком не имеет смысла, но интересны первые страницы, где рисуется картина того, как создавалась Третья армия и в каких условиях это делалось.

«3 июня,— пишет В. Трифонов,— я прибыл на чехословацкий фронт. В распоряжении Уральских военных организаций в это время находилось всего несколько совершенно недисциплинированных красноармейских рот.

Моя поездка на Урал в апреле была отменена потому, что на Урале военная организация стоит очень высоко,— так мне сказали в Военном комиссариате. Чехословацкий мятеж показал, насколько все это было пустыми разговорами. Урал мог выставить ничтожные десятки вооруженных лиц, войска же на Урале не было. Я об этом телеграфировал Народному комиссариату сейчас же по приезде, 8 июня, прося прислать 2 батареи и батальон пехоты. Указывал на спешность и необходимость присылки и неизбежность неудач в случае отказа. Ни артиллерии, ни пехоты не было прислано, по крайней мере в течение ближайшего месяца... За все 5 месяцев моего пребывания на Урале нам было прислано около 6 тысяч штыков, цифра эта совершенно ничтожная по сравнению с силами, действующими против нас. Нам пришлось напрячь все силы, поднять весь Урал для того, чтобы хотя бы отступать в такой постепенности и в таком порядке, в каком отступали мы...»

В отчете комиссии ЦК поражения Третьей армии объяснялись недостатками в командовании, слабостью тыла,

непрочными резервами, то есть всем тем, что само собой разумеется, когда речь идет об отступлении.

«Морально-боевое состояние армии было плачевное благодаря усталости частей от бессменных 6-месячных боев. Резервов не было никаких... довольствование армии было случайное и необеспеченное (в самую трудную минуту стремительного натиска на 29-ю дивизию части этой дивизии пять суток отбивались буквально без хлеба и прочих продуктов продовольствия...)». 11 декабря Трифонов, член Реввоенсовета Третьей армии, заявляет Смилге (Востфронт) по прямому проводу: «Весьма вероятно, что мы в ближайшие дни вынуждены будем оставить Пермь. Достаточно двух-трех крепких полков. Попытайтесь вытянуть из Вятки или из ближайшего пункта».

Ответ Смилги (Востфронт):

«Подкреплений не будет. Главком отказался помогать».

Венцом отчета комиссии было весьма характерное для Сталина бюрократическое предложение: создать еще одну специальную контрольно-ревизионную комиссию, которая могла бы «дополнять работу центра по подтягиванию работников». При этом все же надо сказать, что приезд комиссии ЦК принес безусловную пользу войскам Восточного фронта: были мобилизованы коммунисты и рабочие Урала, созданы новые части, например Вятский батальон ВЧК, лыжный отряд в тысячу человек, улучшилось снабжение. Вообще успех комиссии был подготовлен работой, которую проделали большевики Третьей армии, уральские коммунисты. Лашевич был снят с командования, как не справившийся с управлением армией в сложной обстановке.

Третья армия вовсе не была в таком плачевном состоянии, как об этом можно было подумать, прочитав отчет. Она доказала это очень скоро, весною 1919 года, когда, устояв против превосходящих сил Колчака, сама перешла в победоносное наступление и 1 июля освободила Пермь, захватив огромные трофеи, а 14 июля был освобожден Екатеринбург. Историки прошлых лет, угодничая перед Сталиным, изображали победы Третьей армии как результат приезда чудодейственной комиссии, которая, дескать, «навела порядок» в армии. Сталина изображали чуть ли не «спасителем» Восточного фронта. На самом же деле ясно, что никакие комиссии не могли бы спасти фронт, если бы не было здоровой, боеспособной армии. Такая армия была. В труднейших условиях, ценою временного и постепенного отступления, она сумела

сохранить свои силы и боеспособность и уже в январе 1919 года на ряде участков перешла в наступление.

В рядах Третьей армии прославились такие замечательные командиры, как В. К. Блюхер, братья Н. и И. Каширины, бывшие офицеры казачьих войск, честно воевавшие за дело революции, как И.С. Павлищев, военспец старой армии, героически погибший в бою с колчаковцами, как Н. Д. Томин, и другие.

Историк С. Ф. Найда в своей книге «О некоторых вопросах истории гражданской войны в СССР», вышедшей в 1958 году, писал: «Говоря о причинах падения Перми, наши историки очень часто давали неверную оценку Третьей армии. Авторы, как правило, ограничивались общими замечаниями вроде того, что руководство армии было плохое, что войска этой армии дрогнули, отступили и т. д. О боевой истории Третьей армии, о ее личном составе, о беспримерных подвигах ее бойцов и командиров во всех предыдущих боях обычно не говорилось или почти не говорилось. Не выяснялась и роль Третьей армии в октябрьско-ноябрьских боях 1918 года, а также в январских боях 1919 года».

В. Трифонов пробыл на Восточном фронте, оставаясь членом Реввоенсовета Третьей армии, до конца мая 1919 года. К этому времени положение на Восточном фронте значительно улучшилось. В апреле, после известного Пленума ЦК, на котором решались вопросы укрепления армии и ее политорганов и где В. И. Ленин особо говорил о необходимости усилить Третью армию, тяжело пострадавшую в зимних боях под Пермью, на Восток, для борьбы с Колчаком, стали прибывать все новые отряды мобилизованных рабочих, поезда с оружием, боеприпасами.

Страна и партия напрягали все силы, чтобы укрепить фронт борьбы с Колчаком, ибо на Востоке решалась судьба революции.

В марте и апреле, когда наступал Колчак, Восточный фронт превратился в главный фронт республики. Ленин лично следил за каждой частью, отправлявшейся на Восток. Известна его телеграмма В. И. Панюшкину от 12 апреля 1919 года: «Ваше промедление с погрузкой и отправкой становится непонятным. Поймите, что малейшее промедление преступно. Никакое недоснабжение не оправдывает. Выезжайте и вывозите вашу воинскую часть во что бы то ни стало немедленно. Предсовнаркома Ленин».

С Панюшкиным связан эпизод, весьма характерный для тех дней, когда партизанская лихость и революционный азарт сталкивались с дисциплиной, с необходимостью подчиняться начальству, пускай не столь ярко и пышно революционному, но понимающему толк в военных науках.

Отряд Панюшкина, того самого боевого и отчаянного матроса, которого В. Трифонов и Павел помнили еще по Питеру, прибыл в Вятку в конце апреля. Отряд был преобразован в бригаду Особого назначения. Почти сейчас же штаб бригады вступил в конфликт с Реввоенсоветом Третьей армии, не желая подчиняться контролю. Короткая история «приведения в чувство» бригады изложена в телеграмме Реввоенсовета Третьей армии, направленной по трем адресам: предреввоенсовета республики Троцкому, главкому Вацетису, комвосту Каменеву.

«Для приведения полков бригады Особого назначения (быв. отряд Панюшкина) в порядок была назначена особая инспекция под общим руководством Мрачковского. До приезда Панюшкина инспекции удалось сломить сопротивление командного состава Особой бригады, протестовавшего против ввода в полки нового комсостава, имеющего специальное военное образование, и введения дисциплины. Но приехал Панюшкин, и наладившаяся было работа немедленно расстроилась. Панюшкин распорядился по бригаде не выполнять приказы Военсовета армии, т. к. бригада, по словам Панюшкина, подчиняется только Совету обороны и Реввоенсовету республики. Аналогичное заявление было послано Панюшкиным в Военсовет армии. Такое заявление Ответственного Политического Руководителя (так именовался Панюшкин в документе, выданном Склянским), имеющего специальные полномочия от Реввоенсовета республики и специальные телефонограммы от т. Ленина, не могло не произвести впечатления на комсостав бригады. Командующий состав отказался от принятия командиров, данных армией, и от исполнения указаний инспекции армии. Для ограждения бригады от влияния Панюшкина Военсовет приказал Панюшкину к 24 часам 29 апреля выехать из района расположения армии. 30 апреля, однако, было установлено, что Панюшкин не выехал из Вятки, а по-прежнему находится в штабе бригады. Тогда же было указано, что в штабе бригады находится также и бывший комиссар бригады Смирнов, приговоренный к условному

расстрелу и получивший распоряжение выехать на фронт в качестве красноармейца. Военсовет приказал Панюшкину и Смирнову явиться в помещение Совета. Панюшкин немедленно явился, Смирнов же явиться отказался. Двукратная посылка в штаб бригады коменданта штаба армии за Смирновым не привела ни к чему, причем находящиеся в штабе бригады чины штаба не только не способствовали выполнению приказа Совета, а, наоборот, чинили коменданту штаба препятствия и вели себя вызывающе.

Военный Совет решил арестовать всех находящихся в штабе бригады. Для того чтобы обеспечить безболезненное выполнение приказа об аресте, было решено караульным батальоном отделить штаб бригады от расквартирования ее частей. Арест был произведен ночью, и арестованные, а также Панюшкин, были отправлены в караульное помещение. Среди арестованных бывшего комиссара Смирнова не оказалось. Он сбежал. Части бригады, узнав об аресте штаба, волновались. Днем 30-го они начали сосредоточиваться на Советской площади с целью предъявления Военсовету армии ультимативного требования об освобождении штаба. Однако усилиями представителей Совета удалось части отправить по казармам. К вечеру Панюшкин и все арестованные дали обещание исполнять беспрекословно все приказания Военсовета, и арестованные были освобождены. На специально созванном собрании комсостава бригады Панюшкин указал на пагубность поведения его самого и комсостава и призывал к беспрекословному повиновению. Бригада успокоилась. Меры к розыску Смирнова принимаются. Предположено завтра начать переброску бригады. Реввоенсовет 3-й армии Меженинов, Трифонов»[1].

Остается добавить, что холодный реввоенсоветовский душ оказался полезным для Панюшкина: впоследствии он мужественно, дисциплинированно и честно воевал на фронтах гражданской войны.

Эпизод с Панюшкиным, сам по себе не очень значительный, показался мне интересным, так как рисует сложные обстоятельства, в которых приходилось действовать комиссарам фронтов. Кроме того, на имя Панюшкина я натолкнулся еще раз совсем недавно: в журнале «Знамя» № 9 за 1964 год, где были помещены «Колымские запи-

[1] Архив Центрального музея Советской Армии. Фонд В. Трифонова, 16.437. 4/23.313.

си» Г. Шелеста. В рассказе «Новички» — из жизни колымских ссыльных сороковых годов — говорится о бригадире Василии Лукиче Панюшкине, «спокойном и проницательном старике». Г. Шелест пишет о нем с большим уважением. В. Л. Панюшкин входил в состав подпольного лагерного «политбюро».

Так неожиданно я увидел конец этой бурной судьбы. Впрочем, нет — не конец, не конец! После смерти Сталина В. Л. Панюшкин был реабилитирован, вернулся в Москву, получил персональную пенсию. Он умер несколько лет назад.

Однако вернемся на Восточный фронт, в год 1919-й. В апреле этого года войска Востфронта разделились на две группы — Северную и Южную. Северной, куда входили Вторая и Третья армии, командовал один из талантливых военачальников, бывший полковник царской армии В. И. Шорин, преданно служивший Советской власти. У В. Трифонова возникли дружеские отношения с Шориным. Через несколько месяцев они вновь встретились на Юге, работали вместе в Реввоенсовете Юго-Восточного фронта.

Южной группой Восточного фронта командовал М. В. Фрунзе.

28 апреля войска Южной группы перешли в контрнаступление и разгромили колчаковцев под Бугурусланом и Белебеем, а в середине мая стала успешно наступать Вторая армия Северной группы.

21 мая В. Трифонов уехал с Урала в Москву получать новое назначение. Его переводили на Южный фронт, где наступал Деникин. Большой опыт работы в армии, год войны на Урале дали В. Трифонову громадный, живой, трагический и в то же время исполненный силы и веры жизненный материал для статьи «Фронт и тыл», которая печаталась в «Правде» в нескольких номерах в июне 1919 года.

Начало статьи было написано в том пафосном, громовом стиле, который выражал дух времени и одинаково годился для литературы, воззваний и митингов на площадях, запруженных толпой.

«Российская Социалистическая Республика находится в состоянии войны со всем буржуазным миром. Плотным кольцом окружили ее границы международные хищники и ждут не дождутся момента, когда можно будет броситься и растерзать молодую Советскую Республику.

Ждут, но не дождутся. Республика ощетинилась сотнями красноармейских штыков, грудью встала ее Красная Армия...»

Но это — только начало, первые три абзаца. А дальше на многих страницах поднимались конкретные вопросы формирования армий, организации тыла, создания запасных полков, отношения к военспецам и добровольцам и т. д. Одной из самых серьезных в статье В. Трифонова была мысль о том, что необходимо развертывать армии на фронте.

«В тылу,— писал он,— не было достаточной пролетарской основы для развертывания новых формирований. Жизнь давно уже выбросила лучшие боевые пролетарские элементы туда, на фронты, в гущу непосредственной сечи, и в тылу остался жиденький слой пролетариев, необходимый для жизни гражданских учреждений... Пока происходило формирование в тылу громоздких дивизий, фронт истекал кровью. Ряды бойцов редели. Выбивались лучшие полки, состоявшие сплошь из коммунистов. Фронт говорил, кричал, просил пополнений. Получался стереотипный ответ: пополнений нет, мобилизованные идут на укомплектование формирующихся дивизий, подождите конца формирования. Фронт ждал. Формировались дивизии бесконечно долго. Месяцами стояли части без дела, ожидая конца формирования. От безделья разлагались и походя занимались контрреволюцией. На фронт попадали не боевые единицы, а в лучшем случае совершенно разложившиеся части, в худшем же — явно контрреволюционные».

В статье прямо говорилось, что виною этому бюрократические, рутинные методы работы тыловых комиссариатов, которые возглавлялись людьми, «может быть, и очень опытными в военном деле, но мало знакомыми с условиями современной революционной гражданской войны». Нет, статья не была направлена против военспецов. Она была направлена против неправильного их использования — в тылу, в разбухшем до невероятных размеров тылу с бесчисленными канцеляриями, комиссиями, отделами и подотделами, которые поглощали работу тысяч военных специалистов. «На фронте же, вследствие недостатка специалистов, царит партизанщина».

В другом месте кратко говорилось об исторических причинах, которые привели к этому чрезмерному увлечению военно-бюрократическим «порядком», установленным по старым образцам.

«В начале революции были попытки создать армию усилиями только коммунистов по совершенно своеобразным методам и способам строительства. Попытка оказалась неудачной. Создавалась не армия, а вольница, очень революционная, верная Советской власти вольница, но совершенно недисциплинированная и неспособная к сколько-нибудь регулярным действиям. Первые столкновения с регулярными войсками на западе обнаружили это с достаточной убедительностью. Товарищи, вероятно, помнят трагические дни наступления немцев на Питер. Дни отрезвления и реакции. Они повернули нас на 180° от полной самобытности и оригинальности к старым, испытанным, рутинным способам строительства. Коммунисты и революционеры убедились, что военная организация, военное строительство, военная жизнь обладают какими-то началами, им совершенно чуждыми, но обязательными для всякого, кто берется за строительство армии. Армию можно заставить преследовать коммунистические цели, но нельзя ее строить по-особенному, по-коммунистически. Коммунизм — символ содружества, любви, братства и всепрощения. На этих принципах армию, которая неизбежно несет с собою смерть и разрушение, конечно, не построишь. Истина самоочевидная, аксиома. Аксиома для тех, кто строил уже армии. Для нас, коммунистов, в октябре требовались еще доказательства. Теперь мы, военные коммунисты, в этом бесповоротно убеждены. Ценою многих жизней и потоками крови достались эти убеждения. Теперь мы знаем азбуку военного дела».

Далее В. Трифонов развивал эту мысль, говоря о добровольцах.

«Почти два года работы по созданию вооруженных сил Советской Республики (имелась в виду и работа по организации Красной гвардии, начатая летом 1917 года.— **Ю. Т.**) позволяют мне сделать следующий вывод.

Части, укомплектованные только добровольцами, в условиях регулярной войны в большинстве случаев никуда не годятся. У них нет выдержки, нет способности к систематической, планомерной, сколько-нибудь длительной работе. Бой ведут порывами. Встретив слабое сопротивление, партизаны-добровольцы могут быстро продвинуться вперед, но дружный отпор врага приводит их в замешательство, и они еще быстрей катятся назад, сбивая все на своем пути, захватывая составы и дебоширя.

Факт добровольческого вступления в Красную Армию и несомненная преданность Советской власти порождают чрезмерное уважение к своим собственным особам и обостренное болезненное самолюбие. К окружающим и особенно к военным специалистам добровольцы относятся свысока, не столько подозревая их в контрреволюционности, сколько не веря в их военные таланты и способности. Единственным критерием, определяющим пригодность к командованию и военному руководству, у них служит добровольчество. Военной обработке добровольцы совершенно не поддаются и к дисциплине относятся как к возвращению «старого режима». Сказанного совершенно достаточно для того, чтобы не только признать добровольческие части непригодными к регулярной войне, но и определить их как элемент, разлагающий регулярную армию.

Повторяю, что это относится к частям, укомплектованным исключительно добровольцами. Картина существенно меняется, когда добровольцы берутся в качестве кадра, на основе которого развертывается воинская часть.

Столкнувшись с элементами, безразличными к Советской власти, приняв их в свою среду, добровольцы очень скоро приходят к выводу, что собственными силами им с мобилизованными не справиться. Искренняя преданность Советской власти заставляет их искать выхода, который позволил бы создать из мобилизованных воинскую часть, способную и желающую защищать интересы рабочих и крестьян. А так как выход напрашивается сам собой, ибо только один выход был, есть и будет для всех армий — военная подготовка и дисциплина, — то среди добровольцев начинается тяга к военным специалистам, тяга к дисциплине. Я знаю полки, развернутые на основе крепкого добровольчества: они взяли у себя совершенно добровольно, без всякого принуждения, жестокую дисциплину, дисциплину николаевских времен. Их дисциплинарный устав предусматривал даже телесные наказания, которые с успехом и довольно широко применялись. Этот казусный случай, извративший, конечно, наше понятие о дисциплине рабоче-крестьянской Красной Армии, находит свое оправдание в обстановке, в которой пришлось оперировать этим полкам. Отрезанные от Советской России, они в течение довольно долгого времени пробивались, окруженные со всех сторон врагами. Нужны были драконовские и героические меры, чтобы части сохранить, не дать им окончательно разло-

житься. Меры были предприняты самими добровольцами, по своему собственному почину, и полки были спасены».

В. Трифонов имел, вероятно, в виду партизанские полки В. К. Блюхера и Н. Д. Каширина, которые совершили беспримерный полутоксячекилометровый переход по степям Казахстана и горам Урала, находясь в окружении контрреволюционных войск, и в сентябре 1918 года соединились на Урале с регулярными частями Красной Армии.

Примером того, как «добровольцы брались в качестве кадра, на основе которого развертывалась воинская часть», является история 40-й Богучарской дивизии. Бывший комиссар этой дивизии И. Я. Врачев живет сейчас в Москве. Он знал отца по Кавказскому фронту. Он рассказал мне интереснейшую историю создания Богучарской дивизии: она была сформирована в 1919 году на Южном фронте, в «гуще непосредственной сечи», и численность ее быстро достигла 13 тысяч человек. Основными кадрами нескольких полков дивизии, и в первую очередь 353-го Богучарского полка, являлись добровольцы, солдаты и крестьяне Богучарского и других южных уездов Воронежской губернии. На смену выбывавшим из строя бойцам поступали новые — их братья, сыновья и отцы. 40-я Богучарская дивизия пользовалась славой одной из лучших дивизий Южного фронта.

Заканчивалась статья В. Трифонова настойчивым повторением мысли о том, что фронту необходимы маршевые пополнения, а не части, целиком сформированные в тылу. Это было назревшее требование фронта. Еще в мае в связи в положением на Юге ЦК дал директиву, где ясно высказывались те же мысли: «ЦК считает важнейшей задачей ближайших двух недель производство мобилизации не менее 20 000 рабочих не для формирования новых частей, а для влития их в лучшие кадры Южного фронта. От успеха этой мобилизации зависит судьба революции...» (Из «Истории гражданской войны», т. 2, стр. 386.)

Статья «Фронт и тыл» печаталась четырьмя подвалами в газете «Правда» в номерах от 5, 8, 15 и 19 июня 1919 года.

Только десять дней пробыл отец в Москве. 2 июня он выехал на Юг, где, не в пример Востоку, положение к лету 1919 года резко ухудшилось. Переформировав

и укрепив Добрармию, Деникин начал наступление, в середине июня приблизился к Царицыну, взял Сарепту. На Дону бушевало контрреволюционное Вешенское, или, как его называли также, Морозовское восстание. Оно вспыхнуло в марте, быстро охватило почти весь Дон. Подавить его в короткие сроки не удалось. Возникла угроза того, что восставшие соединятся с наступающими войсками Деникина. Насколько серьезной была эта угроза, видно из телеграммы и писем Ленина Южфронту в мае 1919 года.

7 июня В. Трифонов приехал в Козлов, где находился штаб Южного фронта. Дороги Юга были забиты, на всех станциях гомонили, орали, дрались, осаждали эшелоны, громоздили узлы, мешки, домашнюю рухлядь тысячные толпы крестьян: это были переселенцы на Дон из Воронежской, Тамбовской, Пензенской губерний. Декрет о переселении на Дон рабочих и крестьян из северных губерний был издан 24 мая, много семей успело переселиться, но еще больше было задержано на дороге из-за наступления Деникина и казачьего восстания. И теперь эти толпы, остановившиеся на полпути, растерянные, измученные и сбитые с толку, не понимали, куда им пробиваться: то ли дальше на Юг, то ли назад, к покинутым домам.

Через неделю после прибытия на Южный фронт В. Трифонов получил назначение — комиссаром в Особый Донской экспедиционный корпус, который формировался в районе Бутурлиновки из потрепанных и разбитых красноказачьих частей, отступивших с Юга. В 1-ю дивизию корпуса входили также отряды добровольцев-богучарцев. Командиром корпуса был назначен Ф. Миронов. 19 июня В. Трифонов вместе с Ф. Мироновым выехали в Бутурлиновку.

Миронов — одна из ярких, колоритнейших, во многом противоречивых фигур нашей истории. Он был судим, приговорен к расстрелу, помилован, принят в партию большевиков, работал в Донском исполкоме, доблестно командовал 2-й Конной армией, награждался орденом Красного Знамени и Почетным революционным оружием, в конце гражданской войны был снова арестован по злостным наветам и убит в тюрьме в апреле 1921 года при обстоятельствах, до сих пор как следует не выясненных. Долгие годы на его имени тяготело клеймо изменника и предателя. Так назван он в книге С. М. Буденного «Пройденный путь», изданной в 1958 году.

Миронов был реабилитирован 15 ноября 1960 года. Первое доброе слово сказал о Миронове в «Неделе» в мае 1961 года, вопреки несправедливой традиции многих лет, журналист В. Гольцев, причем конец очерка В. Гольцева, где сказано, что Миронов пал жертвой необоснованных репрессий, должен был создать у читателей совершенно определенное впечатление, что Миронов погиб в 1937 году, как многие наши военачальники. Миронов, однако, пал жертвой необоснованной репрессии гораздо раньше: в 1921 году.

Меня заинтересовало это имя, так как несколько раз я сталкивался с ним, разбирая отцовский архив. Филипп Кузьмич Миронов, казак станицы Усть-Медведицкой, был человек, безусловно, незаурядный. В годы революции ему было уже под пятьдесят. Он воевал в японскую войну, дослужился до войскового старшины (подполковника) в германскую и вскоре после Октября привел свой 32-й Донской казачий полк с фронта на Дон. В 1918 году Миронов воевал на стороне советской власти против Краснова, командуя 23-й дивизией, в январе 1919 года возглавил Особую группу войск Южного фронта, но затем получил назначение на Запад, в Белорусско-Литовскую армию. Когда вспыхнуло восстание на Дону, весною 1919 года, о Миронове вспомнили, ему поручили формировать Донской казачий корпус. Однако Троцкий не доверял Миронову полностью, вернее, колебался в своем доверии — то доверял, то нет, и этим объяснялась странная волокита с формированием корпуса.

Зимой 1918 года Евгений Трифонов, который был тогда комиссаром «Южной завесы», воевал с Мироновым бок о бок. В своем романе «Каленая тропа» (это, по существу, не роман, а поэтически бурно, несколько вычурно набросанные воспоминания о гражданской войне) Е. Трифонов так характеризует Миронова:

«Сухим костром полыхают боевые действия Миронова на нашем восточном фланге — вспыхивают и прогорают. Там, под Еланью, ведет свои странные операции Миронов, командир Красной казачьей дивизии. Он — бывший донской войсковой старшина, и кочевой романтизм бродит в его угарной крови. Непостижима степная стратегия красного атамана... Непостижима и кажется безумной.

Безумными кажутся и войска Миронова, его конные таборы. То рассеиваются, как дым, ряды мироновцев —

бойцы, закинув пику за плечо и гнусавя заунывную песню, разъезжаются по своим хуторам и станицам, оставляя одинокого начдива со штабом на открытых позициях. То вновь толпы конных наползают по всем балкам к мироновскому дивизионному значку.

Целыми полками перебегают казаки Миронова обратно к неприятелю, к старым своим господам полковникам. И целыми же полками, с обозами и техникой, снова бегут с белого Дона в Советскую мироновскую дивизию. Впрочем, поразительно равнодушен красный начдив Миронов и к тем, и к другим: холодно встречает пополнения, текущие к нему с кадетской стороны, и с пренебрежением принимает весть о бегстве своих полков на кадетскую сторону. Он не хочет знать ни дезертиров, ни перебежчиков, реального мира не замечает товарищ Миронов, поглощенный какой-то неистовой идеей».

Эта поэтическая картина относится к заре действий Миронова как начальника дивизии. Впоследствии 23-я мироновская дивизия успешно громила кадетов, гнала Краснова к Новочеркасску. Но в то время, когда Е. Трифонов писал свою книгу (она вышла в ГИЗе в 1932 году), Миронов считался врагом, предателем, расстрелянным в 1921 году. Однако Е. Трифонов избегает таких формулировок. Наверно, просто не верит им. Он рисует Миронова таким, каким видел его, каким представлялся ему Миронов зимой 1918 года. «Кочевой романтизм», «непостижимая степная стратегия», «поглощенный какой-то неистовой идеей», что угодно, но — не измена, не враг.

Среди бумаг отца я нашел занятный документ: листовку, написанную Мироновым и обращенную к красноармейцам. Называется листовка «Товарищ-красноармеец!», напечатана на оберточной бумаге какой-то конфетной фабрики в Бутурлиновке. Стиль этого сочинения раскрывает человека: не очень грамотного, самоучку, любителя помитинговать, покрасоваться, блеснуть перед народом стихами Некрасова, да и собственными тоже, и «умными» фразами, и при этом человека искреннего, горячего, преданного революции. Не могу не привести несколько обширных цитат из этой листовки. Дело идет о дисциплине, о необходимости ее строжайшим образом укреплять, о борьбе с дезертирством, с невыполнением приказов, мародерством, антисемитской агитацией и т. п.

«...Товарищ-красноармеец! Враг-белогвардеец надвинулся со всех сторон, враг напрягает все силы, враг, пользуясь вышеприведенными нашими недостатками, теснит нас!

И если теперь же не принять решительных мер против этой разнузданности и распущенности в рядах Красной Армии — «земле и воле» грозит тягчайшее испытание.

Таково мое мнение, так думаю я!
Скажи, красноармеец, как думаешь ты?
Нужно ли с этим бороться, и если нужно, то скажи как?!

Если немедленно не станем с этим бороться, если не возьмем себя и друг друга в руки, то снова осуществятся слова князя Воехотского:

Здесь мужику, что вышел за ворота,
Кровавый труд, кровавая борьба:
За крошку хлеба капля пота,
Вот в двух словах его судьба.

Его удел безграмотство, беспутство,
Убожество и чувством, и умом,
Его узда — налоги, труд, рекрутство,
Его утехи — водка с дурманом.

...Я знаю, что значит эксплуатация чужого труда, потому что прошел эту жизненную школу, отдавая молодые силы на службу буржуазии за «насущный кусок хлеба». Я получал 1 руб. в месяц, получал 3 руб. в месяц, получал 8 руб., но за это должен был отдавать от 10 до 12 час. в сутки. Я получал 20 руб. в месяц, но за это от меня требовали работы от 15 до 17 часов в сутки.

Вот почему я не хочу согласиться с князем Воехотским, с судьбой, которую он хочет снова навязать моим детям.

Я знаю, товарищи, что значит кабала, что значит быть в молчании, не имея права голоса даже в то время, как на тебя надевают хомут и когда тебе исполняется 22 года. Вот потому-то я имею право снова поставить тебе, товарищ-красноармеец, следующие вопросы:

1) Прав ли князь Воехотский, что твоя судьба заключается в двух словах: «кровавый труд, кровавая борьба... за крошку хлеба»?

2) Прав ли князь Воехотский, что твой удел «безграмотство, беспутство, убожество и чувством, и умом»?

3) Прав ли этот князь, что на тебя нужна снова узда в виде налогов, труда, рекрутства (солдатчины)?

4) Прав ли этот князь, что ты больше «водки с дур-

маном» никакой утехи не знаешь, не можешь понять и пережить?

Я не верю князю Воехотскому! Народ, совершивший величайшую революцию, народ, сбросивший со своих плеч гнет царя, генерала, помещика, капиталиста, попа и кулака, способен и на дальнейшие подвиги героизма и революционной борьбы.

Но!!!

Вот если ты, гражданин-красноармеец, это «но» перескочишь — ты перешагнешь тогда все!

Надеюсь и убежден, что это письмо товарищи-красноармейцы обсудят в одиночку, обсудят кучками, обсудят взводами и ротами и свои ответы пришлют мне, чтобы я мог судить, как поднять дисциплину в частях и с помощью этой дисциплины совершить такие же подвиги в борьбе с мировой контрреволюцией, какие выпали на мою долю со славною 23-й пехотной дивизией на Южном фронте, в какой действительно была железная дисциплина.

Товарищи-красноармейцы, сознайте, пора уже сознать, что армия без дисциплины быть не может, что победы совершает не человек, а дисциплина. Пора себя взять в руки и научиться меньше рассуждать, а больше делать, ибо этого в данный момент повелительно требует революция. Теперь не время самоволию, за которым идет рабство. Я уже старый человек, но я согласен временно так подчинить себя требованиям дисциплины, чтобы от моего «я» ничего не оставалось в минуты служебного выполнения долга и боевых приказов. Я знаю, что, лишив себя на время воли и сверх-воли, в будущем буду вознагражден за временное самолишение и революционное терпение высшею наградою: действительною свободою, которой уже никто угрожать не будет и которая благословит меня на мирный труд.

Проникнитесь, товарищи-красноармейцы, следующими строками:

Счастлив тот, кто умеет летать,
Не боясь ни тумана, ни бури,
Счастлив тот, кто умеет взирать,
Не боясь блеска ясной лазури.

Счастлив тот, кто, взлетая высоко,
Не боится, что может на землю упасть,
Счастлив тот, кто, увидя врага недалеко,
Не боится, что может в его сети попасть...

...Жду же, товарищи-красноармейцы, ваших честных красных писем и постановлений, как ответа революцион-

ному голосу. И как только получу, так начнем ковать ту «железную дисциплину», о какой все чаще и чаще стали говорить наши красные газеты.

Только с железною дисциплиной мы победим! Только ею!

Спешите же с ответами, мои друзья по оружию и идее! Спешите, пока еще не поздно!

Командир Особого Корпуса
гражданин Ф. Миронов.

13 июня 1919».

Как видим, князь Воехотский из некрасовской «Медвежьей охоты» отлично использован для революционной агитации, да и собственные стихи пришлись кстати.

Формирование корпуса тянулось всю вторую половину июня и первую июля, осложненное многими обстоятельствами; главным тяжелым обстоятельством было то, что Деникин продолжал успешно наступать, взял Белгород, Харьков, Екатеринослав и в начале июля — Царицын. Корпус был значительно ослаблен, и его отвели в тыл. В середине июня в Козлов, где помещался штаб Южного фронта, приехал Троцкий. В. Трифонов находился в это время в Козлове.

Сохранилось письмо В. Трифонова, написанное им своему старому другу А. А. Сольцу вскоре после посещения Козлова Троцким.

«Прочитай мое заявление в ЦК партии и скажи свое мнение: стоит ли его передать Ленину? Если стоит, то устрой так, чтобы оно попало к нему. На Юге творились и творятся величайшие безобразия и преступления, о которых нужно во все горло кричать на площадях, но, к сожалению, пока я это делать не могу. При нравах, которые здесь усвоены, мы никогда войны не кончим, а сами очень быстро скончаемся — от истощения. Южный фронт — это детище Троцкого и является плотью от плоти этого... бездарнейшего организатора. Публике нашей нужно обратить серьезное внимание. Армию создавал не Троцкий, а мы, рядовые армейские работники. Там, где Троцкий пытался работать, там сейчас же начиналась величайшая путаница. Путанику не место в организме, который должен точно и отчетливо работать, а военное дело именно такой организм и есть. Ведь только сказать, что из одного эвакуационного пункта отправлено 32 000 тифозных больных,— страшно становится. В каких невероятных условиях должны жить солдаты, чтобы дать такое количе-

ство тифозных. Воистину солдаты Красной Армии — величайшие герои... Меня хотят втянуть еще в одну авантюру — организацию Казачьей дивизии под командованием авантюриста Миронова. Там, где не хватает организационных талантов, хотят взять хитростью. Безнадежное дело, ибо у них ума так же мало, как и организационных талантов. У меня, друг мой, сейчас такое настроение, что я готов перестрелять всех этих остолопов или себе пустить пулю в лоб. В руках этих идиотов находится судьба величайшей революции — есть от чего сойти с ума. Ну, пока обнимаю.

Валентин».

Письмо написано 3 июля 1919 года. Я привел это случайно сохранившееся письмо для того, чтобы показать, как все было сложно, драматично и накалено до крайности. Люди, которые руководили армиями молодой республики, истекавшей кровью, изнемогали от непосильного напряжения, сталкивались с великим множеством трудностей, и помочь разобраться во всем этом мог только гений Ленина. Ленин был безусловным авторитетом для всех настоящих революционеров. Но Ленин был далеко, в Москве, и посоветоваться с ним не всегда удавалось.

Трифонов, конечно, не перестрелял «всех этих остолопов» и не пустил себе пулю в лоб. Он продолжал делать то, что ему было поручено.

В середине лета 1919 года положение на Юге создалось чрезвычайно опасное. Деникин уже ставил перед своим «белым воинством» задачу захвата Москвы. Новый главком Красной Армии С. С. Каменев, сменивший Вацетиса, разработал по поручению ЦК РКП(б) стратегический план военных действий на Юге. План был одобрен ЦК и лично Лениным.

Важнейшие операции возлагались на ударную группу из Девятой и Десятой армий и Конного корпуса С. Буденного, получившую название Особой группы Южного фронта. Командующим этой группы был назначен переведенный с Восточного фронта В. И. Шорин, в Реввоенсовет вошли С. И. Гусев, И. Т. Смилга и В. А. Трифонов.

Наступательные действия Особой группы сыграли важную роль в борьбе с Деникиным, они, по существу, сорвали его стратегический замысел, что он сам признал впоследствии в своих мемуарах. Правда, успех пришел не сразу, несколько тяжелых недель пришлось пережить войскам Южфронта в августе и сентябре, когда в наши

тылы ворвался конный корпус Мамонтова и захватил Козлов и Тамбов.

Тут очень пригодился бы корпус, который формировал Миронов в Саранске. Вацетис хорошо понимал это, требуя от Реввоенсовета Южного фронта и Главснаба энергичного содействия Миронову в выполнении возложенной на него задачи. Но дело с корпусом принимало затяжной оборот. Комплектование людьми, снабжение оружием и снаряжением срывалось, во-первых, из-за катастрофического недостатка всего необходимого. Во-вторых же, все более назревал конфликт между Мироновым и некоторыми ответственными работниками корпуса, причастными к принесшей много вреда политике «расказачиванья» и необдуманно, без разбору применявшими репрессии против казачества. Негодность этих работников понимал казачий отдел ВЦИКа и предлагал заменить их людьми с более широким политическим кругозором, но замена почему-то затянулась, может быть, из-за нехватки подходящих людей.

А для Миронова, сына Дона, не было больнее вопроса, чем это самое «расказачиванье», компрометировавшее идею пролетарской диктатуры и подогревавшее колебания казачества. Никаким политиком он не был и с горячей прямолинейностью, иногда с перехлестами, дававшими поводы для сомнений в его преданности Советам, вставал на защиту казаков. Как Чапаеву, ему нужен был Фурманов — Фурманова при нем не оказалось. Зато обильно шли доносы в Реввоенсовет фронта и казачий отдел ВЦИКа: Миронов-де опасен антисоветским нутром — новый атаман Григорьев, и вторая григорьевщина не заставит себя ждать, как только атаман выпестует корпус. Корпус еще не был сформирован, а втайне от Миронова шли в верхи ходатайства о расформировании. В этом, надо полагать, и кроется корень высказанного в письме Сольцу взгляда В. Трифонова (да и одного ли Трифонова?) на «авантюризм» Миронова. А Миронов рвался на фронт: деникинцы по-своему расправлялись с семьями его казаков, им нужно было отплатить как можно скорее. Вместо фронта — прозябание в тылу, клевета, улавливаемая чутким ухом, телеграммы и письма, похожие на вопль: «Вы мне не верите, скажите мне прямо, я уйду, не буду мешать, но не держите меня в заточении неизвестности. Мне остается только застрелиться», «Прошу открытой политики со мною и скорей-

шего заканчивания формирования корпуса», «Я задыхаюсь, меня ждет фронт. Не могу видеть гибель революции». И вот в конце августа в штаб Девятой армии приходит телеграмма Миронова: «Видя гибель революции и открытый саботаж с формированием корпуса, не могу дальше находиться в бездействии. Выступаю с имеющимися у меня силами на жестокую борьбу с Деникиным и буржуазией».

С четырьмя тысячами пехоты, из которых только две тысячи имели винтовки, и одной тысячью кавалерии Миронов двинулся на фронт. Но этот самовольный шаг, являвшийся одновременно нарушением дисциплины и жестом отчаянья, был теперь воспринят как начало той самой «григорьевщины», о вероятности которой уже были «сигналы». В первый миг, когда стало известно о выступлении Миронова, было полное впечатление мятежа. Об этом свидетельствует и запись в дневнике Павла, сделанная 24 августа в Вольске. (В. Трифонов находился в это время в Вольске, в штабе Особой группы Южного фронта.) Павел сделал запись шифром, ибо известие было ошеломляющим и тревожным, и многие, наверное, еще о нем не знали. «Корпус Мамонтова из Тамбова отправился к Козлову и взял его. Миронов, который формировал в Саранске казачью дивизию, поднял восстание». Таково было впечатление. Так думали тогда — в августе 1919 года.

Что произошло дальше, известно из мемуаров С. М. Буденного, разоружившего и арестовавшего Миронова. Но при том объяснении, которое дает автор поведению Миронова, кажется странным, что Миронов, уводя корпус к Деникину, как прямо говорится в «Пройденном пути», дал себя разоружить и не сделал даже попытки применить ни одной винтовки, ни одного пулемета и ни одного орудия, которые, хоть и в малом числе, он имел. Правда, корпус Миронова к моменту разоружения значительно поредел. В дневнике Павла есть запись от 14 сентября: «Миронов с 500 всадниками пойман». Так или иначе, Миронов не оказал никакого сопротивления Буденному, и это потому, что шел он воевать против Деникина, а не против советских войск. Миронов был отправлен в Балашов, где его судили военным судом. Приговорили к расстрелу. Всю ночь Миронов вместе со своими командирами, тоже приговоренными к расстрелу, пел революционные песни, а утром их помиловали, затем расформировали по разным частям.

Дальнейшая судьба Миронова так же фантастична. Осенью 1919 года он приехал в Москву, побывал у Ленина и Дзержинского (кстати, благодаря вмешательству Ленина Миронов был помилован в Балашове). В начале 1920 года Миронова приняли в партию и вскоре направили в Ростов заведующим земельным отделом Ростовского исполкома. (Из дневника Павла известно, что Миронов ехал из Москвы в одном поезде с В. Трифоновым, который возвращался в Ростов с Девятого съезда партии, где был делегатом. Это было 4 апреля 1920 года). В сентябре 1920 года вновь засверкала звезда Миронова: он назначен командармом Второй Конной. В боях под Александровкой и Никополем он громит конницу Врангеля, гонит беляков до Перекопа. Он получает благодарность от Реввоенсовета республики, его награждают орденом Красного Знамени и Почетным революционным оружием. И затем — клевета, расстрел, клеймо предателя на четыре десятилетия.

Миронов, конечно, сложная фигура. Все противоречия и сложности этой фигуры являются как бы отражением тех противоречий и сложностей, какие таил в себе «казачий вопрос», вопрос об отношении к казачеству — один из самых больных вопросов революции.

В связи с этим мне хочется вернуться назад, к письму Трифонова Сольцу.

Вначале это письмо просто поразило меня своим тоном: гневным, резким, почти трагическим.

Мы так привыкли, изучая историю в институтах (я учился, когда Сталин еще был жив), к тому, что наши армии двигались от победы к победе, а там, где возникали затруднения, появлялся Сталин — «партия посылала его на самые опасные участки» — и немедленно наводил порядок. И вдруг — какие-то безобразия и преступления, «о которых надо кричать на площадях». О них Трифонов пишет Сольцу, о них сообщает в своем заявлении в ЦК и просит Сольца передать его Ленину. О чем речь? О штабных безобразиях и о путанице, которую создавал Троцкий в армиях? Об этом существует много свидетельств. Есть, например, письмо Орджоникидзе Ленину, написанное в том же 1919 году и тоже с Южного фронта, где говорится о положении в штабах фронта: «Что-то невероятное, что-то граничащее с предательством... Где же порядки, дисциплина и регулярная армия

Троцкого?! Как же он допустил дело до такого развала? Это прямо непостижимо...»

Но мне хотелось разыскать заявление Трифонова в ЦК, чтобы понять точно и определенно, что именно возмущало Трифонова. Одно дело — писать письмо старому другу, иное — заявление в ЦК. Там должен быть иной тон, должны быть факты, конкретность, предложения. Мне удалось разыскать в архиве то, что я искал. Это оказалось не заявление, а подробный доклад в Оргбюро ЦК, и действительно в нем были факты, конкретность, предложения. Но тон был тот же, что в письме к Сольцу: гневный и резкий. Речь в докладе идет не о штабных безобразиях, а о политике Донского бюро по отношению к казачеству и о причинах Вешенского восстания. Вот этот доклад с большими сокращениями:

«В Организационное бюро ЦК РКП(б).

До образования Донревкома гражданская жизнь в очищенных от неприятеля местностях Донской области налаживалась гражданским управлением Южфронта...

Объединение в одних руках идейного партийного руководства и практической работы по созданию Сов. власти, может быть, и могло бы принести известную пользу, но при других нормальных условиях и нормально направленной политике. В Донском же случае такое объединение принесло колоссальный вред РСФСР. Вместо контролирования одного учреждения другим, вместо выправления линии поведения согласованием опыта и здравого смысла, получилась единая работа, направленная единой волей, но волей, ложно понимавшей и обстановку, при которой пришлось работать, и задачи, ставшие перед нею...

Донбюро исходило из двух соображений:

1) очевидная контрреволюционность казачества вообще и

2) победоносное шествие и мощь наших армий.

Казаков, явных контрреволюционеров, необходимо уничтожить, тем более что Красная Армия в состоянии это проделать,— такова была главная мысль Донбюро.

Огульное обвинение казаков в контрреволюционности является, конечно, плодом незрелого размышления. Бытие определяет сознание — этой истиной мы всегда руководствовались. Бытие же казаков — доброй половины Донской области — всех северных и восточных округов — отнюдь не таково, чтобы неизбежно толкать их в стан контрреволюции. Земельный казачий надел этих

округов равен в среднем 2 — 4 десятинам. Казачьи привилегии по организации торговых и промышленных предприятий не имеют совершенно никакого значения для указанных округов, т. к. торговля и промышленность здесь развиты очень незначительно. Условия существования ничуть не лучше, чем в смежных губерниях — Воронежской, Тамбовской, Саратовской. Кроме того, в Донской области налицо имеется характерный и очень благоприятный для Советской России факт совершенно несправедливого распределения материальных благ между южными и северными округами. Казачий земельный надел южных округов равен в среднем 25—20 десятинам, в северо-восточных же, как я говорил, 2—4 десятинам. Казачьи права на беспошлинную торговлю, на организацию промышленных предприятий и на недра земли имеют очень крупное значение для Черкасского и других южных торгово-промышленных округов, и эти права совершенно бесполезны для казаков севера. Право на рыбную ловлю ценно опять-таки для станиц, расположенных по низовью Дона и берегу Азовского моря, и не имеет совершенно никакого значения для Медведицкого, Хоперского и других северных округов. Словом, все те казачьи преимущества и привилегии, которые создали из казаков верный оплот для царского самодержавия, сосредоточены исключительно на юге области, и сосредоточены более или менее искусственно. Южные станицы, как, например, Новочеркасская, все время стояли во главе управления Донобласти и совершенно сознательно заботились главным образом о благополучии южных станиц в ущерб северным. Земля из войскового резервного надела нарезалась почти исключительно для станиц юга, чем и объясняется такая поразительная разница между земельными наделами севера и юга...

Донбюро до сих пор считает, что нецелесообразно заменять советское строительство репрессиями, а здравый смысл и марксистское рассуждение — решениями с кондачка...

Ошибки, граничившие с преступлением, совершенные нами на Дону, сильно спутали карты и осложнили положение. Нужно много усилий и много такта, чтобы выправить положение. Нужно прежде всего убрать из донской работы всех скомпрометированных предыдущей работой, старой «линией поведения» товарищей. Нужно совершенно новыми людьми начать новое строительство, только тогда можно иметь надежду на успех.

В основу нового строительства нужно положить следующий основной принцип: нужно твердо и определенно отказаться от политики репрессий по отношению к казакам вообще. Это не должно помешать, однако, строгому беспощадному преследованию в судебном порядке всех контрреволюционеров.

Нужно отказаться от мысли вселять в Донскую область немедленно, после ее освобождения, крестьян северных губерний. Такое переселение практически трудно осуществимо, и политически оно вредно и, конечно, всегда будет служить поводом к восстанию.

В течение первых месяцев существования Сов. власти в Донской области можно и нужно ограничиться переселением казаков северных округов на юг — уравнением казачьих паев и наделением землей крестьян, уже живущих в донских станицах. Переселение казаков из одних округов в другие ничего необычайного для Дон. области не представляет, т. к. такая мера практиковалась и раньше в целях уравнения наделов. Она прекратилась лет 30 тому назад, когда господствующие южные станицы решили не давать больше земли северу. Наделение же крестьян, живущих на Дону, землею так же пройдет безболезненно, т. к. об этом еще при самодержавии велись разговоры и больших возражений не встречали.

Пересадив северян на юг, мы тем самым привлечем на нашу сторону и тех, кого переселяют, и те станицы, откуда переселенцы будут взяты, т. к. их земельный пай соответственно увеличится. Создав т. о. определенный кадр «советских казаков», можно будет подумать и относительно дальнейшего «расказачивания» области. К этому вопросу, однако, нужно подходить с полной осторожностью и большим вниманием. Не лампасы и слова «казак» и «станица» сделали казака казаком, а его бытие. И нужно обратить сугубое внимание, нужно умелой пропагандой вскрыть все темные стороны былого казачества (их очень много) и практикой советского строительства показать светлые стороны новой жизни...

Член РКП(б) *В. Трифонов*

10/VI
г. Козлов».

Доклад написан 10 июня. На следующий день, 11 июня, судя по дневнику П. Лурье, в Козлов приехал Троцкий. Наверняка Трифонов разговаривал с ним по вопросам,

затронутым в докладе, и вряд ли нашел поддержку. Репрессии, вызвавшие восстание, проводились с благословения Троцкого. Этим новым спором, новым резким несогласием с Троцким, объясняется, видимо, тот враждебный отзыв о нем, который содержится в письме Сольцу, написанном две недели спустя.

Сохранилась листовка, подписанная членом Реввоенсовета Республики В. Трифоновым «К донскому трудовому казачеству!». В ней, между прочим, говорится:

«...Действия отдельных негодяев, примазавшихся к Советской власти и творивших преступления и беззакония на Дону, на которые ссылаются белогвардейские захребетники, со всей строгостью осуждены центральной Советской властью. Часть этих негодяев уже расстреляна, часть же ждет своей участи и будет расстреляна, как только виновность их будет установлена. Советская власть не может и не будет потакать врагам народа, негодяям, злоупотреблявшим своею властью,— их ждет беспощадная кара...

Вам, трудовые Донские Казаки, при посредстве Советского правительства протягивают свою руку помощи и дружественной поддержки многомиллионные трудовые массы Советской России. От вас зависит, взять ли эту дружескую руку для согласного и совместного строительства царства труда на земле, или же вы захотите продолжать подлое дело, начатое богачами-генералами, и на предложенную помощь ответите предательским ударом из-за угла.

В первом случае вас ждет мирное и спокойное развитие, согласный труд в семье трудового народа, во втором же — вам предстоит борьба, жестокая последняя борьба на жизнь и на смерть, борьба до уничтожения. Крепко подумайте, станичники, и решайте, с кем идти — с трудовым народом против кучки богачей-генералов или с богачами-генералами против всего трудового народа. Подумайте и решите, а мы по делам вашим узнаем ваше решение».

Обращение к казакам, отпечатанное в виде листовки, помечено датой: 4 июля 1919 года. История Вешенского восстания описана в «Тихом Доне». И надо отдать должное мужеству Шолохова, который сумел в трудные времена культа личности Сталина, когда искажались и история, и назначение литературы, изобразить картину восстания достаточно правдиво. В нескольких местах устами разных героев сказано, почему восстали казаки.

Так, например, бородатый старовер в разговоре со Штокманом говорит: «Потеснили вы казаков, надурили, а то бы вашей власти и износу не было. Дурастного народу у вас много, через это и восстание получилось».— «Как надурили? То есть, по-твоему, глупостей наделали? Так? Каких же?» — «Сам небось знаешь... Расстреливали людей. Нынче одного, завтра, глядишь, другого... Кому ж антирес своей очереди ждать?» Штокман же в другом месте рассуждает о необходимости расстрелов, причем именно «с кондачка и наскока», как рассуждало и действовало тогда Донское бюро.

Еще более определенно написал Шолохов в письме к Горькому в 1931 году. (Недавно это письмо опубликовано в томе «Литературного наследства», где помещена неизданная переписка Горького с советскими писателями.) «Некоторые «ортодоксальные вожди» РАППа,— говорится в письме,— читавшие 6-ю часть, обвиняли меня в том, что я будто бы оправдываю восстание, приводя факты ущемления казаков Верхнего Дона. Так ли это? Не сгущая красок, я нарисовал суровую действительность, предшествовавшую восстанию; причем сознательно упустил такие факты, служившие непосредственной причиной восстания, как бессудный расстрел в Мигулинской станице 62 казаков-стариков, или расстрелы в станицах Казанской и Шумилинской, где количество расстрелянных казаков в течение 6 дней достигло солидной цифры 400 с лишком человек».

Шолохов решительно утверждает, что восстание возникло «в результате перегибов по отношению к казаку-середняку». Эти же мысли почти с такими же примерами содержатся в докладе В. Трифонова, написанном в июне 1919 года.

В конце сентября 1919 года Особая группа Южного фронта была реорганизована в Юго-Восточный фронт, в Реввоенсовет которого вошел В. Трифонов. Командующим фронтом был назначен В. И. Шорин. В состав войск нового фронта были включены Девятая и Десятая армии, Сводный конный корпус Б. М. Думенко; из Туркестанского фронта была передана Одиннадцатая армия. Однако фронт был ослаблен передачей в Восьмую армию конного корпуса С. М. Буденного, направленного ранее на ликвидацию прорыва генерала Мамонтова. Фронт не имел резервов.

Юго-Восточный фронт образовался в момент край-

ней опасности: за неделю до его создания деникинцы вступили в Курск, через девять дней захватили Воронеж и, угрожая Орлу и Туле, нацеливались на Москву.

Сложившуюся грозную обстановку обсуждал в те дни Пленум ЦК РКП(б). Было решено усилить войска, действовавшие против Деникина. Начались массовые партийные и комсомольские мобилизации, на фронты шли выпускники военных школ и курсов. Юго-Восточный пополнился тремя дивизиями и несколькими бригадами. Реввоенсовет фронта произвел в прилегавших к фронту уездах мобилизацию граждан от 17 до 37 лет.

Временно перейдя к обороне, фронт все же действовал активно и сковал крупные силы Кавказской армии Врангеля и значительную часть Донской армии белых и, главное, не допустил соединения Деникина с Колчаком. Военный историк К. В. Агуреев в книге «Разгром белогвардейских войск Деникина» (М., 1961) писал об этом периоде: несмотря на все трудности, Реввоенсоветы Южного и Юго-Восточного фронтов сумели блестяще завершить оборонительные действия, остановив наступавшие армии генерала Деникина...»

В войсках Юго-Восточного фронта действовали такие выдающиеся командиры, как В. М. Азин, М. И. Василенко, Г. Д. Гай (помню, как берегли в нашей семье белую папаху, подаренную Гаем отцу), П. Е. Дыбенко, Д. П. Жлоба, Е. И. Ковтюх, А. И. Тодорский, И. П. Уборевич. На том же фронте в Реввоенсовете Одиннадцатой армии находился С. М. Киров.

В октябре началось общее успешное наступление войск Южного и Юго-Восточного фронтов. Войска Юго-Восточного изгнали белоказаков из русских губерний, освободили значительную часть Донской области и овладели Царицыном и Новочеркасском.

После взятия Ростова и выхода Красной Армии к нижнему Дону произошла новая реорганизация фронтов на Юге: 10 января 1930 года на базе Южного возник Юго-Западный фронт, а Юго-Восточный 15 января был преобразован в Кавказский фронт и усилен включением в его состав Восьмой армии и Первой Конной. Вначале командующим Кавказским фронтом был назначен В. И. Шорин, а 31 января его сменил на этом посту М. Н. Тухачевский. Членами Реввоенсовета фронта были Г. К. Орджоникидзе, В. А. Трифонов, С. И. Гусев и И. Т. Смилга.

Новый фронт возник в сложных условиях. После за-

нятия Новочеркасска и Ростова наступательный порыв войск Красной Армии стал угасать. Люди устали, регулярное снабжение войск нарушилось, тылы армий, корпусов и дивизий отстали на десятки и сотни километров, связь армий со штабом фронта была плохая. Даже прославившаяся рядом блестящих побед Первая Конная армия не смогла не только продолжать преследование панически отступавшего из Ростова противника, но и не сумела закрепиться на левом берегу Дона.

Этой передышкой воспользовались деникинцы. Они спешно начали приводить в чувство свои, изрядно поколоченные части, сгруппировали их, окопались и создали прочную оборону на рубежах Дона и Маныча.

Войска Кавказского фронта много раз пытались пробить эту оборону, овладеть Батайским плацдармом, но это им долго не удавалось. 17—21 января 1920 года предпринимались наиболее крупные наступательные операции силами двух армий — Первой Конной и Восьмой, но и они окончились неудачей. Местность благоприятствовала белым — крутые берега рек и болота — и была крайне неудобна для наших наступавших войск, особенно для частей Конной армии. Там полегло очень много людей. В момент занятия Ростова наступила оттепель, тонкий лед на Дону и Маныче не выдерживал не только кавалериста, но и пехотинца. В середине января вновь вернулись морозы, и войска Кавказского фронта, воспользовавшись этим, форсировали водные рубежи, но закрепиться на левых берегах Дона и Маныча не смогли. В конце января опять стало тепло, а в феврале морозы ударили очень сильно. Надо было торопиться, ранняя южная весна была близка. Реввоенсовет фронта готовился к генеральному наступлению.

Началось оно в середине февраля на огромном пространстве Кавказского фронта. Конечная цель: полный разгром белой армии Деникина и освобождение народов Северного Кавказа. Никогда еще в ходе гражданской войны не сосредоточивались силы такой мощной концентрации, какие были собраны на донских рубежах для нанесения решающего удара Деникину. Оборона белых затрещала, войска Кавказского фронта усиливали нажим. Пытаясь помешать успешно начатому наступлению, Деникин предпринял ряд атак против Восьмой и правого фланга Девятой армии. Корпус генерала Гусельщикова пробил фронт западнее Ростова, занял Хопры, Гниловскую и ворвался в Темерник. Почти двое суток

шел яростный бой за Ростов, и все же войска Восьмой армии были вынуждены оставить город. Момент был грозный. Ленин в телеграмме Реввоенсовету Юго-Западного фронта требовал скорейшей переброски двух дивизий на помощь Кавказскому фронту. Деникин же полагал, что генеральное наступление советских войск сорвано или, во всяком случае, приостановлено.

Однако Реввоенсовет Кавказского фронта, возглавляемый молодым командующим и большевиками-ленинцами, имевшими опыт не столько войны, сколько революции, приняли энергичное и мужественное решение: несмотря на временную потерю Ростова, вести наступление дальше. И это принесло победу. Ростов был отбит на второй день, а наступающие войска протаранили наконец-то оборону белых на Дону и Маныче и стремительно двинулись к Черному морю. В течение марта были освобождены Екатеринодар и Новороссийск. 2 апреля 1920 года Орджоникидзе докладывал Ленину об освобождении от белых всего Северного Кавказа, Кубани, Ставрополья, Черноморья, Терской и Дагестанской областей.

Войска Кавказского фронта завершили разгром белой армии Деникина. Лишь «Добровольческому корпусу» и нескольким частям Донской армии под прикрытием военных судов Антанты удалось эвакуироваться в Крым. Незначительные остатки белогвардейских войск спаслись бегством в Турцию и на Балканы.

Штаб Кавказского фронта в момент его образования находился в Саратове, во время подготовки наступления прибыл в Миллерово и в ходе наступления обосновался в Ростове. Так вернулся отец в город своей юности, где когда-то давно баррикады Темерника определили его жизнь,— было ему в ту давность шестнадцать лет, и казалось, наверное, что революция победит очень скоро, самодержавие рухнет и наступит царство свободы. С тех пор прошло еще шестнадцать лет. Революция победила, царь был расстрелян в Екатеринбурге, все в стране переменилось, все бурлило, все разделилось на два люто враждующих лагеря, все напряглось до отчаянных последних пределов, а до царства свободы было еще далеко.

За него предстояло еще бороться долго и трудно, может быть — всю жизнь.

В марте 1920 года В. Трифонов выехал в Москву на Девятый съезд партии как делегат от Кавказского фронта. Деникин и Юденич были разгромлены. Колчака незадолго перед открытием съезда расстреляли в Иркут-

ске, освобожденном советскими войсками. Перед Советской республикой встали неотложные хозяйственные задачи, о которых Ленин говорил на съезде. Среди многих решений, принятых на съезде, было также решение создать так называемые «трудовые армии»: использовать воинские части для борьбы с разрухой, для восстановления дорог, шахт, промыслов, рудников, всего безграничного хозяйства, пришедшего в упадок. Создание трудовых армий началось практически еще до Девятого съезда: в январе 1920 года Совет обороны издал постановление о преобразовании Третьей армии, входившей в состав Восточного фронта, в Первую революционную армию труда. Позднее, на Кавказском фронте, Восьмая армия была преобразована в Кавказскую армию труда, действовавшую в районе Ставрополья, Кубани, Терской области и Дагестана. В ее главные задачи входила добыча необходимейших для жизни страны нефти и хлеба, а также восстановление разрушенного войной железнодорожного транспорта на Северном Кавказе.

Деятельность Красной Армии на хозяйственном поприще отражена в нашей литературе скупо, и мне хочется рассказать хотя бы кратко о работе Кавказской трудовой армии. Командующим этой армией был назначен И. В. Косиор, его помощниками: по политической части И. Я. Врачев, по административно-хозяйственной А. А. Медведев. В сборнике, изданном Политотделом Кавказской армии труда в сентябре 1920 года («На фронте крови и труда. Два года борьбы 8-й, ныне Кавказской армии труда»), есть немало яркого, удивительного и забытого, что забывать не следует.

Трудармейцы очистили от хлама десятки железнодорожных станций, восстановили и заново построили сотни мостов, отремонтировали железнодорожную колею протяженностью до 1000 верст. Чермоевский фонтан на Грозненских нефтяных промыслах, подожженный белогвардейцами, горел 730 суток. Его потушили трудармейцы, при этом особо отличились трудармейцы-китайцы из 10-го Восточно-интернационального батальона Пау Ти-сана.

К сентябрю 1920 года нефть добывалась уже из 112 скважин. Трудовая армия восстановила нефтепровод Грозный — Петровск-порт и построила два новых: Грозный — Царицын и Майкоп — Туапсе. Заготавливали лес, были восстановлены Каспийские рыбные промыслы, особые продовольственные комитеты заготовляли продовольствие не только для нужд армии, но и для снабжения

Москвы и Питера. Начали понемногу оживать, тоже с помощью трудармейцев, и знаменитые кавказские курорты, но по ночам еще была стрельба, в горах бродили банды, то там то здесь вспыхивали кулацкие мятежи.

Мир пока не наступил. В Крыму окопались остатки деникинских войск, командование над которыми принял Врангель. На западе еще весной встала угроза войны с Польшей. В апреле 1920 года белополяки, поддержанные Антантой, развязали войну. На Западный фронт стали срочно перебрасываться войска с Кавказского. 19 апреля проходила через Ростов на запад Первая Конная армия и в ее составе — 9-я кавалерийская дивизия, которой командовал Евгений Трифонов. Братья встретились в родном городе, но ненадолго, кавдивизия спешила на фронт.

В течение 1920 года и до весны 1921-го В. Трифонов оставался членом РВС Кавказского фронта. После Тухачевского, который командовал фронтом недолго, около трех месяцев, а затем был назначен на Западный фронт, командующим Кавказским фронтом стал В. М. Гиттис, из той же плеяды военспецов старой русской армии, что и А. И. Егоров, С. С. Каменев, В. И. Шорин. Войска Кавказского фронта, занимавшего громадную территорию, выполняли в течение двадцатого и двадцать первого годов множество самых разных задач: вместе с войсками Южного фронта ликвидировали Врангеля, подавляли контрреволюционные восстания на Кубани и на Северном Кавказе, устанавливали советскую власть в Закавказье и, наконец, снабжали Россию, Москву и Питер хлебом и нефтью.

В июле 1920 года в Реввоенсовет Кавказского фронта явился уже известный отцу А. В. Мокроусов. Почти два года назад холодной, гнусной ночью — лучше не вспоминать! — судьба свела их в вагоне эшелона, уходившего из Ростова под ударами немцев. Мокроусов все просил тогда передать привет Чичерину. На этот раз он тоже пришел с просьбой: дать ему катер. Он предъявил отношение Реввоенсовета Юго-Западного фронта. Катер был нужен ему затем, чтобы с небольшой группой коммунистов переправиться в Крым и организовать там, в тылу Врангеля, повстанческую армию. Мокроусов и был назначен командующим этой армией.

Предприятие выглядело явно фантастически: море контролировали английские и врангелевские корабли, крымские берега охранялись белогвардейцами. Катер оказался бы совершенно беззащитным при встрече с лю-

бой вражеской шхуной. В своей книге «В горах Крыма», выпущенной в Симферополе в 1940 году, Мокроусов пишет: «Трифонов отнесся к поездке, как к мальчишеской выходке, и категорически заявил, что катера мне не даст, так как жалеет и катер, и, главное, меня и моих товарищей». Насколько отчаянным и заведомо, казалось, обреченным на неудачу был замысел Мокроусова, теперь видно из воспоминаний самого Мокроусова и отправившегося с ним матроса И. Д. Папанина, и имевшего отношение к снаряжению этой экспедиции Всеволода Вишневского. Но Мокроусов был из тех людей, которым легче было погибнуть, чем отказаться от вскружившей голову идеи. В конце концов он убедил-таки Трифонова — не в целесообразности экспедиции, а в том, что не отстанет, пока не получит катер. И получил. Катер был ветхий, дырявый, не мог дать больше 8 узлов. «На таком катере можно ходить по Кубани или в порту, но выйти в море было крайне рискованно. Идти на нем в Крым не представлялось возможности...» — признавался Мокроусов. Но лучших катеров не было ни в одном из портов на Кавказском побережье.

Мокроусов, Папанин и их спутники едва не погибли на переходе из Анапы в Капсихор. Дальнейшее известно: созданная Мокроусовым в крымских горах немногочисленная партизанская армия потрясала тылы Врангеля.

Орджоникидзе и Трифонов были бессменными членами РВС Кавфронта, вместе с ними работали в разные времена С. И. Гусев, С. Д. Марков, И. Т. Смилга. В отцовском архиве документов периода Кавказского фронта оказалось немного. Сохранился блокнот с копиями телеграмм, отправленных в конце 1920 года. То, что этот растрепанный старый блокнот уцелел, чистая случайность, и телеграммы в нем случайные. Отец не собирался их беречь. Это был просто бумажный хлам, завалявшийся в сундуке.

Но сейчас и эти случайные телеграммы интересны. В них видно, как переломилось время. Вот, например, телеграмма от 11 декабря 1920 года, направленная В. Трифоновым председателю Дагестанского трибунала.

> «Чрез. комиссия города Петровска приговорила двух инженеров — Шатилова и Серенко — к высшей мере наказания за старые дела. Инженеры эти очень нужны как хорошие специалисты нефтяного цеха и вырывать их из работы теперь совсем не резонно. Прошу этот вопрос рассмотреть с этой

точки зрения и постараться сделать так, чтобы они вновь вернулись на свою работу, хотя бы она и носила официально принудительный характер, как мера наказания».

И рядом другая телеграмма:

«17 декабря 1920
Екатеринодар Командарму IX Левандовскому.

20—22 декабря прибудет Новороссийск итальянский пароход «Анкона». Необходимо его немедленно разгрузить. Руководить разгрузкой будет представитель Внешторга Боганов или Федоров. Окажите содействие рабочей силой. Малейшая задержка парохода нарушает соглашение

член Реввоенсовета фронта *В. Трифонов*».

Да, в конце двадцатого Реввоенсовет Кавказского фронта уже мог тревожиться по поводу торговой сделки с Италией. Но до этих забот надо было прожить тяжелейшие месяцы лета и осени, месяцы борьбы с врангелевскими бандами, с армией генерала Фостикова, орудовавшей на Кубани в июле, и с десантом полковника Назарова, высадившимся в это же время, и с еще более крупными десантами генералов Улагая, Харламова и Черепова. Насколько ожесточенной была борьба с контрреволюцией в летние месяцы 1920 года, видно из приказа войскам Кавказского фронта от 29 июля 1920 года. Этот приказ я нашел в Центральном архиве Советской Армии, в фонде Кавказского фронта. Вообще, надо сказать, я с большой радостью обнаружил в этом архиве, в материалах Кавказского фронта телеграммы, записи разговоров по прямому проводу, отчеты, записки, резолюции, связанные с именем В. Трифонова. Я боялся, что многое уничтожено после тридцать седьмого года.

Итак, в приказе по войскам Кавказского фронта от 29 июля 1920 года, между прочим, говорилось:

«...Несмотря на тягчайшие преступления, совершенные казаками против Советской России за два года борьбы в рядах белых армий, рядовое казачество было с честью и миром распущено по домам к мирному и полезному труду. Распущено оно было потому, что огромная масса казаков не знала, с кем и за что она воюет, она была вовлечена в борьбу обманом, ложью и клеветой. Теперь, после двух лет борьбы, не может быть места обману, теперь всякий поднявший ору-

жие против Советской власти, знает, что он поднимает его против рабочих и крестьян в защиту помещиков и генералов, и будет рассматриваться как сознательный, закоренелый и неисправимый враг трудящихся и беспощадно уничтожаться, а те станицы, хутора и населенные пункты, которые оказывают содействие или дают приют изменникам и предателям делу трудящихся, будут считаться гнездами помещичьей контрреволюции и беспощадно разоряться. Население казачьих областей должно знать и твердо помнить, что все оно несет ответственность за те преступления против Советской власти, которые совершаются на ее территории, и само оно, в своих собственных интересах, должно немедленно и решительными мерами пресекать возникающие беспорядки и волнения и арестовывать преступников — агентов контрреволюции.

РВС Кавказского фронта приказывает всем РВС армий, областным и губернским комиссарам принять к неуклонному исполнению следующее:

1) Всех бандитов, захваченных с оружием в руках, немедленно расстреливать на месте.

2) Обязать население сдать к 15 августа все имеющееся у него оружие. Если после указанного срока будет найдено оружие без надлежащего на то разрешения, все имущество виновных немедленно конфисковывать и передавать в отдел социального обеспечения, а самих виновников предавать суду и судить по законам военного времени, как за тягчайшее преступление перед Советской властью.

3) Обязать население оказывать всемерное содействие местным властям в поимке преступников и ликвидации контрреволюционных банд. Лица, ушедшие с бандитами, а также уличенные в укрывательстве бандитов и содействии бандитам, подлежат высшей мере наказания по законам военного времени, а их имущество — конфискации; конфискованное имущество передавать в отделы соц. обеспечения для раздачи беднейшему населению станиц и хуторов.

4) Станицы, хутора и населенные пункты, принимающие активное участие в восстаниях против Советской власти, должны приводиться в повиновение самыми решительными и беспощадными мерами, вплоть до полного их разорения и уничтожения. Никакие поблажки и колебания здесь не допустимы.

5) Органы Советской власти, проявившие разгильдяйство, растерянность и нерешительность в проведении

указанных мер, надлежат высшей мере наказания по законам военного времени.

Приказ ввести в действие по телеграфу.

Реввоенсовет Кавказского фронта

В. Трифонов,
В. Гиттис».

Этот суровый документ, столь отличный от доклада В. Трифонова в Оргбюро ЦК, написанного год назад, говорит не о том, что изменилась точка зрения, а о том, что изменилось время. Поистине, те, кто теперь подняли оружие против советской власти, были не заблуждающимися, а отъявленными врагами. Пощады и снисхождения по отношению к ним в этот миг истории, когда, казалось, к концу подошли и борьба и силы, быть не могло.

И все же советская власть находила в себе мужество для пощады и снисхождения, вернее — для праведного суда. Я просмотрел сотни страниц документов Ревтрибунала Кавказского фронта за лето и осень 1920 года. Бандиты и укрыватели бандитов, спекулянты, растратчики, вымогатели, дезертиры, хранители оружия, мошенники — все отвечали по законам военного времени, все приговаривались к высшей мере. Приговоры областных и армейских трибуналов сообщались в Ростов, в Ревтрибунал фронта, для утверждения. В. Трифонов, как член Реввоенсовета фронта, руководил и Ревтрибуналом. Он почти постоянно находился в Ростове. Я нашел огромное количество телеграмм с мест и записей разговоров по прямому проводу с резолюцией В. Трифонова: «Приостановить исполнение приговора, передать дело в РВТ фронта».

Приостановка исполнения приговора почти всегда означала, что приговор будет изменен.

> «РВТ 11-й 6 сентября в 16 часов вынес приговор о высшей мере наказания командиру 21-го эскадрона 41-го кавполка Первой кавдивизии Морозову Сергею, бывшему ротмистру старой армии, за халатность, дезорганизацию, связь с контрреволюцией, превышение власти...»
>
> «В 15 часов 5 сентября осужден к расстрелу за дезертирство и растрату народных денег делопроизводитель хлебопекарни 95-й бригады Владимир Михайлович Садовников...»
>
> «15 сентября сегодня 9 часов 45 минут приговорен к расстрелу бывший владелец аптеки Визенталь

Борис Давидович за утайку с целью спекуляции мануфактуры, перевязочных средств и медикаментов и дачу взятки советскому работнику с целью получения отобранного при обыске...»

«РВТ 11-й приговорен к расстрелу Чугунов Александр по обвинению: в бытность председателем ликвидационной комиссии по удовлетворению претензий населения Чугунов постепенно растратил на свои нужды миллион рублей аванса...»

По всем этим и им подобным делам существовали ходатайства о пересмотре, почему они и попадали телеграфным или телефонным путем (надо было спешить, ибо до исполнения приговора давалось 24 часа) в Реввоенсовет фронта. Я сразу узнавал почерк отца, его химический карандаш: «Приостановить исполнение...»

В течение двадцатого года шел непрерывный обмен мнениями по телефону и обмен телеграммами между Орджоникидзе и Трифоновым. Серго был не только членом Реввоенсовета фронта, он являлся также руководителем Кавказского бюро ЦК РКП(б), полпредом Ленина на Кавказе. И он почти не сидел в Ростове. Он был повсюду, метался по громадному краю с одного горячего участка на другой: весною был в Баку, когда Одиннадцатая армия освобождала Азербайджан, летом в Ростове и Краснодаре во время отпора Улагаю, осенью во Владикавказе и в Грозном, когда вспыхнул мятеж надтеречных станиц и когда в Дагестане поднял восстание имам Гоцинский — с этим последним пришлось основательно повозиться, была создана даже специальная Дагестанская группа войск под командованием А. И. Тодорского. А съезд народов Востока в Баку, съезд горских народов во Владикавказе — Серго должен быть и там! И должен встречаться с Энвер-пашой, и принимать министра иностранных дел Турции Бекир Сами-бея, который приехал как гость, но с настойчивостью, вовсе не приличествующей гостю, рвался в мятежный Дагестан; и должен вести сложную дипломатическую игру с Кучум-ханом, «Главкомом Персидской Красной армии».

Так выходило, что два члена Реввоенсовета общались больше всего по прямому проводу и по телеграфу. А вопросов, которые надлежало решать, было великое множество. Они обсуждали важнейшие оперативные дела, боевые операции, вопросы переброски войск и присылки фуража, закупки лошадей на Кубани (это было серьез-

нейшее задание Совета Труда и Обороны, по поводу которого сохранилась пространная телеграмма Трифонова Ленину[1], и формирования кавалерийских частей для отправки на Польский фронт. Они совещались по вопросам международной политики, о взаимоотношениях с Персией и Турцией, с независимой в то время Грузией и даже с Италией (в апреле 1920 года в Новороссийскую гавань неожиданно вошел итальянский крейсер «Этна», то ли с целью провокации, то ли замыслив какую-то авантюру). Орджоникидзе спрашивал по прямому проводу у Трифонова: «Получил ли ты ответ из Москвы насчет итальянского крейсера? До сих пор еще не могу добиться ответа. Вчера послал ночью еще одну записку. До сих пор не отвечают. Вызови Склянского к аппарату и потребуй у него ответа. Правда ли, что Конармия в Ростове бесчинствует?! Я приеду завтра днем». Трифонов отвечал из Ростова: «Армия прошла совершенно спокойно, ни одного случая бесчинства я не знаю. Некоторый конфуз получился на параде 4-й дивизии третьего дня. На параде красноармейцы стали требовать освобождения Думенко, но более или менее скоро успокоились. Парад пришлось прекратить. Эксцессов, однако, не было. Конармия уже вся прошла через Ростов и сегодня проходят остатки тылов. Беспокоиться нечего. Склянского, Москву потревожу, конечно...»

Трифонов дал распоряжение командованию Девятой армии усилить береговые батареи. Затем пришла телеграмма от Склянского: «По поводу прибытия в Новороссийск итальянского крейсера... Чичериным послано радио в Сан-Ремо с запросом о подтверждении полномочий капитана». Полномочий у капитана не было. Все это было наглой авантюрой с целью прощупать, крепкие ли нервы и нельзя ли чем поживиться у молодой республики, недавно потопившей весь свой флот. Трифонов дал распоряжение Василенко, командующему Девятой армии, арестовать крейсер и не выпускать его из гавани до ответа на запрос Чичерина. Орджоникидзе и Трифонов совещались по сложным вопросам внутренней национальной политики на Северном Кавказе (например, о переселении казаков из терских станиц и заселении их горцами, что было, в общем, вредной затеей, от которой волей-неволей пришлось отказаться), обсуждали назначение командиров, комиссаров, партийных и советских работников, ре-

[1] Архив Центрального музея Советской Армии, 16.419, 4/23.334.

шения Ревтрибунала фронта, проблемы использования воинских частей для трудовых целей, а также много других дел, иногда, казалось бы, вовсе незначительных («14 августа годовщина 11-й армии. Имеем ли мы право преподнести от фронта знамя? Если да, тогда это можно еще успеть, отвечай. Орджоникидзе».— «От фронта знамя преподнесли, но имей в виду, что это знамя будет подарок фронта, а не республиканская награда. Красное Знамя, как награду республики, может дать только ВЦИК. Трифонов»).

Не могу не вернуться к апрельскому телеграфному разговору Орджоникидзе и Трифонова, к тому месту, где упоминается о требованиях красноармейцев 4-й кавдивизии освободить Думенко.

В то время, когда Первая Конная армия проходила через Ростов на Польский фронт, Б. М. Думенко находился в Ростовской тюрьме. Он был расстрелян 11 марта 1920 года. С тех пор до конца 1964 года он считался врагом.

Думенко был организатором и командиром первых частей и соединений Красной конницы. Особая кавалерийская дивизия, которой он командовал, когда других кавалерийских дивизий в Красной Армии еще не существовало, «во внимание к исключительным заслугам перед революцией и Советской Республикой» была награждена Почетным Знаменем. Сам Думенко пятым по счету в стране получил орден Красного Знамени. В 4-м томе «Истории гражданской войны в СССР» на стр. 292 приведено сообщение «Правды» о взятии Новочеркасска в ночь на 8 января 1920 года: «Осиновый кол вбит в самое сердце контрреволюции. Ее главной опоры — Донской армии — не существует; остатки ее бегут, гонимые нашими частями. Наши войска неудержимой лавиной двигаются на Кавказ». Для большей точности должен заметить, что слова эти взяты из напечатанного 10 января 1920 года в «Правде» донесения Реввоенсовета Юго-Восточного фронта; под ним стоит подпись В. А. Трифонова.

Тогда, конечно, не следовало оповещать в открытой печати, какие именно войска взяли Новочеркасск. Но теперь нет причин таить, что «наши войска», взявшие Новочеркасск, именовались так: «Сводный конный корпус товарища Думенко».

После взятия Новочеркасска Думенко повел корпус на Дон и Маныч. Там были и успехи и неудачи — счастье на войне переменчиво, но в общем-то конница Думенко дралась с деникинцами геройски. Но к этому времени

в Реввоенсовет армии и фронта уже шли доносы на комкора: недоброжелателей у него хватало. Думенко был крут, несдержан, излишне самолюбив, не терпел чьей-либо опеки, хотя бы и со стороны комиссаров. Люди, обиженные Думенко и считавшие себя обиженными, и завистники — были у него и такие — методично сеяли подозрения. Думенко, мол, скрытый враг советской власти, ждет удобного случая, чтобы перейти на сторону белых. К нему был прислан отличный комиссар В. Н. Микеладзе, человек храбрый, решительный. Между комкором и комиссаром начали складываться, хотя и с трудом, отношения доверия. В конце января Микеладзе уже вручил Думенко членский билет партии большевиков.

Осталась темной и невыясненной (и, может быть, никогда уже не будет выяснена) личность злодея, в ночь на 3 февраля 1920 года убившего в поле комиссара Микеладзе. Но можно сказать, что в ту ночь был убит и Думенко. Враги его воспользовались случаем и к прежним обвинениям добавили еще одно: безапелляционное заверение, что организация убийства была делом Думенко и его штаба. Видимо, сыграл роль и горячий климат гражданской войны, не отпускавший времени на длительный разбор обстоятельств дела, когда идут настойчивые «сигналы» о контрреволюционном заговоре. Как бы там ни было, но Реввоенсовет фронта — теперь это очевидно — поспешил, отдав приказ о немедленном аресте Думенко и штаба Сводного конного корпуса.

Следствие шло около двух месяцев, но многие детали и «мелочи» так и остались невыясненными. Теперь очевидно и то, что ряд показаний свидетелей обвинения были бездоказательными, а иные попросту ложными. Думенко был прежде убит морально, потом, опозоренный, расстрелян. Любопытно, что неубедительность речи обвинителя была отмечена в дневнике Павла, где имеются две короткие, чисто информационные записи о суде над Думенко.

«6 мая. Вечером был с Ив. Ив. Луком на деле Думенко. Обвинителями выступали Колбановский (очень плохо) и Белобородов. Защищали два адвоката и Знаменский (член РВС 10 армии). Мы ушли в 11 часов. Суд кончился в 3 часа ночи. Думенку, начштаба Абрамова, начопероода Блехерта и еще двоих суд приговорил к расстрелу».

Во время следствия по делу Думенко В. Трифонова на Юге не было — он находился в Москве как делегат Девятого съезда и вернулся в Ростов лишь во второй половине апреля. Документы судебно-следственного дела

показывают, что никакой прикосновенности В. Трифонова к делу Думенко не было. Это «дело» создали на основании клеветнических доносов член РВС Девятой армии А. Г. Белобородов и член РВС Кавказского фронта И. Т. Смилга.

Разумеется, у Думенко кроме грехов вымышленных, которые ему приписывались, были грехи совершенно реальные, признававшиеся даже его защитниками: нарушения дисциплины, факты разгула, пьянства, имевшие место в корпусе, и порой даже обиды мирного населения. Но такого рода нарушения были нередки и в других частях Красной Армии, выросших из партизанства! Достаточно вспомнить некоторые части Первой Конной и свидетельство хотя бы такого очевидца, как И. Бабель. Несколько участников гражданской войны, прочитавшие «Отблеск костра» в первом варианте (среди них весьма уважаемый мною генерал Б. К. Колчигин), в письмах выразили недовольство тем, что я изобразил Думенко чуть ли не идеальным героем гражданской войны. Нет, он не был идеальным героем, он был просто героем гражданской войны.

Таковы были герои тех лет. Вокруг этого вопроса до сих пор кипят страсти, спорят яростно — как в атаку идут — бывшие кавалеристы, вчерашние политработники, нынешние историки. Одни люто за Думенко, другие так же люто против. Так или иначе, добрая слава Думенко возвращена. Его именем названа улица в Новочеркасске.

Наверное, ничто не добывается с таким трудом, как историческая справедливость. Это то, что добывают не раскопки в архивах, не кипы бумаг, не споры, а годы.

Одной из главных задач Кавказского фронта была поддержка и помощь революционному движению в закавказских республиках. Вот запись по прямому проводу, сделанная в ноябре 1920 года:

«Передайте немедленно секретную записку В. Трифонову... Левандовский до сих пор ничего не сделал на Ботлихском направлении, что в высшей степени осложняет положение в Дагестане. (Речь идет о действиях частей Девятой армии по подавлению мятежа имама Гоцинского.— *Ю. Т.*) Если дело затянется еще, если не будет быстрого и мощного удара на Ботлих, могут получиться весьма неприятные осложнения... В связи с наступлением Кемаля на Армению вероятнее все-

го, что нам придется вмешаться для спасения Армении и придется советизировать, для чего понадобится главным образом кавалерия. Такой приказ фронт может получить от главкома через несколько дней. Поговори с Гиттисом и сообщи, что можно перекинуть... Жду ответа. Орджоникидзе».

В ответной записке Трифонова, переданной в Баку, говорится, что «если обещанное главкомом будет переброшено с Южного, тогда можно будет выделить, но это будет не раньше, как через месяц. Сейчас вся кавалерия занята, как ты это, вероятно, и сам знаешь. Кроме того, мы находимся в постоянном ожидании неприятностей со стороны моря, и это нас обязывает держать здесь силы».

Между тем в конце ноября в Армении вспыхнуло восстание, руководимое Военно-революционным комитетом. Сохранилась такая ликующая телеграмма Серго:

«Члену РВС Кавфронта Трифонову.

...Только что получено из Эривани сообщение. Старое правительство свергнуто, вся власть передана военному командованию до прибытия Ревкома. Ревком настоящее время в Дилижане. Итак, еще одна советская республика! Да здравствует советская республика Армения! Орджоникидзе».

Командование Кавказского фронта приказало частям Одиннадцатой армии прийти на помощь трудящимся Армении. Дашнакская армия перешла на сторону Ревкома. 2 декабря правительство дашнаков, возглавляемое Врацяном, подписало акт об отказе от власти.

Последним оплотом антисоветских сил на Кавказе оставалась меньшевистская Грузия. Из Грузии тянулись нити белогвардейских мятежей, вспыхивавших то там, то здесь на Северном Кавказе и в Дагестане. Грузия давала приют остаткам разгромленных врангелевских банд, отступавших с севера под ударами Красной Армии, она открыла границу шести тысячам недобитых вояк генерала Фостикова и затем переправила их морем в Крым к Врангелю.

В феврале в Грузии началось восстание против меньшевистского правительства. Документы свидетельствуют о том, с какой осмотрительностью, тщательно взвешивая все обстоятельства, готовилось Советское правительство принять решение о помощи восставшим.

В архиве Центрального музея Советской Армии есть телеграмма Склянского и Крестинского в Реввоенсовет Кавказского фронта.

> «15 февраля 1921 года.
>
> Тт. Смилге, Трифонову, Гиттису, Фрумкину, Геккеру. ЦК склонен разрешить 11-й армии активную поддержку восстания в Грузии и занятие Тифлиса при соблюдении международных норм и при условии, что все члены РВС 11-й после серьезного рассмотрения всех данных ручаются за успех. Мы предупреждаем, что все сидим без хлеба из-за транспорта, и поэтому ни единого поезда и ни единого вагона не дадим. Мы вынуждены ввозить с Кавказа только хлеб и нефть. Требуем немедленного ответа по прямому проводу за подписью всех членов РВС 11-й, а равно Смилги, Гиттиса, Трифонова и Фрумкина.
>
> До нашего ответа на телеграмму всех этих лиц ничего решительно не предпринимать. По поручению ЦК Крестинский, Склянский».

Смилга, Трифонов и Гиттис были членами РВС фронта, Геккер командовал в тот период Одиннадцатой армией, а Фрумкин находился в Ростове как член коллегии Наркомпрода и Кавказского бюро ЦК. М. И. Фрумкин, старейший коммунист, член партии с 1898 года, стал после Кавказского фронта близким товарищем отца. В последних томах Ленина имя Фрумкина встречается бессчетное число раз: Ленин обращался к нему по множеству вопросов, касавшихся снабжения продовольствием, торговли, экономики. Фрумкин был замнаркома продовольствия, затем — замнаркома внешней торговли. Он погиб в 1939 году.

В тот же день 15 февраля 1921 года, когда пришла телеграмма от Крестинского и Склянского, Гиттис и Трифонов, находившиеся в Георгиевске, ответили в Москву:

> «Связи обусловленным неполучением из центра того, что минимально требовалось, считаем возможным определенный ответ дать только непосредственном выяснении всей обстановки Баку и учитывания характера и истинного размера событий. Баку будем утром 17 февраля, откуда немедленно ответим».

Ответ был дан положительный: РВС фронта ручался за успех. На следующий день, 16 февраля, Грузин-

ский ревком (председатель Филипп Махарадзе) в телеграмме на имя Ленина просил о помощи восставшим. И Красная Армия двинулась на помощь. 25 февраля советские войска вступили в Тифлис.

К середине марта советскими войсками под командованием Левандовского и Тодорского были разгромлены последние отряды мятежников в Дагестане и Чечне. А 13 июля 1921 года части Красной Армии, руководимые Тодорским, выбили дашнаков из последнего пункта Закавказья — села Мегры.

Гражданская война, кровопролитнейшая, бесконечно долгая, медленно завершалась.

В июне 1921 года В. Трифонов демобилизовался. Он прожил еще семнадцать лет, и это были годы работы, и о них можно было бы написать так же длинно, с подробностями, как я писал о ссылках и революции. Но я хочу поставить точку. Я пишу книгу не о жизни, а о судьбе. И не только о своем отце, а о многих, многих, о ком я даже не упомянул. Их было очень много, знавших отца, работавших рядом, похожих на него.

Чем же все-таки он занимался после 1921 года?

Тогда был период топливного кризиса. Недавнего военного работника направили на топливный фронт: он был заместителем начальника Главтопа, председателем Нефтесиндиката. А затем — Военная коллегия Верховного Суда, где он председательствовал в 1923 и в 1924 годах, военная миссия в Китае, дипломатическая работа в Финляндии, Главконцесском...

Работая в Главконцесскоме, руководя этой будто бы гражданской, а на самом деле чрезвычайно острой, дипломатической организацией, отец написал незадолго перед своей гибелью военно-теоретическую книгу «Контуры грядущей войны». Он всю жизнь интересовался военными вопросами, так же, впрочем, как и экономикой сельского хозяйства: был одним из организаторов Сельскохозяйственной академии имени В. И. Ленина.

В книге «Контуры грядущей войны», где В. Трифонов писал о многих сугубо военных проблемах, например о небезызвестной доктрине генерала Дуэ, о необходимости перевода промышленности на Урал и в Сибирь, отчетливо ощущалась неизбежность скорой схватки с фашизмом. Весь тон книги был суров и тревожен. И это, между прочим, отличало ее от многих, появлявшихся в те годы, книг и кинофильмов, которые убаюкивали народ самоуве

ренной похвальбой и непониманием грозящей опасности.

Больно звучат сейчас многие слова, которые подтвердила история. Например, рассуждения о факторе внезапности и о преступной беспечности тех, кто не сознавал в полной мере, что значит иметь дело с фашизмом.

«Новейшие средства войны,— писал Трифонов в конце книги,— создали могущественное оружие для нападения на суше и в воздухе, причем мощность этого оружия усиливается во сто крат в условиях внезапности.

Необходимо, кстати, отметить, что у нас все признают, как вывод из современной обстановки, как нечто совершенно бесспорное, что фашисты нападут на Советский Союз неожиданно, внезапно, но из этого признания далеко не все делают надлежащие выводы. Очень многие относятся к истине, содержащейся в этом выводе, с пагубным добродушием, будучи почему-то убеждены, что истина эта будет иметь практическое применение в первую очередь в отношении каких-то других государств, а не Советского Союза; эти странные люди не хотят верить, что может быть, в первую очередь им именно придется проснуться однажды от грохота взрывов авиабомб противника».

Одним из этих «странных людей» был Сталин.

К сожалению, книга «Контуры грядущей войны» не увидела света. В начале 1937 года, окончив книгу, отец послал рукопись нескольким членам Политбюро — Сталину, Молотову, Ворошилову, Орджоникидзе. Наиболее близким в ту пору для отца человеком был Орджоникидзе. Серго неожиданно умер в феврале 1937 года. Сейчас известно, что он застрелился, тогда об этом знали немногие. Помню, как испугала меня внезапная, небывалая мрачность отца в тот день, когда узнали о смерти Серго. Для него это было не просто горе, а какой-то громадный и страшный сигнал. От остальных членов Политбюро отец так и не дождался ответа. Не ответил Молотов, с которым отец был товарищем еще в Питере перед революцией. Не ответил Ворошилов, знавший отца по Южному фронту. Не ответил Сталин. Их молчание и было ответом. И «ответ» этот скоро пришел: его принесли люди в военном, которые приехали ночью в Серебряный бор. Отцу было тогда 49 лет.

А костер шумит, и пылает, и озаряет наши лица, и будет озарять лица наших детей и тех, кто придет вслед за ними.

Вот что я узнал некоторое время спустя после того, как написал фразу о костре. Кстати, не сомневаюсь и теперь: костер будет озарять человечество долго. Меня нашел человек, который несколько недель провел с отцом в камере осенью тридцать седьмого. Этот человек — назовем его, скажем, Ушаков, он сам предложил такую фамилию, все еще чего-то трепеща, хотя реабилитация, пенсия, квартирка на Юго-Западе могли бы его успокоить, но двадцать лет лагерей и ссылок сделали свое дело, в его крови тлела смертельная осторожность — этот человек пришел в камеру, когда отец там был старожилом, находился на Лубянке уже два с половиной месяца. Койка отца стояла у окна. Другая койка у окна принадлежала Артамонову, заместителю начальника Главного Артиллерийского управления. Это был сын царского генерала, человек громадного роста, красивый, речистый, умный. Они с отцом постоянно спорили о каких-то проблемах баллистики, в спорах принимал участие и профессор механики из Московского института стали, который все изумлялся: «За что меня-то взяли? Я же никакой не политик!» Отец много рассказывал о казачестве, о земельных просторах на Дону, о воинских доблестях казаков, он возвращался памятью к временам юности, но не к гражданской войне. Ничего не говорил о себе и о своем д е л е. Ничего о семье. Производил впечатление волевого и сильного, но крайне замкнутого человека. Одет он был незатейливо, почти по-рабочему. Худощавый, черноватый, слегка сутулый, он походил — так казалось Ушакову — на сцепщика с фонарем из «Анны Карениной». И еще: на рабочего из стихотворения Гумилева. Который отливал пулю. Это было странное сообщение, меня поразившее: в моей памяти отец остался другим. Я помню его коренастым, с мощными бицепсами, которые он развивал эспандером и гирями по утрам, помню его крепкую, круглую, лысую голову, крепкие пальцы, белые зубы и щеточку усов над тонкой твердой губой. И вдруг — худощавый? Ведь он был лыс, значит, почернел лицом. Понимал ли отец, что обречен, сказать трудно, ибо Ушакову запомнились слова, которые он повторял часто: «Что было, то было, а чего не было, того не было». Тут заключалось назидание, как следует вести себя на допросе, но отец говорил и другое: «Нас всех взяли с прикупом. То ли битьем, то ли со страху наговорите — но непременно что-нибудь скажете, что вам известно». Ушаков как-то спросил отца: чем все это кончится?

«Судьба Сталина — это судьба Павла I. Войдут два здоровых гвардейца и придушат».

Тогда, видимо, многие на это надеялись, но двух гвардейцев в России не нашлось.

Однажды ввели Мартиновича, начальника одного из управлений наркомата оборонной промышленности, бывшего героя гражданской войны, комдива. Его шумно приветствовали: Артамонов знал его по работе, отец помнил по военным годам на Юге. Мартиновича сразу увели, а когда он вернулся через неделю, сапоги пришлось разрезать — всю неделю стоял. О пытках и избиениях предпочитали не говорить, среди сокамерников был, конечно, иуда, но кроме того была еще — не успела исчезнуть — какая-то мистическая, не объяснимая словами надежда на то, что весь этот кошмар вдруг рассеется, и не надо о нем говорить. Впрочем, истинные пытки и избиения начались в октябре, когда Сталин подписал циркуляр на сей счет: о применении методов физического воздействия. Сталину хотелось все закончить как можно скорей. «Ваш отец должен был быть уничтожен,— сказал Ушаков.— Другой судьбы у него быть не могло». Он говорил, что все в камере относились к отцу с уважением, прислушивались к его давнему тюремному опыту: ведь впервые угодил за решетку тридцать лет назад! Молодому Ушакову отец представлялся стариком. Он придавал большое значение селедке: «Это наиважнейшее питание в тюрьме, живой белок». Вот какое знание оказалось самым ценным и нужным на исходе жизни, полной страстей и нечеловеческого напряжения. Ушакову запомнилось: двигался отец неторопливо, жесты были размеренны (очки отняли, как у всех очкастых, и отец, страдавший сильной близорукостью, не желал делать ложных движений), вообще было впечатление полного владения собой и абсолютного спокойствия. Я думаю, это означало одно: он понимал, что происходит и что их всех ждет. Ушакова вскоре перевели в другую тюрьму. Отцу оставалось жить полгода: 15 марта 1938 года после суда, который длился пятнадцать минут, он был здесь же в тюрьме расстрелян.

И еще вспомнил Ушаков: отец рассказывал, что двадцать лет назад в марте восемнадцатого, когда Советское правительство переехало из Петрограда в Москву, отец с кем-то двумя ходили по Москве, присматривая подходящее здание для ЧК, и выбрали дом на Малой Лубянке.

1965 г.

Старик

В июле пришло письмо: «Дорогой Павел! Пишу тебе наугад, на редакцию журнала, где прочитала твою заметку про С. К., к сожалению, с опозданием на пять лет и совершенно случайно. Недавно была в Бердянске у приятельницы и там среди старых журналов, которые мы собрались сдавать ребятишкам как макулатуру, наткнулась на этот журнал, номер 3 за 1968 год, с твоей заметкой и маленьким портретом С. К. Ты не представляешь, дорогой Павел, что я испытала в ту минуту. Ведь я совершенно ничего не знала, я не знала, что ты жив, что С. К. теперь считается чуть ли не героем гражданской войны. Ты, может быть, меня забыл, но я тебя отлично помню и навсегда сохранила к тебе теплое чувство, нас так много связывает. Я Ася Игумнова, твоя соседка по Васильевскому острову, по Пятнадцатой линии, а ты, Павлик, очень дружил с Владимиром, он жил в нашей семье, мой двоюродный брат, его зарубили красновцы зимой девятнадцатого года в станице Михайлинской. Я едва выжила. Ты, наверное, помнишь. Меня спас Сергей Кириллович. Ты был писарем или ординарцем в ревкоме, где командовал какой-то твой родственник, а я была машинисткой в штабе корпуса Сергея Кирилловича. Мне было тогда восемнадцать, тебе столько же или немного меньше. Я помню, что мы все трое — ты, я и Владимир — ходили в пригодинскую школу в один класс, у меня был еще старший брат Алексей, студент, он воевал на стороне корниловцев, а я очень мучилась, не знала,

как мне быть. Владимир был моим первым мужем. Мама прокляла его и меня после того, как Алексей был убит. Потом я стала женой Сергея Кирилловича Мигулина, очень его любила, он вернул мне жизнь, но это длилось всего несколько месяцев, и в мае случилась известная тебе трагедия. Милый Павел, в моей жизни было много страданий, но я сейчас не стану тебе писать, потому что не знаю, получишь ли ты письмо, жив ли ты и здоров и захочешь ли со мной переписываться. Я бы очень хотела тебя увидеть под конец жизни, никого не осталось от тех времен, братья погибли, отец умер в Ростове от тифа. А мама с сестрой Варей и Вариным мужем уехали в двадцать первом году в Болгарию, потом во Францию. О них ничего не знаю. Я счастлива, что с такого замечательного человека, как С. К., теперь снято позорное клеймо, которому я никогда не верила. Мне ничего не сообщали, потому что никто не знает, что я была его женой и родила от него сына. Даже мои родные не знали. Не понимаю, отчего я тебе так откровенно пишу? Твоя заметка меня расстроила. Я все годы была как каменная. Не понимаю, почему написал именно ты. Неужели никого нет? Я давно не Игумнова, не Мигулина, я Нестеренко, по мужу, Нестеренко Георгию Федоровичу, с 1924 года, когда вышла за него замуж. Георгий Федорович был военным инженером, мы без конца ездили по стране, были на Дальнем Востоке, в Монголии, он погиб в Ленинграде, в блокаду. Сына моего любил, как родного. Сын умер три года назад от болезни крови. Я живу недалеко от Москвы, в поселке городского типа Клюквино, здесь большой институт, где мой внук работает. И его мать работает здесь же. Ехать из Москвы несложно: поездом до Серпухова, потом минут сорок автобусом. Я бы мечтала тебя увидеть, дорогой Павел! Когда-то не могла тебя видеть. Но это было недолго. Дай бог, чтоб ты был жив и здоров. Иногда по ночам — особенно в последнее время, когда стала старухой — вижу во сне нашу улицу на Васильевском острове, наш трехэтажный дом с граненым выступом, где было что-то вроде чердака и где мы прятались иногда от взрослых. На жизнь я не жалуюсь, хотя было много тяжелого. Павел, ответь, пускай двумя строчками. Обнимаю тебя. Твой старый друг Ася. Анна Константиновна Нестеренко.

P. S. Мне семьдесят три года, я совершенно седая, тощая и, конечно, больная. Хожу с трудом, но по дому делаю всю работу, потому что найти помощницу очень



трудно. Посылаю на всякий случай фотографию внука и его жены Светланы, которая выглядит здесь гораздо наивнее и юнее, чем на самом деле. Они женаты полтора года. Павел, я навсегда запомнила, что ты был первый, кто подошел ко мне тогда, в Михайлинской, запомнила твои слова, твое лицо — все думали, что я без сознания, но я видела и слышала, только ничего не чувствовала, конечно. Павел, прости меня, старуху, и откликнись».

Павел Евграфович вертел фотографию, смотрел на пучеглазого молодого человека с бородкой, не видя, не понимая, а лишь ощущая, что нахлынуло наподобие сердечного приступа — беспокойство, озноб, удушливая и теснящая грудь память из глубочайших глубин — и от этого некоторый страх. Бывало, ночью уговаривал себя в мыслях: «Успокойся, тебе уже лучше, значительно лучше, боль проходит, проходит». И проходило. Так и теперь: «Ничего особенного, обыкновенное письмо, волноваться не следует. Подумаешь, не виделись пятьдесят пять лет!»

Асю Игумнову вспомнил сразу. И Пятнадцатую линию, дом с граненым выступом, ворота из железных прутьев. Вдруг обрадовался — пойти рассказать детям! Ведь интересно — через пятьдесят пять лет. Но тотчас сообразил, что рассказывать нельзя, потому что поругались. Вчера тяжело и обидно ругались, опять натолкнулся на непонимание, нет, не то — все понимают, но делают вопреки пониманию. Того хуже, недомыслие. Недочувствие. Как будто других кровей. Рассказывать неохота ни Руське, ни Вере, ни свояченице, никому. Была бы Галя жива.

Он взял письмо, еще раз прочитал, опять заколотилось сердце, и — поскорее в ящик стола поглубже, под бумаги. Вчера затеялся гнусный практический разговор. И странно: Вера и Руська, такие разные, спорящие всегда обо всем, тут мгновенно сошлись. И с какой злобой набрасывались, какие аргументы беспощадные выдвигали. Вера сказала: «Надоело наше вечное блаженное нищенство. Почему мы должны жить хуже всех, теснее всех, жалчее всех?» Руська грозил и пальцем тряс: «Имей в виду, на твоей совести будет грех. Ты о душевном покое думаешь, а не о внуках. А ведь им жить, не нам с тобой». Что-то о старческом эгоизме, несправедливое, отвратительное. Такой дурак, такой безжалостный. Нет, простить нельзя. Вчера рукой махнул и ушел, потому что говорить бесполезно. Ошибка, ошибка! Не вчера бы-

ло, а позавчера. Вчера пустой день. Ни с кем не разговаривал, сидел наверху, в комнатке над верандой, временно свободной, потому что свояченица уехала в Москву получать пенсию и показаться врачам, и составлял ответ Гроздову П. Ф., жителю Майкопа, который в длинном безграмотном письме утверждал архиглупость — будто станица Кашкинская взята в январе 1920 года, хотя всем ведомо, что это произошло в феврале, а именно 3 февраля. Письмо переслали из Совета ветеранов. Отвечать было трудно, мучился, подбирал слова, а голова-то неспокойная и сердце болит из-за дураков, самые простые слова пропадали. Вера поднималась, стучала сердито и с этаким вызовом: «В чем дело? Почему ты не отзываешься? Нарочно нас нервируешь? Иди чай пить». Вот еще вздор — нарочно их нервировать. Как будто не знают, что он недослышит.

А все оттого, что не согласился исполнять их приказ: поговорить с председателем правления насчет этого несчастного домика Аграфены Лукиничны. Но ведь не мог, не мог, окончательно и бесповоротно н е м о г. Как бы он мог? Против Полины Карловны? Против памяти Гали? Им кажется, если матери нет в живых, значит, и совести ее нет. И все с нуля начинается. Ан нет, совесть Гали существует, еще не исчезла, пока он в этом мире есть. Исчезнет, конечно, и скоро, тогда делайте что хотите.

Накаляясь обидой и вдруг забыв про письмо от Аси, Павел Евграфович спустился ветхой лесенкой вниз, намереваясь взять на кухне судки, чтобы идти в санаторий. Было несколько рановато. Обеды отпускали с двенадцати. Но он любил идти не спеша, посиживать на берегу на скамейках и приходить на кухню первым, чтоб не томиться в очереди. Очередь тут была совсем не та, что в городе в «Диете» или в продовольственном. Все только чем-то хвалились или на что-то жаловались. Павел Евграфович взял чисто вымытые судки, лежавшие в разобранном виде на окне, на солнцепеке для просушки — все-таки Валентина молодец, ссоры не ссоры, а она свое дело знает,— собрал их, взял бидончик для молока и вышел на веранду, где было много народа.

По случаю воскресенья все съехались: Руська, Вера со своим Николаем Эрастовичем, какая-то их знакомая, коротышка в сарафанчике, появившаяся вечером накануне, ну и Гарик, его друг Петька, и Виктор был тут же, и Валентина шныряла туда-сюда — с веранды на кухню,

из кухни на веранду. Кто уже позавтракал, кто допивал чай, а Гарик с Петькой на краю стола, сдвинув в сторону посуду, играли в шахматы. Павел Евграфович привык к тому, что его не ждали с едой, да и вообще никто никого не ждал, все шло враздробь. Валентина кормила своих, то есть Руслана и Гарика, Верочка питалась вроде бы самостоятельно с Николаем Эрастовичем, когда тот приезжал, а если его не было, то вроде бы со свояченицей, теткой Любой. Мюда и Виктор, которые прикатывали частенько, хотя их никто не звал, питались вроде бы с Верочкой, всегда привозили ей сласти. Ну, а Павел Евграфович обедал то с теми, то с другими, а то и один — тем, что приносил из санатория. Но иногда все садились за большой стол вместе и получалась вовсе неразбериха. Хотя в прежние времена так и было — вместе. При жизни Гали.

А умерла Галя — будто выпала чека, колеса болтаются вразнотык, вот-вот и ось полетит... Пускай! Павел Евграфович не имел ни сил, ни охоты приводить телегу в порядок, да и не приведешь теперь. Глухо, будто сквозь слой воды, доходили до его сознания голоса и зовы детей, внуков, в жизни которых что-то происходило, но Павел Евграфович не прислушивался. Кое-чего он совсем не знал, кое о чем догадывался: например, о том, что у Руслана опять появилась женщина, Валентина страдает, может быть, разойдутся, и о том, что Верочка чем-то больна и нужно, чтобы она оставила работу и начала лечиться. А чем больна Верочка, Павел Евграфович не знал, боялся узнавать и не понимал, что бы он стал делать, узнав, потому что всем этим занималась Галя. Вот и теперь — собрались на веранде, толкутся, шумят, спорят, а о чем? Наверно, о какой-нибудь ерунде, по телевизору посмотрели. Тот актер хорош, этот нехорош — вот и спор. И могут этак полдня языками молоть, даром что воскресенье. Нет, прислушался и разобрал: о чем-то будто другом. Об Иване Грозном, что ли. На историческую тему. Да им все едино, лишь бы гром, спор, лишь бы свое «я» показать.

Особенно злой спорщик, конечно, Руслан, и всегда он то с сестрой схлестывается, то с занудливым Николаем Эрастовичем, которого не поймешь: поистине святоша, а значит, вырос, да ума не вынес или же притворяется, зачем-то хитрит. Этот Эрастович не очень-то Павлу Евграфовичу нравился, даже не потому, что у Верочки с ним счастья нет и, видать, не будет — семь лет дело тянется, все на той же точке,— а потому, что мужик ка-

кой-то мороченый, непонятный. Как будто образованный человек, с Верочкой в институте, а насчет библии, икон, церковных праздников и тому подобной муры рассуждает, как богомольный старец.

— Папа, ты хочешь есть? Ты еще не завтракал?— спросила Вера, бросив на отца разгоряченный, но совершенно пустой, невидящий взгляд.

Павел Евграфович, не отвечая, а только рукой показав: «Не беспокойся и не мешай разговору!»— сел к столу, придвинул к себе блюдце с чашкой. Верно, чайку захотелось. За столом, между тем, кипела баталия: Николай Эрастович частым, гнусливым говором сыпал свое, Вера ему, конечно, подпевала в большом возбуждении — и все насчет Ивана Грозного, как же их проняло!— а Руслан за что-то их ужасно корил, и пальцем в них тыкал, и гремел оглушающим, митинговым голосом, напомнившим старые времена. Впрочем, всегда орал в споре. То, что раньше называлось: брал на глотку. Павел Евграфович давно зарекся с ним спорить. Ну его к богу в рай. Только давление поднимать.

— Времена были адские, жестокие, поглядите на Европу, на мир... А религиозные войны во Франции? Избиение гугенотов? А что творили испанцы в Америке?

— Оправдываете изувера! Садиста, черта! Сексуального маньяка!— орал Руслан, вскидываясь из-за стола и норовя своей здоровенной размахивающей рукой приблизиться к лицу Николая Эрастовича: видно было, что пито уже с утра.— Времена, времена! Какие, к черту? Возрождение, Микеланджело, Лютер...

— Братцы, мы отклонились от темы. Мы говорили о Достоевском...— пропищала коротышка в сарафанчике.

— Нельзя же помнить лишь зло — казни, изуверства... Ваш Белинский называл его необыкновенным человеком...

— Белинский ваш! Заберите его себе!

— А расширение границ? Казань, Астрахань?

— Да не нужны мне даром! Что мне это расширение границ? На крови да на утопленниках?

— Карла никто не называет злодеем, хотя Варфоломеевская ночь и Новгород — почти одно время, а русский царь — это уж, конечно, страшилище.

— Братцы, мы подошли к царю Ивану от «все дозволено». Но «все дозволено»— если нет бога...

— Царь Иван сделал бесконечно много для России!— тонким голосом прокричал Николай Эрастович. Его лицо стало каменным и темным от прилива крови. И чего так разволновались из-за царя? Вот и Руслан вспылил, побагровел и ручищу вознес, будто приготовился предать анафеме.

— Молчать! Вам кол по истории, товарищ кандидат наук! Царь Иван разорвал Россию надвое и развратил всех: одних сделал палачами, других жертвами... Ах, да что говорить! Когда напал Девлет-Гирей и надо было... надо было...— Тут Руслан вдруг поник, опустился на стул и слабым, задушенным голосом закончил:— Опричники, сволочи, и воевать-то не умели... Откуда им?.. И сам сбежал, царь называется... Отдал нас на поругание, спалили Москву, поганые...— Еще что-то бубнил невнятное, вытирая ладонью щеки, бороду. Ну, конечно, слезы. Когда выпивал, становился безобразно слезлив.

Павел Евграфович смотрел на сына с тоской и тайной брезгливостью. Одно хорошо: Галя не видит. Пять лет назад, когда Галя еще была с ними, он этак не выкамаривал. Вдруг Руслан вскочил и опрометью, будто его срочно позвали, бросился в комнаты. Внутри дома что-то грохнуло с треском. Это он дверью лупанул. Вера вздрогнула. Гарик, игравший в шахматы, сказал: «Во папа дает!» А Валентина спокойно продолжала убирать посуду, будто ничего не слышала. И Павел Евграфович подумал о ней с горечью и сердито, это была не его горечь, а Галина, которую он вдруг почувствовал: нет, подумал, не бережет, не любит и, значит, не годится. Ей главное — удержать. Хоть пьяного, инвалида, какого угодно развалюху, лишь бы с ней. Вот и допускает до такого свинства, еще и сама способствует, потому что человек, лишенный воли, никуда не уйдет. Это она понимает, хитрая женщина. А что можно сделать? Галя могла бы, а он нет, не умеет. Никогда не умел. Теперь уже все на излете. Уже и детей жизнь на излете. Но за этим привычным и грустным, что было тенью его мыслей в последние годы, невнятно теплилось что-то, какой-то нечаянный, издалека, согрев. Не сразу догадался, что это письмо от Аси. Захотелось тихо уйти, чтобы подумать наедине, вспомнить подробно и хорошо, и он сделал движение — наклонился корпусом вперед, чтобы встать со стула,— но Вера остановила:

— Папа, я тебя забыла познакомить с моей приятельницей, Инной Александровной. Она юрист, работает в

юридической консультации. Кстати, может дать ряд полезных советов... без очереди и бесплатно...

— Нет, буду брать гонорар вашим чудесным воздухом!— Коротышка в сарафанчике улыбалась и глубоко вздыхала, глаза прикрыв, изображая необыкновенное удовольствие.— Воздух у вас совершенно божественный!

Павел Евграфович безо всякой задней мысли, просто так, из любви отмечать смешное подумал: воздух воздухом, а торта третий кусок ломает. Да, конечно. Воздух что надо. Очень рады. Юридическая наука шагнула вперед, а он, между тем, стоял у ее истоков, участвовал в судебном процессе пятьдесят лет назад. Хотел было начать рассказывать о процессе над Мигулиным, очень драматичном и бурном, для молодежи поучительно, но почувствовал после первой же фразы: «Осенью девятнадцатого года, когда Мамонтов прорвал наш фронт на юге...»— что особого интереса ни у кого нет, Валентина ушла, Вера и Николай Эрастович стали о чем-то шептаться, а воротившийся было Руслан смотрел пустым взором, и умолк внезапно. Ни к чему все это. Метать бисер. Обойдутся без рассказа о Мигулине. А ведь интереснейшая фигура! Дураки, ей-богу, что не хотят о нем ничего знать. И он опять задумался о письме, об Асе и представил себе, с каким страстным вниманием — даже увидел мысленно, с каким лицом — стала бы его слушать Галя.

Коротышка в сарафанчике что-то объясняла Вере про дом Аграфены Лукиничны. И как не надоест? Слушать скука. Павел Евграфович опять наладился встать и пойти, но Руслан остановил его и даже рукой нажал на плечо, заставляя сесть.

— Ты послушай, послушай, тебе полезно.— И, обращаясь к юристке:— Понимаете, на что напирают? На то, что восемь лет снимали у Аграфены, ремонтировали... А те раньше всех подали заявление...

— Но и у вас свои плюсы. Во-первых, вы самые старые жители кооператива... Во-вторых, разрослась семья...

Теперь все говорили разом. Юристка, важно хмуря чело, чеканила очень громко и авторитетно. Голос у нее обнаружился — как рожок. Павел Евграфович заметил, что нынче в старости — глупость, конечно!— стал бояться людей с громкими голосами. Сначала хотел было вступить в разговор и объяснить юристке суть. Почему он против затеи с домом? Потому что Полина Карловна — друг Гали и Галя сюда их всех заманила восемь лет

назад. Была б жива Галя, о таком споре и помыслить нельзя. Но дети считают: раз мамы нет, значит, можно. Да и Полине недалеко до мамы. Обо всем этом говорено было до крика.

Поэтому ну их к богу в рай.

— Я сказал, ни с кем разговаривать не стану!— Павел Евграфович, угрюмо супясь, стал выползать из-за стола, опираясь о палку и клоня туловище вперед.

— Да ради бога, папа! Как хочешь... Обойдемся...

Вдогонку был голос Николая Эрастовича:

— Кстати, насчет царя Ивана Васильевича... Вот вы, Руслан Палыч, на царя кидаетесь, а сами что ж? Тоже стремитесь расширять территорию и не считаете зазорным...

Шум, смех, звон посуды — никто не заметил ухода Павла Евграфовича, вечное с утра до ночи чаепитие продолжалось. Гнусливая дробь Эрастовича, голосок Веры и буханье Русланова баса остались за спиной. И чуть только Павел Евграфович спустился с крыльца на землю — крыльцо высокое, для Павла Евграфовича это всегда задача,— тут же стал думать о письме Аси. Перечитывать его решил позже, после похода в санаторий. Когда сделает дело. После обеда. Пройти надо было немалый путь, километра полтора по асфальтовой дороге через весь поселок; можно идти и речкой, там дольше, зато есть скамейки и возможны краткие остановки с отдыхом. День затевался такой же, как предыдущие, жара несусветная. Черный пес Арапка, обычно сопровождавший Павла Евграфовича в путешествии, сегодня идти отказался: разморенный жарой, лежал в тени веранды и не двигался, хотя услышал знакомое звяканье.

— Не пойдешь?— спросил Павел Евграфович. Пес едва шевельнул хвостом, но даже морды, опущенной на лапы, не поднял. Тысячи молодых с музыкой, с шарами, в купальниках валили навстречу с троллейбусного круга на пляжи. Никого и ничего не замечал Павел Евграфович, думал о письме, и что-то вдруг недодуманное, не дочитанное до конца неприятно стало свербить. Чепуха какая-то. Чушь ничтожная, фразочка: «Не понимаю, почему написал именно ты». Отчего же не понимает? Глупо не понимать. Да и все письмо какое-то, прости господи, немного, что ли, старушечье, глуповатое.

Дни мои все более переливаются в память. И жизнь превращается в нечто странное, двойное: есть одна, всам-

делишная, и другая, призрачная, изделие памяти, и они существуют рядом. Как в испорченном телевизоре двойное изображение. И вот задумываюсь: что же есть память? Благо или мука? Для чего нам дана? После смерти Гали казалось, что нет лютее страдания, чем страдание памяти, хотел уйти вслед за ней или превратиться в животное, лишь бы не вспоминать, хотел уехать в другой город, к какому-нибудь товарищу, такому же старику, как я, чтобы не мешать детям в их жизни и чтобы они не терзали меня вечным напоминанием, но товарищей не осталось, ехать не к кому и некуда, и я решил, что память назначена нам, как негасимый, опаляющий нас самосуд или, лучше сказать, самоказнь, но через какое-то время, может, года через четыре или лет через пять, я почувствовал, что в страданиях памяти есть отрада, Галя оставалась со мной, ее неисчезновение продолжало приносить боль, но я радовался этой боли. Тогда подумал, память — это отплата за самое дорогое, что отнимают у человека. Памятью природа расквитывается с нами за смерть. Тут и есть наше бедное бессмертие. Я не знал, была ли жива Ася, моя соученица по пригодинской школе, подруга по Южному фронту, ее не было ни вблизи, ни вдали, нигде, ее засыпало и похоронило время, как рудокопа хоронит обвал в шахте, и теперь как мне спасать ее? Она еще жива, еще дышит спустя пятьдесят пять лет где-то под горючими сланцами, под глыбами матерой руды, в непроглядных, без воздуха катакомбах...

Она еще дышит. Но мне кажется, умерла. Первое, что вижу, вбежав в дом: неподвижная белизна на полу, груда чего-то белого, круглого. Ранний рассвет, сумеречная тьма, и я не могу понять, что на полу голый человек. Совершенно нагая женщина. Не сразу вижу, что это снеговое, застывшее странным горбом, вовсе не белое; оно грязное, в кровоподтеках, ссадинах. Но в темноте ничего, кроме белизны, и, когда притрагиваюсь рукой, холод. Подымаю женщину, кричу, зову, не откликается, несу ее на руках и пока еще не догадываюсь, кого несу. Потому что лицо запрокинуто, мертвое лицо. От тела женщины — запах сивухи. В какую-то секунду показалось, что смертельно пьяна. И очень тяжелая. Но потом вдруг — еще держу на руках, не знаю, куда нести и зачем,— страшная догадка и понимаю внезапно, кто у меня на руках. Все, все пони-

маю мгновенно, весь ужас того, что произошло ночью, и что теперь, спустя пятьдесят пять лет, кажется гораздо большим ужасом, чем казалось тогда. Были дни омертвения чувств. Слишком много смертей, насилий, сокрушающего напряжения, изо дня в день. Понимаю умом, что ужас, но понимание не леденит кровь, не подгибает колени, какие-то трезвые мысли в голове: «Достать спирт. Сначала согреть, если жива. Убили ребенка». И при этом удивление, тоже умственное: впервые в жизни держу на руках нагую женщину. И кого? Страшная мысль, еще страшнее первой, но ведь все перевернуто и искажено — мне восемнадцать лет, а я уже столько видел и столько познал. Ничего не видел, ничего не познал. Все это бредовое, секундное подавлено умственным ужасом, и вот колени мои действительно подгибаются от непомерной тяжести, и поверх всего злобное, ослепляющее: «Стрелять их всех, как волков!»

Тут вбегают люди, мигулинские штабные, сам Мигулин в рыжей бурке, хрипящий от бега, расталкивает каких-то, забежавших вперед. И Шура с ними. Мигулин выхватывает у меня из рук мою ношу, вырывает грубо, властно, бурку на пол, заворачивает в нее. Тогда впервые догадываюсь — по его лицу, по свирепым движениям... Бедный Володя! Но Володи нет. Той же ночью.

Зажгли свет. Навсегда запомнил, как возвращается жизнь: не глазами, не стоном, а икотой...

Это февраль девятнадцатого, станица Михайлинская. Северный Дон. Мигулин двумя кавдивизиями гонит красновцев на юг. Фронт в двухстах верстах южнее. А в Михайлинскую Мигулин прискакал с четырьмя сотнями, прознав о банде Филиппова. Опоздал на несколько часов. И мы бы с Шурой, не заночуй мы в Соленом, лежали бы теперь на снегу в темной крови. Володя и восемнадцать ревкомовцев, среди них четверо латышей из 4-го латышского полка и трое питерских рабочих, остальные местные, лежат на дворе друг на дружке, внакидку, уже застыли, руки-ноги вразброс. Все босые. Заиндевели мертвые лица, заиндевели голые, залубеневшие ноги, и темная кровь пятнами на снегу. Тошнотный на морозе запах крови. Налет был в полночь. Зарублены все, кто находился в ревкоме. А там как раз сидели допоздна, спорили яростно — нас с Шурой хоть и не было, но знаем, споры шли всю неделю,— как быть с заложниками. Под замком сидели человек семьдесят. Филиппов освободил всех. Ревкомовцам

скрутили руки, вытащили во двор и — по всем правилам казачьей рубки...

Женщина рассказывает: длилось минут десять, было слышно, вой стоял нечеловеческий. И старого казака Мокеича, семьдесят восемь лет, зарубили ни за что, спехом, просто за то, что сидел в ревкомовской избе, дремал. И мальчонку тринадцати лет, сына одного питерского, тот его повсюду таскал с собой. Так и лежит, вижу, рядом с отцом, обхватил отцову босую ногу. Сапоги содраны со всех. Вот Володя — зажимает рукой перерубленное горло. Рот открыт и перекошен уродливо, отчего Володя на себя не похож, но в глазах застыло его, Володино, отчаянное, заледеневшее навсегда изумление... «Как же можно невинных людей без суда, без следствия казнить?» Говорят, «рубачами» — теми, кто рубил ревкомовцев — вызвались быть заложники, кого Филиппов освободил. Не знали они, как Володя насмерть за них стоял, какой бой принял, как Шигонцев, Бычин и другие ревкомовцы его потрошили и клеймили, называли меньшевиком, «трухлявым интеллигентом», а Шигонцев сказал, что, не будь Володя «молокососом», он бы его предал суду, как в Ростове в восемнадцатом предал суду Егора, каторжанина и старого друга, за то, что тот распустил меньшевистские нюни. А теперь с перерубленным горлом и изумление в мертвых глазах. Я всегда чуял драму, кровь и внезапность в его судьбе. «Не понимаю, хоть убейте, как можно без суда, без разбора, лишь за принадлежность к казачьему сословию...» — «А вот из-за таких, как ты, революция гибнет!» — «Из-за таких, как ты!» — «Нет, из-за таких, как ты!»

Два свойства были ему присущи: изумление и упрямство. Он и к большевикам-то примкнул, внезапно изумившись идее. Я любил их обоих: его и Асю. Детство прошло с ними. Вот он лежит с перерубленным горлом, а Асю унесли в теплый дом, она будет жить, Мигулин возьмет ее к себе, она станет его женой.

А потом вот что: спустя год, Ростов, дом на Садовой, какая-то нелепая, холодная, полутемная зала нежилого вида, стекла выбиты, кое-как закрыты фанерой, а на улице мороз, небывалый для здешних мест, и я стою перед дверью в соседнюю комнату, откуда должна появиться Ася. Там что-то греется, оттуда тянет дымом. Вместо Аси выходит Елена Федоровна. Я столько раз бывал у них дома в Питере, пил чай в гостиной, где чу-

гунный рыцарь держал лампу на бронзовых подвесках, ел самодельное мороженое, пахнущее молоком, и Елена Федоровна говорила мне: Павлик. Она в пальто, голова закутана чем-то белым, наподобие чалмы. Узнать ее почти нельзя. Взгляд полон такого холода, что я отшатываюсь. Она не приглашает войти, не говорит «Здравствуй, Павлик!», смотрит злобными, в воспаленных веках глазами, то ли она больна, то ли плачет и произносит твердо: «Оставьте дочь в покое. Не измывайтесь над ней». Она давным-давно говорила мне «ты». Хочет затворить дверь. Но я успеваю вставить ногу между створками и кричу: «Ася!» Мне наплевать. Я все забыл. Кто такая Елена Федоровна! От меня все отскакивает: слезы, ненависть и то, что меня не называют больше Павликом и говорят мне «вы». Мне надо увидеть Асю, и, глядя поверх чалмы, я кричу громче: «Ася! Ты здесь?» Незнакомый голос отвечает из глубины дома: «Да!» Мне показалось, голос мужчины.

Я должен сообщить ей, что прошлой ночью в Богаевке арестован Мигулин вместе со всем штабом. Ася приподнимается на подушке, вытягивает шею, голова ее обрита после тифа, в каком-то цыплячьем пуху, в глазах смятение. «Что в Богаевке? Ничего не случилось?» На моей роже все написано. Но язык не поворачивается, и я лгу: «Ничего, тебе приветы, беспокоятся о твоем здоровье... Вот!» Вынимаю из сумки яйца, шматок сала. «И никакого письма? Как же так? Неужели ничего не написал?» Вот этого я не ожидал. Продолжаю врать: у него не было свободной минуты. И вообще ничего не было под рукой, ни бумаги, ни карандаша. «Что ты говоришь! — Она смотрит на меня со страхом и сожалением. — Павлик, что случилось? Я же знаю, он всегда ходит с полевой книжкой, такая желтенькая, глянцевитая, издательства «Воин»...» Что делать? Бормочу, бормочу. Ей нельзя ничего знать. Она ужасно плоха, и мать стоит в дверях и целится в меня щелевидными, набухшими глазками, вот-вот спустит курок. Но меня это совершенно не трогает. Я боюсь, что мать догадывается и, может, даже рада тому, что случилось, тем более молчу. Продолжаю вранье. Потом мне это не простится так же, как то, что в Балашове я был назначен секретарем суда.

Она не понимала, что я всегда делал то, что мог. Я делал лучшее из того, что мог. Я делал самое лучшее из того, что было в моих силах. И практически я

первый, когда появилась возможность, начал борьбу за реабилитацию. Да и в ту пору, пятьдесят пять лет назад, я делал, как секретарь суда, все, что мог. Я устраивал его встречи с адвокатом. А ее последнее свидание с ним? После этого она удивляется: «Не понимаю, почему написал именно ты».

Как странно, что я ее так долго любил. Она не понимала меня. И я, догадываясь о непонимании, мучаясь им, так долго не мог от нее освободиться. Даже в те времена, когда возникла Галя, в первые несколько лет, мы жили в Новороссийске, и я не мог забыть навсегда... Никогда не мог уйти от нее сам. И тогда, в Ростове, морозным февралем, когда все было сказано, все наврано и совершенно нечего было делать в той квартире, где тосковали о другом человеке, где ее мать меня ненавидела, я не мог заставить себя подняться и уйти.

Жгучая жалость к некрасивой, худой, с цыплячьим пухом на голове, со смертельным страхом — не за меня, за другого — в глазах, смотревших пронзительно и пусто, как смотрят на почтальона, на телеграфный столб, наполняет тяжестью и приковывает к земле. Я, как шахматная фигура со свинцом в ногах, не могу оторваться. Мне кажется, что-то еще будет сказано, что-то произойдет. А они чересчур хорошо воспитаны, чтобы меня прогнать, Елена Федоровна приносит чайник, мы пьем горячую бурду непонятного вкуса. Шматок сала немного смягчил Елену Федоровну.

Но начинается спор, не могло быть без спора, сначала рассказ со слезами о том, как умирал отец Аси Константин Иванович, в этой же квартире, в ноябре, как погиб старший Асин брат Алексей во время отступления добровольцев, как они бедствуют, нечем жить, все продано, Асина старшая сестра Варя зарабатывает тем, что дежурит у сыпнотифозных, а ее муж, литератор, сотрудничал в «Донской волне», теперь без всяких средств и не может получить абсолютно никакой работы, потому что относится к дворянскому классу паразитов, ему так и было объявлено в одной конторе: «Вы, как паразит трудящихся масс, получите самую тяжелую физическую работу. И скажете спасибо». Он бы сказал «спасибо», но и физической работы нет. На что же его толкают? Что он должен делать? Как жить? И какой он паразит, если с юных лет жил своим трудом, у него не было ни поместий, ни капиталов? Одна слава, что дворянин...

Вспоминаю, что сама Елена Федоровна может быть с полным правом отнесена к паразитам: у нее акции, ценные бумаги. Впрочем, сейчас, наверное, все пропало. Оттого и озлобление. Мама, видя мою привязанность к дому Игумновых, не раз говорила: «Ты все-таки не забывай, что Игумновы — типичные буржуа. Она очень богатая дама, а он из обслуживающего персонала». Богатая дама пьет бурду из жестяной кружки и сидит дома в шубе. Мне ее жаль, но не потому, что она все потеряла, голодает, а потому, что мать Аси. Стараюсь говорить с нею спокойно и веско. Ведь ни один общественный переворот не проходит без потрясений. Наивно предполагать, что имущие классы отдадут позиции без боя. А времена Робеспьера? Почитайте виконта де Брока. Любимое чтение мое и Шигонцева. Шигонцев приучил: чуть что — обращаться к истории.

«Но революция произошла три года назад!»

Приходится объяснять простые вещи: революция продолжается. Пока есть враги, революция будет продолжаться. «А враги у вас будут всегда!» Эта женщина слепа в своей ненависти. Она пострадала. Я понимаю. Но с человеком непримиримым разговаривать тяжко. Мне бы немедленно уйти, самое время, просто необходимо, но я, как глупая собака, привязанная к месту, не распоряжаюсь собой. Нет ничего долговечней и обманней детских любовей. Ну, что в ней было? Что осталось от девочки, когда-то поразившей насмерть? После всего, что с нею стряслось, что стряслось со мной, после Володи, после Мигулина, который годился в отцы... А на Садовой, хорошо помню, она ведь истинная уродка. И я ощущаю ее невероятную любовь к другому, о ком она думает, не видя меня, не слыша моих споров с матерью. Ей и говорить трудно, она молчит, слабо улыбается, иногда машет рукой на мать, протестуя, но мысли ее далеко и она чует несчастье...

А мы с Еленой Федоровной уже ругаемся вовсю, пошли резкости, употребляются слова «уголовники», «убийцы», «преступление». Елена Федоровна злорадно смеется: «Я столько наговорила, теперь можете меня арестовать. Предать суду трибунала. Так это называется? Ведь вы комиссар, Павел? Вы имеете право арестовать меня тут же, на месте?» — «Я не комиссар, Елена Федоровна». — «Нет, вы комиссар. Вы стопро-

центный комиссар, я вижу по вашему лицу, по тужурке. У вас комиссарская тужурка».—«Мама!— кричит Ася.— Он не комиссар!» Потом вдруг появляются Варя и ее муж, которого я вижу впервые. Они говорят, что в городе стрельба. Какие-то части добровольцев прорвались к предместьям, идет настоящий бой.

И правда, часа два уже слышны выстрелы, буханье орудий, но никто не обращает внимания. Все привыкли к этой музыке. Елена Федоровна с видом веселой безнадежности машет рукой. «Ах, все равно ваш верх! Отобьетесь...»— это мне и Асе.

Но Варя взволнованно возражает: «Нет, мама, что-то серьезное. На Садовой строят баррикаду. Господи, дай-то бог». Она крестится устало и похожа на монашку в своем длинном сером платье, закрытом до горла. Варя неприятная, фальшивая, она мне никогда не нравилась. Елена Федоровна знакомит: «Викентий Васильевич, литератор, ныне безработный по причине неудачной родословной... Павел, наш петербургский друг, ныне комиссар... Кстати, может помочь... Большие связи в комитетах... Не правда ли, Павел?»

Опять язвительности. Жалкие, бессильные. Муж Вари немногим старше меня, он бледен, худ, как и я, но всем обликом говорит о том, что другого мира, другого возраста, все другое. Бородка, усы, голос тихий, взор легкий, немужской, отлетающий пух какой-то, а не взор. «Благодарю, не беспокойтесь,— говорит тихим голосом.— Я совершенно доволен своим положением».—«Да как же вы довольны?— восклицает Елена Федоровна.— Вам хлеб не на что купить! У вас башмаков нет!»—«Нам с Варей достаточно. Я ни о чем не прошу. Человек, умевший услышать внутренний голос, не нуждается в том...»— далее странный лепет, похожий на бред, на проповедь религиозника, толстовца о каком-то Обществе Истинной Свободы в память Льва Толстого, о делании добра, о курсах свободно-религиозных знаний, где он только что читал лекцию, и еще, бог ты мой, о каком-то вновь созданном «Бюро защиты противников насилия»...

«Но вы обивали пороги советских учреждений? И вам было отказано?— выкрикивает Елена Федоровна, глядя на зятя гневно.— Или уж и это хотите отрицать?»

«Да, обивал пороги. Но делал это для вас».—«Ах, делали добро для меня? Что вы сегодня ели, несчастный человек?» Странная личность объясняет: на

курсах в качестве гонорара дали тарелку перловой каши и чашку кофе.

Между тем стрельба усилилась. Снаряд грохнул рядом, лопнуло и посыпалось со звоном стекло в соседней комнате. Теперь уж мне и подавно надо бежать, но я медлю. Представить себе не могу такую дикость — деникинцы в городе. Ведь фронт далеко. И положение Деникина незавидное. Куда ему пускаться в авантюры? Однако пустился, рискнул, генерал Гнилорыбов, прорвав фронт, достиг ростовских окраин и завязал бой в городе. Я ничего не знаю, поэтому спокоен. Стрельба — уничтожают какую-нибудь банду. Происходит ежедневно. Артиллерийские залпы немного настораживают, но не настолько, чтобы я тут же бросился на улицу.

«Господи, господи...— шепчет Варя, стоя у окна, мелко, быстро крестясь.— Хоть бы, хоть бы, хоть бы...» Елена Федоровна приказывает: «Варвара, отойди!» Все взвинчены, теперь очевидно — самый настоящий бой. Битва за город. На улице кричат. Внезапно озаряется небо, желто-розовый свет наполняет комнату — горит соседний дом. Нам дома не видно, но зарево полыхает рядом. И слышно, как трещит дерево, что-то глухо ударяется о землю, кричат люди. Запах гари вползает в комнату. Вдруг Варя кричит: «Я вижу русское знамя! Несут русское знамя!»

Все подбегают к окну, я подхожу к Асе, чтобы проститься. И она, схватив мои пальцы горячей рукой, шепотом спрашивает: «Павлик, скажи правду, с Сергеем Кирилловичем беда? Он погиб? Фронт прорван?» Я не знаю, что случилось вчера и позавчера. Утром третьего дня на линии, которую занимает корпус, было полное спокойствие. Деникин мог пробить фронт южнее. «Но с ним беда! Я чувствую. Я вижу! Что-нибудь из-за убийства Шигонцева?»

И я мгновение колеблюсь: может, все-таки надо сказать? Ее мать, умеющая соображать быстро, говорит: «Придут добровольцы и узнают, что здесь жена Мигулина. Что они с нами со всеми сделают, как вы думаете?»—«Господи, да пусть делают что хотят!» Варя внезапно начинает рыдать.

Ни сказать, ни решить что-либо, ни уйти не успеваю. В комнате появляются совершенно неожиданно, как в театре, будто выпрыгивают из-за кулис, три человека: офицер и два солдата. Офицер бросается к Еле-

не Федоровне, объятия, слезы. Какой-то старый знакомый. Тут же рассказывает — кажется, для того и прибежал — о том, как погиб Алексей. Солдаты подходят к окну, один хладнокровно, мощным ударом вышибает прикладом раму, рама летит на улицу, внизу звон, солдаты устраиваются на подоконнике и открывают стрельбу. Но стреляют недолго. Непонятно, что они там видят — улица полна дыма. В тужурке у меня «смит-и-вессон», я спокоен. Держу руку в кармане. Вот это отчетливо и замечательно помню: я спокоен. Не знаю почему. Может, потому, что тут Ася. Мы вместе: она и я.

Офицер смотрит на меня сначала беглым, потом все более внимательным взглядом. Он небрит, желтолиц, желтоватые белки воспаленных глаз. Его взгляд меняется в течение двух секунд. Насторожила кожаная, «комиссарская» тужурка и, наверное, что-то еще: может быть, то, что в моем лице нет ни радости, ни волнения. Елена Федоровна и Варя плачут, обняв друг друга.

«С кем имею честь?»— спрашивает офицер, не вставая со стула, но всем телом, глазами и рукою, сжимающей эфес шашки, подавшись ко мне. Я вижу внезапно засиявшие очи поборника Истинной Свободы. Викентий Васильевич не может скрыть сладострастной улыбки. Но мать Аси говорит сквозь слезы: «Это Павлик, наш друг...»

Через два дня деникинцев вышибают из города. Когда это было? В феврале. Стояли морозы. Утром я шел через Темерник и видел трупы, побелевшие от ночного мороза. В конце февраля двадцатого года.

Шигонцева убили в январе. Нашли зарубленным, с простреленной головой в балке неподалеку от станицы, где стоял штаб корпуса. После Новочеркасска начались неудачи, топтались на Маныче в бесплодных попытках закрепиться на левобережье, время упущено, все злое, враждебное Мигулину зашевелилось в эту паузу, и вдруг — Шигонцев зарублен. Он появился недавно. Третье появление Шигонцева. В первый раз — январь восемнадцатого в Питере после долгих мытарств, после Сибири, Австралии, Дальнего Востока. Затем на Дону в девятнадцатом, теперь третья встреча. И всякий раз он другой. Теперь он нервный, желчный,

больной, кашляет постоянно. «Тебе лечиться надо,— говорит Мигулин миролюбиво.— Ты гнилой ужасно, ты дохлый насквозь. Куда тебе на фронт?»

Но Мигулин редко миролюбив, чаще напряжен, подозрителен, груб. В первый миг, увидев Шигонцева с ординарцем во дворе штаба, узнав его и слегка опешив — телеграмма от РВС фронта о назначении комиссара пришла накануне, но Мигулин не связал фамилию Шигонцева с тем человеком, с которым жестоко лаялся в девятнадцатом году, в пору лютованья «Стального отряда»,— а кроме того, придя в ярость от неловко напыщенного, отнюдь не казачьего вида Шигонцева, который сидел на коне мешком, кривясь набок, Мигулин прохрипел насмешливо: «А, наше почтение! Старые знакомые!» По черной бороде, угольному взору из-под мохнатых бровей принял Шигонцева за нерусского. И весь первый день полон скрытых насмешек, ехидства, на что Мигулин горазд. Слышу я и бешеную, гневную ругань, но не в присутствии Шигонцева, а при своих, в штабе: «Зачем же такое делают? Нарочно, что ли? Хотят меня извести?»

Суть в том, что давние счеты. По девятнадцатому году. А может, того давнее. И, конечно, Мигулин оскорблен: прислан человек, бывший некогда неуступчивым и злобным противником. Я так и не смог узнать, было это сделано намеренно или же простая корявость, спешка. Потом, когда между Мигулиным и Реввоенсоветом вскипела резкая телеграфная брань, отступать тем было негоже. И они уперлись. «Реввоенсовет не видит причин замены комиссара. Вопрос не подлежит дальнейшему обсуждению». Что-то в этом духе, крайне обидное принял наш телеграфист Петя Гайлит. К тому времени воздух сух и трещит, насыщенный электричеством.

Помню всполошной крик казака на рассвете: «Комиссара вбилы!» Мгновенно догадываюсь, и мгновенно мысль: «Это убили Мигулина». На улице наталкиваюсь на Асю, она бежит куда-то простоволосая, неизвестно куда, в минутном безумии, бежать некуда. Мигулин ночевал тогда верстах в шести, на Дурной Поляне, на хуторе — все подробности ночи помню досконально, они стали роковыми,— и Ася, набежав на меня в потемках, падает прямо мне в руки, будто только и бежит за тем. «Ты понимаешь, что это значит?» Я понимаю. Крепко держу ее, она трясется, хотя в теплой до-

хе внакидку, от холода ли трясется, от ужаса — я отчетливо помню, что и я начинаю дрожать...

Да ведь был стариком! Сорок семь. А ей девятнадцать. Сорок семь, бог ты мой, возраст изумительной и счастливой зрелости казался мафусаиловым, потому что самому почти девятнадцать. Это почти — пытка. Во все времена. И особенно в детстве. В те сумерки, когда я обнимал ее на январском рассвете, дрожащую, с потемневшим лицом, обугленную ударом молнии, я испытывал острейшее ощущение, столь сильное, что дотянулось до сего дня, озноб души: жалость к ней, страх за нее. Это и было, называемое любовью. Но никогда не говорил о ней. Все запуталось. И я не помню, что испытал в ту секунду, когда возникла мысль: это убили Мигулина.

Первая военная осень, туман, Петербург, после уроков идем всем классом в госпиталь на 22-й линии, нам четырнадцать лет — ей исполнилось, а мне еще нет, скоро исполнится, но недостаточно скоро, я мучаюсь, мне кажется, что все мои беды происходят от этого «почти», она со мною небрежна, плохо слушает, убегает из класса, когда я прихожу к Володе, и все от проклятой нехватки месяцев: она не может быть внимательна к тринадцатилетнему мальчику в то время, когда к ней пристают пятнадцатилетние. Нет, мне надо поскорее с нею сравняться, пускай ненадолго, на какие-нибудь полгода, но зато уж эти полгода будут мои. Мы идем нашей невзрачной Пятнадцатой линией, мимо лавок, серых домов, и я страдаю от ее равнодушия. Она разговаривает со всеми, смотрит на кого угодно, на собак, на идущих навстречу маленьких гимназистиков, но не на меня. Хотя я рядом, ее рука в перчатке иногда бесчувственно задевает мою руку. Мне не трудно пристроиться к ней поближе, потому что всем известно, что я товарищ Володи, а они брат с сестрой. Правда, двоюродные. Но живут в одном доме, в одной квартире, Володя в семье Игумновых как сын. Его мать в Камышине, отец за границей, непонятно где, о нем не говорят, может, он оставил Володину мать, сестру Елены Федоровны, а может, какой-то анархист, беглец, помню сказанное о нем вскользь: «Без царя в голове». Моя тяга к Володе — не просто дружба, но и вот это общее, о чем никогда не говорим с ним. Безот-

цовщина. Ведь и у меня где-то отец. И у него с мамой что-то произошло. И мне порой становилась до чертиков ясна жизнь Володи в доме Игумновых — в доме милом, куда я любил ходить, где было суматошливо, толкотно, шумно, уютно, доброжелательно, где подтрунивали друг над другом, где придумывали для собственного услаждения разные веселые занятия, игры «в монетку» или «в слова» или вдруг от мала до велика увлекались лепкой, ходили с перепачканными руками, полы в комнатах заляпывались, пахло сырым гипсом, все друг с другом страстно соревновались, устраивался домашний конкурс, и Константин Иванович приглашал судьей знаменитого скульптора, который лучшей работой признавал какую-нибудь чепуху, слепленную прислугой, Милдой,— в доме, где все было почти родное, почти собственное, где так добры к Володе были почти отец и почти мать. Он, как и я, страдал от почти. Володя и Ася были необыкновенно дружны. Если с Варей Ася нередко ссорилась из-за всякой безделицы, как это бывает между сестрами, иногда до легких потасовок, с очень злобным выражением лиц, я видел однажды, как они били друг друга веерами — не сильно, но вдохновенно,— а со старшим братом Алексеем была и вовсе далека, то с Володей ее связывала непостижимо глубокая дружба. Мне казалось, тут нет ничего запредельного. Дружба двух очень хороших людей. В жизни такая редкость! Я верил этому долго и был спокоен. Гораздо больше меня тревожил солдат Губанов. Все начинает выскакивать из памяти, когда приступаешь к раскопкам, и оказывается, ничего не пропало. Память — склад ненужных вещей, чулан, где до поры, пока не выкинут окончательно, хранятся пыльные корзины, набитые старой обувью, чемоданы с отбитыми ручками, какие-то тряпки, зонты, стекляшки, альбомы, куски проволоки, одинокая перчатка и пыль, пыль, густая, вялая, пыль времени. Вот сохранилась фамилия солдата, мелькнувшего на пороге жизни. Легко раненный под Сувалками солдат Губанов. Он покоится, как алмаз, в невообразимой пыли.

Уже не первый раз мы идем в госпиталь на 22-й линии. У нас своя палата на пятом этаже. В мешках несем подарки: яблоки, конфеты, папиросы, четвертку чаю, бумагу и карандаши. Как только появляемся в коридоре на пятом этаже, солдат Губанов кричит радостно: «Посвятители пришли!» Никак не может запом-

нить, что мы не посвятители, а посетители. «Эй, беленькая! Анюта! Родимая!— горланит Губанов.— Поди сюда, дочка!» И нахально сгребает Асю длинными руками, тянет к себе, сажает на колени, как настоящий отец. Что ж удивительного? Она самая улыбчивая, самая красивая. Вся такая плотная, ладная, спелая, белобрысая, не похожа на бледных питерских барышень, она — как девчонка с мызы, чухоночка, дочь молочницы. С белыми ресницами. Красота Аси представляется мне такой же несомненностью, как, к примеру, ценность первых английских марок с королевой Викторией. И, конечно, люди эту красоту видят и на нее посягают. Я не могу оградить, потому что не имею права. С чего бы? Да и дурного солдат Губанов не делает, я лишь чувствую — и все чувствуют — в его повадках какую-то гадость.

Солдат Губанов читает вслух сочинение, которое писал несколько дней с помощью Аси: «Сражение под Сувалками». Мы задумали издать журнал, каждый должен помочь одному раненому написать воспоминание. У меня тоже есть подопечный, но он туг, неразговорчив, не желает ничего вспоминать, бормочет угрюмо: «Какой интерес описывать, когда по живому бьют?» Зато Губанов, проворный и исполнительный, написал почти самостоятельно несколько страниц. Одной рукой переворачивает страницы, читая, другой держит Асю у себя на коленях. Я вижу, что ей неловко, стыдно, она уже не маленькая девочка, она барышня, из тех, о которых говорят «в теле», и теперь она делает деликатные попытки освободиться от руки солдата Губанова, но ничего не выходит. Губанов поймал ее и держит крепко. На первых страницах описывается бой, ранение, как он добежал до своего окопа, там был штабс-капитан, который спросил жалким голосом «Ранен, брат?» и «Где твой бинт?», и другие подробности. Я смотрю на Асю, думая напряженно: как ей помочь? Что бы такое сказать солдату Губанову? Он герой, и Ася не хочет его обидеть. Но, хоть и герой, он скотина. Я его ненавижу. Дальше он читает, как раненых привезли в Петроград, как все ему в Петрограде понравилось: трамвай, госпиталь, сестрицы, мягкие тюфяки, белая простыня, хорошие умывальники. «Очень, очень хорошо принимали. Утром сестрицы приходят и здравствуются. Еще напоминаю, нас хорошо вымыли в бане. Когда вымоешься, сейчас надевали чистые рубахи, и кальсоны, и носки». Мне кажется, что все это глупо и не годится для нашего

журнала. Но все слушают, раненые тоже слушают, Губанов продолжает читать и правой рукой, которой обхватил Асю, поглаживает и похлопывает ее, как будто она его собственность. «А девятого октября нас посетил какой-то человек из правления книжного склада высочайшего утверждения,— читает Губанов, делая особое ударение на последних словах,— и дарил нас псалтырями и евангелями...»

И вдруг Володя подходит к Губанову, сидящему на койке с Асей на коленях, и молча отгибает его руку, держащую Асю. И Ася, освобожденная, вскакивает и отбегает от своего истязателя. А солдат Губанов, будто и не заметил ничего, продолжает читать. Володя поразил: есть минуты, когда не нужны слова, нужно просто подойти и действовать.

Володя поражает меня часто. Его поступки невозможно предвидеть. А та история с крысой, взволновавшая школу. Была замечательная школа совместного обучения, мне повезло, лучшая на Васильевском острове да, наверное, в целом Питере, ее называли пригодинской по имени Николая Аполлоновича Пригоды, основателя, директора, энтузиаста, поклонника Томаса Мора и Кампанеллы, он преподавал историю, его жена Ольга Витальевна — биологию. Странные люди! Им ничего не было нужно, ничто их не занимало в жизни, кроме школы и учеников. Школьные советы, введенные после февраля семнадцатого, в пригодинской существовали много раньше. Все решалось голосованием. Ольга Витальевна просила принести крысу, надо было разрезать, учиться анатомии. Кто-то обещал поймать, долго не удавалось, наконец принесли. Вся школа знала, что в этот день в нашем классе будут резать крысу, живую, мальчик принес ее в клетке и почему-то сказал, что ее зовут Феня. Он сам и вызвался резать. Внезапно на урок приходит депутация из старшего класса, во главе Володя.

«Мы не хотим, чтобы в нашей школе убивали живое существо. Нам жалко Феню». Одни кричат — жалко! Другие — резать! Начинается страшный спор. Помню, Ольга Витальевна этот спор еще более разжигает. Заявление о том, что крысу зовут Феней, оказывается роковым. Крыса перестает быть просто крысой, она становится индивидуальностью. К ней присматриваются. Она ведет себя, как Феня. На собрании произносятся пылкие речи и, забыв о крысе, которая скромно ждет решения своей участи, рассуждают о науке, об истории, о гильотине, о

Парижской коммуне. «Великие цели требуют жертв! Но жертвы на это не согласны! А вы спросите у крысы! А вы пользуетесь ее немотой, если бы она могла говорить, она бы ответила!» Наконец решаем голосовать. Голосует не только наш класс, крысиный вопрос взбудоражил всю школу. Крыса помилована. Володя торжественно выносит клетку во двор и в присутствии всех выпускает несостоявшуюся жертву науки на свободу. Волнующая минута! Особенно возбуждена Ольга Витальевна, да и мы догадываемся, что дело касается не крысы, а чего-то более важного. Немного омрачает настроение финал: наша Феня, оказавшись на воле, сбита с толку и зазевалась, и ее тут же хватает какой-то пробегающий по двору кот...

Зима в Сиверской, сухой снег летит облачком с сосен, финские сани несутся вскачь под уклон, поворачиваясь полозьями, отчего надо крепко держать рукоятку, а на веранде дачи Матисена, лесника, развешаны гирляндою разноцветные ледяные бочонки... Мы живем третью зиму у Матисенов. Недалеко от нас живут Игумновы. У них свой дом. Ася соскальзывает на повороте с сиденья финских саней, кажется, они называются «потткури», слетает с «потткурей» головою в сугроб, я барахтаюсь в снегу на другой стороне. Обледенелая дорога блестит фарфоровым блеском. Асина красная шапка отлетела далеко, а ее замечательно толстая красная фуфайка в бело-черных полосах — куплена в шведском магазине для спорта, называется «sweater» — вся в снегу, и Ася хохочет как сумасшедшая... Ее смех меня иногда пугает. Мне кажется, она смеется для кого-то, зачем-то... А ледяные бочонки делают так: в чашки наливают подкрашенную воду, опускают веревочку... Отец Аси Константин Иванович купил автомобиль, но зимой в Сиверскую приезжать опасно, однажды он застрял, вытаскивали лошадьми. В окрестностях Сиверской — так рассказывают — бродит шайка некоего Грибова, дезертира, его ловят несколько месяцев, не могут поймать. Какая же это зима? Рождественские каникулы, мама работает уже не в статистическом управлении, а в издательстве корректором, надо ездить в Питер за работой, привозить тяжелые пачки, и я хожу на станцию ее встречать. Еще и потому, что «Грибов шалит». Никто этого Грибова живьем не видел, но рассказывают о нем всякие ужасные небылицы. Особенно, говорят, Грибов ненавидит фараонов, финансовых служащих и лифляндских помещиков. Эти три разряда

людей ему крепко насолили в жизни, он поклялся им мстить. Грабит богатые дачи, а бедных не трогает. В ту зиму я с упоением читаю тоненькие книжонки про Ника Картера и Джона Вильсона и представляю себя одним из них — в схватке с Грибовым...

Но вот сталкиваюсь с ним лицом к лицу. Происходит это под вечер на лесной дороге, куда мы вчетвером — я, Володя, Ася и недавно вернувшийся из Сибири мамин брат Шура — приехали кататься на лыжах. Шура! Тогда я к нему еще присматриваюсь. Он меня занимает. Александр Пименович, или Шура, как зовет его мама, человек нестарый, лет тридцати, но весь какой-то закопченный, обугленный, с пятнами и шрамами на лице, голова у него бритая, седая, и очки в стальной оправе. Мама говорит, что он изменился. Они не виделись много лет. Шура — революционер, но какой именно и чем прославился, неизвестно, спрашивать нельзя, эти правила я хорошо знаю. У нас в доме иногда появляются таинственные личности, и я учен, как с ними себя вести. Все же кое-что мне не терпится у мамы выпытать. Какая у Шуры профессия? Революционер. Я понимаю, но профессия какая-нибудь есть? Профессиональный революционер. А до того, как стал революционером? Был им всегда. Сколько я его помню. Учился в церковноприходской школе, мальчишкой, и уже тогда... Постепенно узнаю: дружинник в первую революцию, ссылки, побеги, убийство караульного, каторга. В Питер Шура приехал не как Александр Пименович и не как Данилов, а как Иван Спиридонович Самойленко, и это меня не удивляет. Мама тоже носит чужую фамилию и чужое имя. Все считают, что она Анастасия Федоровна Меркс, мещанка города Ревеля, а она Ирина Пименовна Данилова, по мужу Летунова, крестьянка Новгородской губернии.

Стоим на горе и собираемся катиться вниз, Ася трусит, хохочет, отказывается, говорит, что снимет лыжи и будет спускаться пешком, мы ее подзадориваем, и вдруг трое в полушубках появляются из-за сосен.

«Здравствуйте, господа лыжники, не пугайтесь,— говорит один.— Я Грибов». Они тоже на лыжах. Незаметно подкрались. Мы ошеломлены. Я смотрю на Грибова: ничего страшного в его облике нет, молодой, в темной бородке, очень краснолицый, на нем меховая шапка с опущенными ушами, с козырьком, в каких ходят финны. Смотрит Грибов довольно добродушно и даже будто улыбается. «А, Грибов! — говорит Шура.— Здравствуй,

брат...» Я слышу скрип палок, шорох лыж, оглядываюсь — Володя несется вниз. Вот хлопнул лыжами, подскочив на трамплине, вот промчался между сосен, повернул направо, замелькал в чаще, исчез. «Лихо!» — говорит Грибов, а один из его спутников свистит по-разбойничьи.

Шура подходит к Грибову, они тихо о чем-то разговаривают. Потом трое прощаются и уходят, а мы идем домой. На поляне ставим дощечку в виде мишени — Шура стреляет из браунинга. Дает пострелять мне и Асе. У Шуры неважное зрение — ухудшилось в тюрьме после побоев,— и он долго, тщательно целится.

Гильзы с шипением погружаются в снег. Я их собираю зачем-то, они теплые. Наступают сумерки, стрелять больше нельзя. Мы идем домой, стараясь не говорить и не думать о Володе. То, что с ним случилось,— катастрофа. «Неужели струсил?» — спрашивает Ася шепотом. Ничего не могу понять. В ее голосе изумление, но еще более мы изумлены тем, что произошло на наших глазах: Шура и Грибов разговаривали как два добрых знакомых. Очень хочется разузнать у Шуры про Грибова, но я молчу, помня завет матери: вопросов не задают. Спустя три года, когда мы с Шурой мотаемся в вагоне по России, проводим целые ночи вдвоем, я узнаю: через Грибова добывали оружие. Вскоре Грибов погиб, убитый стражниками на границе.

Приходим на дачу Игумновых в полной темноте. Нас с Шурой оставляют ужинать. Какой вкуснейший, горячий, спасительный чай! Как тепло и уютно на этой даче, пахнет сигарою Константина Ивановича, горящими свечами, гудят печи, потрескивает дерево... Володя сидит за столом, понурив голову. Я его понимаю. Вообще-то, думаю я, надо обладать порядочной выдержкой, чтобы после того, что он отколол, сидеть тут и пить чай, хотя бы и с таким каменным выражением лица. Чаепитие длится мирно, Константин Иванович расспрашивает Шуру о Сибири, но осторожно, не давая понять, что знает, что́ Шура в Сибири делал, речь идет о промыслах, нравах населения, говорят о войне, о старце, о том, что Германия истощена, об эпидемиях, шпионах, взятках, участившихся грабежах и насилиях, о чем Константин Иванович как юрист знает доподлинно... Внезапно Ася весело и беспечно — я-то уверен, что без умысла, вот именно беспечно, по глуповатой доброте — говорит Володе: «Жалко, Володя, что ты убежал, разбойник-то оказался

очень милый!» Какой разбойник? Кто убежал? Начинаются расспросы, мы кое-как, умалчивая о главном, рассказываем про Грибова, Володя вдруг вскакивает с пылающим лицом — он краснел почему-то верхом лица, лбом и глазами — и выбегает из комнаты.

«Что произошло?» — спрашивает Елена Федоровна шепотом.

«Вот так же унесся стремглав... Когда появился Грибов...»

«Ах, струсил?» — В глазах Алексея огонек злорадного удивления. Ася смотрит испуганно. Она огорчена, не знает, как быть: пойти за Володей или защищать его здесь? Я высказываю предположение: стоял на спуске, на очень раскатанной лыжне, одного движения достаточно, чтобы скользнуть вниз и там уж без остановок. Но почему не вернулся? С Грибовым разговаривали четверть часа, не меньше. Господа, да что такое, в сущности, трусость? Мгновенное затемнение сознания. Тут, если хотите, повод для невменения. Я порываюсь пойти за Володей, но Елена Федоровна говорит: не надо.

«С юридической точки зрения,— говорит Константин Иванович,— трусость почитается настолько свойственной человеку... Как писал Таганцев, нельзя наказывать за то...» — «Но проявление трусости в военных условиях?»— «О, да, уклонение от опасности признается уголовно наказуемым...» А Шура говорит: у каждого человека бывают секунды прожигающего насквозь, помрачающего разум страха. Мгновение — и он уже покатился с горы, не мог остановиться, не мог вернуться, не мог смотреть нам в лицо, не мог жить. Нельзя все в мире определять законами и параграфами. Нет, можно. Более того — нужно. В этом залог прочности мира. Гнилое общество вы называете прочным миром? Оно гнило как раз оттого, что законы мало что определяют. Они чересчур слабы. Черт возьми, да все валится у нас на глазах! Этот храм рассыпается, а вы говорите о каких-то законах! Только законы могут его спасти. В таком случае, мир делится на две категории: то, что подсудно и что неподсудно. Куда вы денете все остальное? Ничего остального нет. Ну как же, хотя бы суд собственной совести. Ведь момент трусости может быть пожизненной казнью. Объясню на примере, говорит Константин Иванович, великую силу законов. Вот, скажем, Володя струсил. В острый момент, когда вы столкнулись в лесу с преступниками, он сбежал. Слава богу, кончилось благополучно,

преступники не нанесли вам вреда. Но коли бы произошло несчастье...

На этих словах появляется Володя в пальто, в шапке. Может быть, все слышал. Никогда не забуду его лица: какое-то серое папье-маше с остановившимся взором. Ни на кого не глядя, произносит в пространство: «Уезжаю в город, прошу никого не следовать за мной. Если кто-нибудь увяжется, я буду стрелять...» — и показывает пистолет.

Спустя несколько минут, когда прошло ошеломление, мы бросаемся за ним. Но в саду и на дороге полный мрак. Он исчезает. На станции его тоже нет. Через четыре дня пришла телеграмма из Камышина, от матери. Но эти четыре дня...

У каждого было. И у меня тоже. Миг страха, не физического, не страха смерти, а вот именно миг помрачения ума и надлом души. Миг уступки. А может быть, миг самопознания? Но после этого человек говорит: один раз я был слаб перед вами, но больше не уступлю никогда. В двадцать восьмом году. Нет, в тридцать пятом. Галя сказала: «Я тебя бесконечно жалею. Это не ты сказал, это я сказала, наши дети сказали». Ей казалось, все делалось ради них. Помрачение ума — ради них. Теперь Гали нет. А дети — есть они или нет? Петр, который отрекся в Гефсиманском саду, не имел детей; зато потом заслужил свое имя Петрос, что значит «камень», то есть «твердый».

И Володя много раз после того полудетского страха, или, будем говорить, мига слабости поражает редким присутствием духа в роковые минуты. А летом семнадцатого на Лиговке? Случайно и дико вляпались с ним в какое-то монархическое сборище. Зашли в аптеку, я спросил рицинового масла, аптекарь, ни слова не говоря, тащит нас в заднюю комнату, распахивает дверь в коридор и, толкая в спину, шепчет: «По лестнице вниз! Скорее, уже началось!» В подвале человек сорок, внимательно слушают осанистого господина, который сыплет какими-то цифрами, именами, говорит возбужденно и то и дело со злобой: «эти предатели» «иуды русского народа», «так называемое правительство». Если бы просто спросить касторки, нам бы дали коробочку, и мы бы спокойно ушли. «Рициновое масло» оказалось паролем. Такая кровавая чепуха могла быть только в те дни. Корнилов еще не выступил, но какие-то люди знали и ждали. Нас чуть

не застрелили в подвале, Володя разбил лампу, и мы скрылись в потемках...

А первые дни — март, пьяная весна, тысячные толпы на мокрых, в раскисшем снегу петроградских проспектах, блуждание от зари до зари втроем: Володя, Ася и я... И полная свобода от всего, от всех! В школу можно не ходить, там сплошные митинги, выборы, обсуждение «школьной конституции», Николай Аполлонович вместо лекции о великих реформах рассказывает о французской революции, и в конце урока мы разучиваем «Марсельезу» на французском языке, и у Николая Аполлоновича на глазах слезы. Мама проводит дни неведомо где, то в издательстве, где печатают всякие списки, программы, платформы, то в Таврическом, то ездит к морякам, я ее совсем не вижу и часто ночую не дома, потому что мама не приходит домой, а у Игумновых, в Володиной комнате на топчане. Там очень удобно. Всю ночь с Володей разговариваем или играем в шахматы. И Ася рядом, за стеной! Но тут-то и мука.

Вдруг утром бежит в халате по коридору и вскрикивает рассеянно: «Ой, Павлик! Я и забыла...» Постоянно забывает, что я здесь. Но я не забываю про нее ни на минуту. Странные отношения в этом доме: все дружны и, однако, немного равнодушны друг к другу. Вечерами вдруг разбредаются кто куда. Но могут и собраться вместе, и страшно веселиться, шутить, дурачиться. Константин Иванович слегка поддразнивает Елену Федоровну, Алексей поддразнивает Володю и Асю... Ася закрылась в ванной, Володя мнется в коридорчике, ожидая, когда ванная освободится, вдруг Алексей нагло стучит в дверь и даже приоткрывает, говоря: «Родному брату можно, а ты, двоюродный, изволь подождать». Вижу, как Володя темнеет лицом. Он единственный в доме, кто не очень расположен к шуткам. Все воспринимает слишком, с болью, всерьез. Константин Иванович и Елена Федоровна, да и Ася с Варей и Алексей относятся к тому, что происходит в городе, не то что иронически, но как-то полушутливо, полупугливо, а в общем-то, как к большой игре. О да! Добрые, недалекие... А я живу, как во сне. Все вокруг меня — шумный, обволакивающий, затягивающий куда-то сон. Асе уже шестнадцать лет, а мне еще только пятнадцать, и она отрывается все дальше, все безнадежней. Вот ее приглашает товарищ Алексея, студент, на какой-то вечер «поэзо-танца» в клуб «Ланселот» на Знаменской, нас с Володей туда не берут, вот какой-

то юнкер катает ее в отцовском автомобиле... Но это, кажется, летом... А в марте ничего, кроме бесконечного бега, толпы, перестрелок, новостей, ужаса и восторга. Все орлы на решетках дворца обмотаны красной материей. Повсюду красные флаги. На крепости тоже красный флаг. У департамента полиции горят бумаги, улица усыпана пеплом. В доме Игумновых организован домовый комитет, чтобы осмотреть все квартиры, чердаки, не прячутся ли городовые. Константин Иванович выбран председателем. Он ходит с большим красным бантом. Игра, игра! И наш Шура теперь большой человек — комиссар рабочих депутатов на Васильевском острове. Его никто не называет Шурой, он — Иван Спиридонович Самойленко, мученик царской каторги. В конце марта похороны жертв революции, невероятная жижа и грязь, улицы не убираются, каждый день огромные толпы месят грязь, разбрызгивают, превращают в лужи сырой снег, мы идем в длинной процессии к Марсову полю, на Нижегородской присоединяется какой-то завод, потом фельдшерская школа, меньшевики, украинцы, пожарные, какой-то запасной полк, гробы, обмотанные красной материей, выплывают из Военно-медицинской академии; идем дальше, по Литейному мосту, мимо сгоревшей «предварилки», красные и черные флаги вывешены на домах, на Невском стоим часа два, отовсюду поют «Вечную память» и «Вы жертвою пали...». Какой-то человек в черном пальто вскакивает на гранитный цоколь парадного крыльца и, обхватив одной рукою фонарь, а другой сорвав с головы шляпу и размахивая ею, кричит: «Друзья! Мы должны пропустить Петроградский район! Проявляйте выдержку и имейте терпение, друзья! Сегодня день великой скорби и великой свободы... Нет страны в мире, друзья, более свободной, чем Россия сегодня...» И еще что-то рваное, отчаянно громкое, медленно поворачиваясь всем своим черным, гнутым телом, и я вижу обугленное, в седом бобрике, в сверкающих сталью очках лицо Шуры.

Мигулин вырвал Асино тело из моих рук так властно, с грубой поспешностью, будто отнимал с в о е, я догадываюсь об этом позже. И весь этот внезапный рейд для спасения ревкома, хотя и неуспешный... Почему не выслать четыре сотни под командой кого угодно? Поскакал сам. Я увидел искаженное горчайшей мукой лицо старика — темные подглазья, впавшие, в черно-седой щетине щеки и в страдальческом ужасе стиснутые морщины лба...

Когда Шигонцев подошел и со злорадной, почти безумной улыбкой спросил: «Как же теперь полагаете, защитник казачества? Чья была правда?» — Мигулин отшатнулся, поглядел долго, тяжелым взглядом, но того, каторжного, взглядом не устрашить, и ответил: «Моя правда. Зверье и среди нас есть...» А Володя — на снегу с перерубленным горлом.

Потом, в апреле — уже после Финляндского вокзала, встречи Ленина, дворца Кшесинской, куда меня протащил Шура,— уже в тепле, в весне мы с Володей и Асей болтаемся по городу и заняты делом: собираем на Совет рабочих депутатов. Часа за три собрали шесть рублей. Ходим, пока держат ноги, на улицах все та же сумятица, неразбериха, жутковатая качка толпы, митинги, драки, стрельба. Вижу, по Невскому идут вооруженные рабочие завода Парвиайнена со знаменем: «Долой Временное правительство!» Им навстречу с Литейного сползает демонстрация студентов, офицеров, каких-то хорошо одетых дам, несут знамя: «Да здравствует Милюков и Временное правительство!» С крыши бросают камни. Непонятно, в кого. Две демонстрации вязнут друг в друге, вскрикивают женщины, свалка, падают, бегут, с треском рвется знамя, ломают древко. На Мойке какой-то господин, стоя в открытом автомобиле, ораторствует, выбрасывая правую руку с белым манжетом, будто деньги в толпу кидает. «Америка!.. Объявила!.. Тевтонам!..» Кричат «ура», один звероватый, в папахе, проталкиваясь к автомобилю, вытягивая руки, борясь сразу со всеми, хрипит: «Дай сюда эту гниду! Я его гузном... на проволоку...»

И еще слышу, двое разговаривают, стоя у стены дома. Один вполголоса: «Эти толпы на улицах напоминают, знаете, что? Точно кишки вывалились из распоротого живота. Не оклемается Россия от этого ножа...» — «Господь с вами!» — «Вот увидите. Это смертельно. Но что приятно...— тихий смешок,— я умираю, и России конец, одним махом... Так что и умирать не жаль...» Посмотрел — старик с белой окладистой бородой, в шляпе, надвинутой низко на глаза. Так и остается со мной, навсегда.

В потемках приплетаемся в игумновский дом. С утра и до вечера я с ними, с Володей и Асей, не могу отлепиться. Все-таки болван! Иногда замечаю, как, стиснутые толпой, Володя и Ася прижимаются друг к другу, как Володя обнимает ее, стараясь оградить от толчков, и единственное, что мне приходит в голову: счастливый, может

обнимать ее, как брат! И в тот вечер: надо бы пойти домой, уже находились, наговорились, дай отдохнуть от себя, но Ася предлагает, скорей всего, машинально зайти попить чаю. «Павлик, зайдем?» Голос звучит рассеянно, она устала, Володя зевает, да и я устал неимоверно, однако волочусь вслед за нею в парадное... Нет сил отказаться. Как я, наверное, надоел!

Вскоре приходит Алексей. На его лице запекшаяся кровь, тужурка разорвана. Возбужденно, невнятно рассказывает о каких-то стычках, о том, как избили Кирика Насонова, гнались за ним. Вдруг увидел кружку, с которой мы носились по городу, собирая на Совет. «Это еще что за дрянь? (Володе). И ты этим занимаешься? Ничтожество! Бездарность!» И даже замахнулся ударить. Почему же бездарность? Не к месту и глупо. Впервые вижу, как между братьями закипает ссора, стремительно и зло. Алексей внезапно обрушивается на Володиного отца, своего дядю, называет его почему-то болтуном, непонятна связь, я понимаю лишь, что вырывается наружу скрытное, накопившееся. Ты смеешь так о моем отце? А ты, если живешь в доме, изволь подчиняться правилам этого дома! Каким правилам? Нашим! Тут и Варя, и Елена Федоровна — и никому не до шуток... Потому что на улице толпа, а у Алексея лицо в крови. Ася бросается на защиту Володи. Немедленно извинись! О каких *наших* правилах ты говоришь? Да, говорю, потому что до этого дошло — людей убивают. Полчаса назад, на моих глазах... Кирика Насонова...

Кирика Насонова все хорошо знают. Он племянник Николая Аполлоновича Пригоды, студент Межевого института. Но дело не в Кирике. Все начинают спорить друг с другом, а я в стороне. Меня будто нет в комнате. Хотя вся свара из-за меня. Мама просила помочь в сборах, ведь я хочу вступить в партию, мечтаю об этом, но тормозит возраст, хотя я уже почти имею право — опять *почти!* — и Володя с Асей от нечего делать, по дружбе взялись мне помогать. Но ни Володя, ни Ася не держали кружки в руке, они просто ходили со мной.

И опять Володя внезапно, опрометью шарахается из комнаты в середине разговора, оборвав собственную фразу на полуслове, и Елена Федоровна в его отсутствие пытается смягчить Алексея и всех примирить, Константин Иванович рассуждает о двойственности приказа номер один — с одной стороны, с другой стороны, а в целом ответит опыт истории, придите за справкой через четыреста

лет, при этом с аппетитом поедается кусок пирога с вязигой, достать которую было чудом, доступным лишь гению Елены Федоровны,— а я думаю о том, что мне тоже, пожалуй, пора покидать сей дом. Ведь они не обращаются ко мне с укоризнами только потому, что хорошо воспитаны. Но их молчание со мной, непринятие меня в орбиту спора и есть укоризна. Льдина, на которой так долго стояли вместе, где-то треснула, и теперь две половины медленно разъезжаются. Мама об этом догадывалась раньше. «Тебя там не подкалывают, у Игумновых, тем, что твой дядя комиссар района? Они люди хорошие, но до предела. Не забывай все же, что они буржуа». Нет, не подкалывают. Я не чувствую. Но я ведь не чувствую многого.

Опять, как когда-то зимой в Сиверской, Володя рвется уехать, но теперь его хватают, задерживают, Варя и Ася отнимают чемодан, Елена Федоровна умоляет чуть ли не со слезами: «Дети мои, заклинаю, что бы ни случилось в городе, в мире, вы должны оставаться друзьями. И ты, Володя, и ты, Павлик, и вы, дети, подайте друг другу руки немедленно...»

Алексей не может сразу, сию секунду подать руку — он занят своей раной. Ася промыла ее, залила йодом, он должен придерживать пальцами ватку, вид у него страдающий, но непреклонный — нет, он не может в один миг забыть Кирика Насонова... Люди шли совершенно мирно, без оружия, откуда-то вывалились какие-то со знаменем... Начались оскорбления, угрозы... И лишь за то, что он крикнул: «Предатели! На немецкие деньги!..» Тут уж я не выдерживаю: не надо кричать подлое. Нет, кричать можно все, дорогой Павлик. Ради этого сделали революцию, упразднили цензуру. А вот сапогами по голове — нельзя. Все норовили, скоты, когда уж сбили с ног, опрокинули, сапогами по голове... лежачего...

Кирик Насонов умер в больнице через несколько дней. Но мы этого не знаем. Константин Иванович неожиданно принимает мою сторону. Вот гибкий адвокатский ум! Вижу и его: рябоватый полный блондин, всегда чему-то неопределенно улыбается, сочные, влажные губы в кружке светло-рыжих усов и коротенькой бородки постоянно подрагивают, приготовляясь то ли засмеяться, то ли сказать что-то юмористическое, губы — самое живое на его лице, живее глаз, отчего все лицо приобретает выражение несколько дамское. Вот так, улыбаясь и крупными белыми пальцами шевеля в воздухе перед собой, рассуж-

дает: «Но не будем гневить бога. Кирика безумно жаль, он пострадал вследствие неосторожности, однако тем не менее Россия — счастливая страна. Величайшая революция произошла практически бескровно, жертв ничтожно мало. Почитайте Олара, что творилось в эпоху французской революции...»

Елена Федоровна его горячо поддерживает: «Да, да, мальчики, почитайте Олара!» Она целует Володю, обнимает сына, улыбается мягкой счастливой улыбкой мне. Эта женщина всегда счастлива. Она лучится здоровьем, сияет румянцем, добротой, аппетитом к жизни, бриллиантовая брошь сверкает, как страшный, искусственный глаз, на ее пышной груди...

С балтийским матросом Ганюшкиным продаю в Думе газету «Правда». Берем в редакции экземпляров по пятьсот, вечером отвозим деньги. Да еще хлеб добывать — в хвосте часа полтора... Да потом в городскую управу за номером для велосипеда или куда-нибудь на Голодай насчет дров, по ордеру, через Совет, и тоже повсюду хвосты... Голодное, странное, небывалое время! Все возможно, и ничего не понять. Шура то исчезает, ходит с наклеенными усами, под чужим именем, даже не Самойленко, а кто-то другой, то опять командует на Васильевском острове — организует милицию, покупает оружие. Константин Иванович то восхваляет правительство, то поносит последними словами. Он в комиссии по раскрытию тайных сотрудников охранки. Упоен, взвинчен, непрерывные звонки, визиты. Улыбчивость пропала, белыми пальцами больше не шевелит, все только рубит прямой ладонью. Вечерами сообщает загадочно: «Если б вы знали, господа, какая щука оказалась в нашем неводе!» Кто же? Кто? Папа, скажи! Нет, нет, не приставайте, други. У нас гласность, но не до такой степени. Узнаете из газет. Про одного сообщил: жилец из бельэтажа, банковский служащий, известный в Петрограде игрок на скачках. Володя вечером подстерег его сына-гимназиста и избил.

Шура говорит: «Недолго им этой забавой тешиться. Лета не доживут. Разгонят их...»

И правда, в середине лета Константин Иванович пал духом, клянет правительство почем зря. «Дураки! Прохвосты! Хотят выиграть великую войну, а не могут победить в мелком домашнем сражении!» Комиссия распущена. Никто из доносчиков по-настоящему не наказан. Автомобиль Константина Ивановича, в котором тот гордо

выезжал по утрам, конфискован для военных нужд. Старую дачу в Сиверской кто-то поджег, сгорела дотла со всей мебелью, книгами. Константин Иванович пытается подать в суд, получить страховку, но где там! Никому ни до чего, август, слухи о страшном, о предстоящей резне, мести казаков, одни радуются, другие в панике, все возбуждены, множество людей покидают Питер. Слух такой: будто Керенский телеграфно объявил Корнилова арестованным, а Корнилов точно так же по телеграфу объявил арестованным Керенского. Корпус Крымова идет на Питер. В эти дни я рядом с Ганюшкиным. Не отстаю ни на шаг. С ним ничего не страшно — ни генерал Крымов, ни «дикая дивизия», которая тоже, говорят, идет усмирять столицу.

О Савва Ганюшкин, потрясший навсегда! Как же он выпал из жизни, куда делся потом? Савва Ганюшкин — недавний матрос, хриплый, площадной крикун, читатель газет и лютый кулачный боец на уличных сходках. Он легко вонзается в любой спор, встревает в драку с кем попало, хоть с солдатами, хоть с кадетами, и, что удивительно, всегда его верх. Одного, двух уложит разом, остальные бегут прочь. Потому что чуют, сила у Саввы непомерная. Поехали с ним в Морской корпус слушать Ленина еще весной, билеты достал Шура, народу набилось видимо-невидимо, тысяч пять, висят даже на лестницах для гимнастики, какие-то умники стали ломать дверь из коридора, беспорядок, Савва беспорядка не любит, и я вижу, как он их вышибает: повернулся к ним медвежьей спиной, руками в косяки вперся и выдавил всех, как поршнем. Ну, Савва! Ах, Савва... Как же можно забыть о нем?

Зимой, когда умерла мама, Савва говорит: «А я мечтал, заживем с тобой, парень, одним домом...» Это он мне.

Я молчу, будто так и надо, будто обо всем знаю. А ведь ни о чем не догадывался. Для меня как бомба разорвалась. Только вдалеке, запоздало, беззвучно. Неслись, летели куда-то — мама ничего о моей жизни, я о ее...

В конце лета — корниловская паника в разгаре — кто-то принес листок Военной лиги «На страже». Призыв помогать мятежникам всеми силами. Разбросано во множестве на Большом проспекте. Нагло стоит типография — 16-я линия, дом 5. Я бегу к Шуре в районный Со-

вет, тот дает красногвардейцев, Савву командиром, идем по адресу. И первый, кто стоит на пороге, когда распахнули дверь, Алешка Игумнов! Глядит на меня оторопело, вдруг хохочет. «Это ты? Какая прелесть! Какая причуда судьбы!» Савва легчайшей лапой сдвигает его в сторону, как занавеску, ныряет в комнату. В глубине квартиры какие-то люди встречают нас холодно, разговаривают высокомерно. «Поступаете опрометчиво, молодые люди. Через два дня здесь будет генерал Крымов. А мы вас всех запомним, до единого...» Через два дня сообщение: генерал Крымов застрелился.

Он спрашивает: «А почему вы, Павел Евграфович, так упорно занимаетесь судьбой Мигулина? Вы не родственник его? Какой-нибудь далекий? Со стороны жены, возможно?» Нет, говорю, не родственник. «В чем же дело?» Да ни в чем. Просто добиваюсь, и все. Вам непременно дело нужно. А вот у меня никакого дела нет, кроме того, что сердце болит. «Мы о том и беспокоимся, Павел Евграфович, что у вас сердце больное. Годы ваши не малые, а вы в Ростов приезжаете в третий раз, силы тратите, время. Удивляемся вашей настойчивости. Сколько вам лет, Павел Евграфович?» Отвечаю. А я, говорю, удивляюсь тому, что есть люди, которым совершенно не интересна история своего народа. Им что так, что эдак, что то, что это — все едино. Какой-то старичок, чахлый, надрывный, вскакивает со стула. «Тогда объясните, зачем вы неправду защищаете? Хорошо, пускай он успешный военачальник, с Красновым и Деникиным воевал, почетным оружием награжден, все так, но зачем из него революционера делать? Зачем такую ложь допускать?» Глаза у старичка горят, кулачки веснушчатые сжимаются, но я спокойно отвечаю: неправды никогда не защищал и защищать не стану. И если что говорю, значит, имею факты. «Нету фактов! — трясется старичок.— Он трудовик был! Народный социалист! Я с его братом Атаманское училище заканчивал и хорошо это гнездо знаю. Они все были мракобесы, большевикам служили из-под палки...» Вот этого не понимаю: черные да белые, мракобесы да ангелы. И никого посередке. А посередке-то все. И от мрака, и от бесов, и от ангелов в каждом... Кто я такой в августе семнадцатого? Сейчас, вспоминая, не могу ни понять, ни представить себе отчетливо. Конечно, и мать, и дядя Шура, и какие-то новые друзья... Общий хмель... Но ведь достаточно было в январе, когда умерла

мама, тронуться чуть в сторону, куда звал отец, или еще куда-то, куда приглашали старики Пригоды, или, может быть, позвала бы с собой Ася, не знаю, кем бы я был теперь. Ничтожная малость, подобно легкому повороту стрелки, бросает локомотив с одного пути на другой, и вместо Ростова вы попадаете в Варшаву. Я был мальчишка, опьяненный могучим временем. Нет, не хочу врать, как другие старики, путь подсказан потоком — радостно быть в потоке — и случаем, и чутьем, но вовсе не суровой математической волей. Пусть не врут! С каждым могло быть иначе. Бог ты мой, зачем я вступаю в спор? У других стариков было, наверное, по-другому. Не следует никого обижать. Я был мальчишка, одинокий, мечтательный, живущий уличной жизнью и к тому же влюбленный без памяти... Человек, который отнял у меня Асю, едва не погиб тридцатого августа семнадцатого года в станице Усть-Медведицкой. Его едва не зарубил сотник Степан Герасимов.

Неужели революционеры лишь те, кто еле слышными, но живыми голосами могут о себе рассказать, доказать? А те, кто рвались, ярились, задыхались в кровавой пене, исчезали бесследно, погибали в дыму, в чаду, в неизвестности... Перед глазами: станичный сбор, многотысячная лава картузов, папах, окна распахнуты, мальчишки на крышах, и в светлом генеральском кителе смуглый, зноем испитой Каледин. Пылюга, жара. Меня там нет, но я вижу, слышу. Хриповатый, обреченный, высокий голос: «Наша программа известна всем — нам, казакам, не по пути с социалистами, мы пойдем с партией народной свободы...» Два месяца назад на Войсковом круге Каледин избран Донским атаманом. В дни мятежа Каледин шлет временным ультиматум: если откажутся от соглашения с Корниловым, то он, Каледин, с помощью казаков отрежет Москву от юга России. Временные распорядились атамана арестовать. Но Каледин не знает об этом, прискакал в Усть-Медведицкую «поднимать Дон».

Не знает и того, что творится под Питером: полки рвутся не в столицу, а по домам. Какую же силу надо иметь, чтобы после стольких лет сечи наново «поднять Дон»? Нет такой силы у смуглого старого генерала, который выкрикивает, напрягая шею, что-то всем ведомое, давно слыханное, пустое. Выборные старики стучат в ладони, орут «Верна!», но фронтовики матюкаются и свистят. Мигулин хочет продраться к трибуне, его не пускают. Мигулин — войсковой старшина, помощник коман-

дира 33-го Донского полка. И все же казаки проталкивают его, помогают плечами, пробивают ему путь. Говорит речь. Выступать он любит. Я слышал не раз. Спустя два года, летом девятнадцатого, когда он формирует Особый Донской корпус и мы мотаемся в эшелоне от станции к станции, он, чуть где остановка, высовывается из окна, кличет людей и открывает митинг. Умеет сразу, не мешкая и не петляя, зацепить какую-то такую жилу, что толпа содрогнется и загудит...

«Граждане станичники! Что для казаков главное было, есть и будет...— и, выждав паузу, насладившись общим секундным томлением, громоподобно и с размахом руки, будто гранату в толпу: — Воля, казаки! Давно уже, лет двести, этой сласти у казаков нет, но любят о ней погутарить, языками ее помусолить. Воля, воля... какая там воля, когда казаки — всякой бочке затычка? Где шум, бунт, туда их гонят, как пожарных огонь заливать. И воли не спрашивают. Революция этой лживой «воле» конец положила. Довольно из казаков делать всероссийского черта! Хотим мирной жизни, покоя и труда на своей земле. Долой контрреволюционных генералов!» — вот что бросает сидящим в зале Мигулин. Повскакали с мест, орут, кулаками трясут. Окна битком набитого помещения открыты, и толпа, теснящаяся на майдане, услышав шум и крики, начинает грозно бурлить. Вот-вот раздробят двери, ворвутся в зал. Мигулин пытается говорить дальше, но разъяренные старики и калединцы стаскивают его с трибуны, кулачный бой... Внезапно из толпы выскакивает сотник Степан Герасимов — фамилия врезалась, хотя читал о Степане Герасимове позже, когда рылся в архивах, в «Усть-Медведицкой газете» за 1917 год и вспомнил при этом, что в комендантском взводе при штабе 8-й армии служил Матвей Герасимов, тоже из казаков-северян, так что, возможно, родня тому, горячему — и кричит Мигулину: «Извиняйся перед атаманом, не то голову прочь!» И шашкою замахнулся. Мигулин — наган из кобуры, дулом ему в лоб. «Бросай шашку!» Так стоят мгновение, замерев, сверля друг друга ненавистливыми взглядами, потом какой-то казак вырывает шашку у Герасимова и, сломав ее, выбрасывает в окно. Каледин между тем исчезает через черный ход.

Потом Мигулин выходит на площадь. Во время его речи перед гудящей толпой к крыльцу протискиваются писаря с телеграммой от военного министра Верховского: Каледина арестовать как соучастника мятежа. Мигулин

крикнул группу верных себе фронтовых казаков, кинулись искать атамана, но того след простыл. Ускакал в Новочеркасск. Развело казаков — пока еще не кровью, а словами кровавыми. Как быть? Податься к кому?

Отца я почти забыл. Еще тогда забыл, когда он был жив. Последний раз он приезжал в Питер из Баку, потом он переселился в Гельсингфорс — в 1912 году. Помню, темная курчавая борода, очки, длинные мягкие руки, постоянное ковырянье с трубкой и все какие-то шуточки над мамой. Он инженер. Мама его жалеет. Говорит о нем, как о постороннем добром человеке. «Беда в том, что он робок. Нет, не трус, физически он смел, но робок в мыслях». Расстались они много лет назад. Не знаю точно, почему. Кажется, причины тут были идейные. В студенческие годы он тоже бунтовал, протестовал, был сослан на год куда-то на север, но потом ушел в свою инженерию. И вот сидит в громадной холодной комнате, пьет чай, согревает пальцы стаканом и разговаривает вполголоса с Шурой. О чем? Мама тяжело больна. У нее воспаление легких после инфлюэнцы. Она может умереть. Кто-то сообщил отцу в Гельсингфорс, и он приехал.

Январь восемнадцатого. Только что объявили: хлебный паек уменьшен с трех восьмушек фунта до четверти. Я провел три часа на улице, сначала стоял за керосином, потом за хлебом. Воды нет. Трамваи не ходят. О чем говорят отец и Шура? Они шепчутся. Мама с утра без сознания, она не услышит. Они шепчутся, чтоб не услышал я, но некоторые фразы долетают. «Теперь, после декрета... Независимая страна...» — «Пусть решает сам...» — «Я думаю, она была бы за такое решение...»

Чувствую, что говорят обо мне. Отец — далекий, благополучный человек. Стал грузен, обрил бороду, оставив чуть заметный клинышек под губой, как у Луначарского. Привез корзину съестных припасов, лекарство — уротропин, которое в Питере трудно достать, и большую бутылку молока. Мама ничего не ест и не пьет. Лежит с закрытыми глазами, иногда лепечет что-то бессвязное.

Шура, поглядев на меня как-то странно и холодно, сощуриваясь, как он смотрел на новых людей, оценивая, на что они годятся, говорит: «Отец предлагает тебе уехать с ним в Гельсингфорс. Как ты на это предложение?» Никак. Куда я могу теперь уехать. «Не теперь, не сегодня и не завтра,— шепчет отец.— Я говорю о ближайшем времени, в принципе». У отца прекрасный теплый костюм

из серого сукна в клетку, шерстяные носки и ботинки на толстой подошве, он сидит, положив ногу на ногу, покачивая ботинком. Взгляд у отца добрый. Такой проницательный и сочувственный сквозь очки, какой бывает у посторонних людей, исполненных добрых чувств. Они с Шурой говорят так, будто мамы нет. А мама вдруг разлепила глаза, но не может посмотреть ни на меня, ни на брата, ни на моего отца, глаза ее устремлены на наш музейный, в лепнине, закопченный буржуйкою потолок, и явственно произносит: «От Шуры никуда не надо...»

Я и так знаю. Мы наклоняемся к ней, хотим дать то, другое, но она опять не видит, не слышит. Потом приходит Савва с винтовкой, в лентах, с двумя кобурами на поясе, и с ним бородатенький старичок, доктор, необычайно малого роста, как гномик. Савва привез его на автомобиле. Этот автомобиль должен отвезти Шуру в Таврический дворец, где открывается съезд Советов. Гномик осматривает маму, ничего не спрашивает, только хмыкает, покряхтывает, откашливается, как будто тоже болен или только что плотно поел, а мы четверо стоим вокруг и глядим на него — он перестает быть гномиком, вырастает на наших глазах. Его лицо становится грубым, тяжелым, мы видим тяжелый, грушею нос, окаменевшие скулы.

«Это может произойти через час. Может — ночью...» — говорит доктор. Он стоит возле кровати, держа саквояжик двумя руками, отставив ногу и глядя на нас свысока и очень зорко, будто определяя, сколько осталось жить каждому.

Под окном автомобильный гудок. Шуру вызывают. Он должен ехать на съезд. Он колеблется. Савва его отпускает: «Езжайте, Александр Пименович! Я с Ириной побуду». Да кто такой Савва? Простой матрос. Чужой человек. Шура хмуро молчит, не слышит. Он презирает чужие советы. Шура привык все решать сам: быстро, твердо и окончательно.

Гномик исчез. Снова гудок автомобиля внизу.

Долгим взглядом смотрит Шура на сестру, лежащую совершенно недвижно, с закрытыми глазами, и вдруг опять она поражает нас: медленно приподнялась рука и опустилась. Мама шепчет: «Шура, иди...» Шура уходит. Автомобиль затрещал, зафыркал, уехал. И тогда между Саввой и отцом возникает злой разговор, они как бы кричат друг на друга, но шепотом. Началось с того, что отец, мрачно усмехаясь, бормочет что-то, как бы сам с собой: «Да, теперь очевидно... Таких людей победить нель-

зя...» — « Каких людей?» — «Таких, как брат Иры. Мне это стало сейчас совершенно ясно. И надеяться не на что...» — «Что вы желаете сказать про Александра Пименовича?» Я прошу их говорить тише или уйти в другую комнату. Опять мама подымает руку и шепчет: «Пусть здесь...» Они говорят, шепчутся, спорят до сипоты, Савва мог бы застрелить или арестовать отца, потому что тот говорит оскорбительное — я удивляюсь, ничего не боится, а мама говорила, что он трус,— называет матросов бандитами, не Савву, а тех, кто убил Шингарева и Кокошкина. Матросы убили их в Мариинской больнице. «За анархистов не отвечаю,— шепчет Савва.— Сам бы их удавил».— «Нет, отвечаете за все. За всех и за все. И за то, что Ира умирает, отвечаете...» Отец закрыл ладонями лицо, согнулся. Так стоит, согнувшись, длинный, я вижу лысину в венчике темных волос, лысина качается, громкий утробный звук раздается из-под ладоней, закрывающих лицо. Быстрыми шагами отец уходит из комнаты в коридор и оттуда куда-то дальше, на кухню. И Савва уходит за ним. А я остаюсь с мамой. Ничего сделать нельзя. Можно убить миллион человек, свергнуть царя, устроить великую революцию, взорвать динамитом полсвета, но нельзя спасти одного человека.

Вот о чем думаю. Человека, который умирает, спасти нельзя. Потом в моей жизни много этого. Оно как бы вплетается в жизнь, перемешивается с жизнью, образуя какую-то странную, не имеющую имени смесь, некое сверхъестественное целое, жизне-смерть. Все годы — накопление смертей, вбирание их в кровь, в ткань. Не говорю о душе, никогда не знал, что сие, и теперь не знаю. Сосуды мертвеют не от холестерина, а оттого, что смерть постоянно малыми дозами проникает в тебя. Уход мамы был первым. Уход Гали — наверное, последний. И тогда и теперь меня покидает единственный человек. Но между двумя смертями — между временем, когда я еще не успел стать собой, и временем, когда перестал быть собой, во всяком случае, в глазах других, потому что никто не знает, что ты остался тем же, и надо играть роль до конца, притворяясь, что действительно изменился, о чем кричит твоя внешность, докладывает твоя походка и свидетельствуют слабые силы, но это ложь,— между двумя смертями пролегла долгая жизнь, в течение которой меняешься не ты сам, а твое отношение к целому, не имеющему названия, к жизне-смерти. В юности ощущаешь так, теперь совсем иначе. Как я пылок, порывист, легкомыслен в ян-

варе восемнадцатого, несмотря на все свое горе! Испуг и жалость — вот что меня душит. Испуг перед тайной, которая отверзлась, я оказался перед нею в одиночестве, и жалость к маме: она не увидит того, что произойдет в прекрасном, переразгромленном, переотстроенном мире, и не увидит того, что произойдет со мной. Ведь она так любила меня. При этом лютая жажда жить, познавать, понимать, участвовать! И нет того, что возникнет потом — каждая смерть поселяется в тебе. Чем дальше, тем эта тяжесть грознее. Когда умирает Галя, груз становится так тяжел, что это уже почти конец.

Отец держится твердо, будто заледенел на кладбищенском морозе, не шевельнется, не сморгнет, никого не видит, не отвечает, но вдруг подламываются ноги, грохается на колени, меховая шапка отлетела, головой в снег... Потом провожаем его на Финляндский вокзал. Савва простил отцу все, тоже поехал провожать. Савва убеждает отца: «А ты в Гельсингфорсе не теряйся, затевай заваруху! Человек ты наш, умственный пролетарий, тебя самого буржуи корячат!» Отец вздыхает: «Не так это просто...» — «Да ты начинай, примкни!» Отец говорит, что приедет в феврале снова и тогда решим, как быть: я к нему или он к нам. Но решать-то нечего. Он хороший чужой человек. В феврале он не приезжает, потому что в конце января там без его помощи затевается «заваруха» — сначала красногвардейцы, потом немцы, все там завертелось, отрезалось, получил какую-то открытку, когда вернулся с Урала, и потом исчезло навеки. Столько людей исчезло. Наступает великий круговорот: людей, испытаний, надежд, убивания во имя истины. Но мы не догадываемся, что нам предстоит. Нам кажется, стоит разгромить калединцев, рассеять банды Дутова на востоке — и революция победит во всей стране. Победа близка! Оренбург уже взят нами в январе! Дело двух-трех месяцев...

Так думаю не только я, но и Шура, и многие. Шура работает в Коллегии по организации Красной Армии. Я помогаю: перепечатываю на больших глянцевых листах ведомости. Называются бумаги так: «Информационный лист. Движение организации Красной Армии по России». Что, где, сколько, какие трудности... Помню, почти везде: нужны деньги, агитаторы, литература... Нужны два, три миллиона рублей... Вначале похоже на какую-то бумажную игру. И нас, играющих в эту игру в помещении Коллегии, немного. Потом оттуда выходит непобедимая сила.

Старики ни черта не помнят, путают, врут, им верить нельзя. Неужто и я? И мне? Ведь отлично помню, Мигулин коренаст, плечист, среднего роста. Руки необыкновенно сильны. Руки не кавалериста, а кузнеца. Партию новых сапог привезли снабженцы. Мигулин на снабженцев за что-то в большом гневе. Схватил сапог и разодрал руками по шву. «Вот какую гниль, собаки, привозите!» После него никто не мог, как ни пыхтели, ни один сапог разорвать. Сапоги были нормальные. Года четыре назад в Ростове в музее разговариваю со стариками, смотрю фотографии. Все Мигулина хорошо помнят. Один старик говорит: «Я был мальчишкой. Видел его в Ростове. Он был худощавый, стройный, как юноша. Лет тридцати...» Другой старик возражает: «Нет, ему сорок пять лет, когда он погиб». Третий старик, низкоросленький, говорит: «Он был небольшой. С меня ростом». И ведь каждый считает, что только он знает истину. Еще один там же, в Ростове, допрашивал с пристрастием: «А ты скажи, коли ты его видел, какая у него самая отличительная черта? В его внешности?» Я был в затруднении. Он сказал с торжеством: «Самая отличительная — левый глаз прищуривался в минуты волнения!» Про глаз совершенно ничего не помню. Вполне возможно, что врет.

А Каледин застрелился, кажется, в начале восемнадцатого. Чуть ли не в январе. Это значило: конец, полное отчаяние. Донские станицы объявляли о признании советской власти. Пожара на Дону могло не быть.

Прощание с Володей, выпал первый снег. Несколько дней после Октябрьского восстания. Я поехал в «Электрическое общество 1886 года» платить за все лето, мама почему-то не хотела, но Шура дал деньги и велел поехать и заплатить, на обратном пути у дома столкнулся с Володей. Он показывает телеграмму: «Заболела приезжай срочно». Потом оказалось, что мать просто вызывала его, испугавшись событий. Билеты на поезд достать немыслимо. Все рвутся из Питера. Володя ждет меня целый час: хочет, чтоб я поговорил с Шурой, чтоб тот достал. Пока Шуры нет, мы сидим с Володей в большой комнате — хозяева смылись, теперь вся квартира принадлежит нам — и при свечах роемся в громадной библиотеке. Хозяином квартиры был управляющий Трубочного завода. Я видел его не-

сколько раз. Неприятный тип. Маме говорил «мадам». И всегда что-нибудь колкое: «Мадам, не обидитесь, если сделаю замечание, отнюдь не политического характера, вашему другу-матросу... Ради бога, не обижайтесь... Дайте деликатно понять, что не следует в туалете садиться орлом. Туалет — вещь хрупкая, а матрос весит пудов семь». У мамы после разговора с ним белеет лицо. Но она сдерживается. Внезапно управляющий со всей семьей собрался и уехал, не сказав, куда. Даже записки не оставили. Просто мы пришли домой очень поздно, около полуночи, и удивились — дверь на лестничную площадку распахнута, внутри тоже все раскрыто, на полу бумаги, обрывки газет, веревок, как после грабежа. Теперь сидим, листаем чужие книги, есть много ценных и замечательных.

Володя говорит: нужно два билета до Камышина, с ним поедет земляк, студент. Но врать Володя не умеет. Вижу отчетливо: врет. Не смотрит в глаза, нервничает, то и дело подбегает к окну — ему кажется, что подъехал автомобиль. Электричество не горит. На улице мрак. Если высунуться из окна, можно увидеть вдалеке костер на Большом проспекте. Я спрашиваю: «Что с тобой происходит? Ведь ты врешь».—«Вру».— «А зачем?» Пожимает плечами. «Да черт меня знает... Я еду с Асей».

Вот и все. Забытая боль.

Володя начинает бурно, торопясь, рассказывать: сомнения, колебания, мучительные подробности... Я спрашиваю: «Ты читал статью о масонах в последнем номере «Былого»?» Не хочу его слушать. Не хочу ничего знать. Внезапно стук в дверь. Шура подъезжает на автомобиле, шофер всегда сигналит в клаксон у подъезда, а мама звонит в особый звонок. «Кто?» Мужской голос отвечает не сразу: «Здесь живет Александр Пименович Данилов?»

Входит некто в полушубке, меховой шапке-ушанке, охотничьих сапогах, но при этом темные очки, иссохшее остроносое лицо, в руке не соответствующий полушубку дорожный баул иностранного облика.

«Шигонцев Леонтий Викторович»,— представляется некто, сняв меховую шапку, обнажив странно узкий, вытянутый кверху череп. Этот череп поражает сразу. В нем какие-то вмятины над висками, которые суживают его еще сильнее. Человек со странным черепом, похожим на плохо испеченный хлеб, сыграл заметную роль

в моей жизни, и тогда, и в девятнадцатом, и отбросил тень на годы вперед. Поэтому хорошо помню первое появление. Сразу догадываюсь, что человек, называющий Шуру Александром Пименовичем Даниловым, должен знать его давно, может, по каторге или по ссылке. Такие люди возникают часто. Особенно много нагрянуло весной, жили у нас по неделям, но этот что-то припозднился. Откуда он?

«Из Австралии»,— говорит Шигонцев. Все верно, Шуру знает по Тобольской каторге. Потом перевели в Горный Зерентуй, потом в ссылку, оттуда бежал, попал в Австралию, вернулся два месяца назад во Владивосток. И только теперь, второй день — в Питере. «Еще никого не видел, ничего не знаю, первым делом бросаюсь искать Александра. Ведь как мечтали в тобольских *палях*, чтоб, когда случится революция, быть вместе в Питере. И долги свои стребовать». Какие долги? «Всякие! Все! Весь мир у нас в долгу!» Шигонцев широко разводит руки, будто обнимая и стискивая воображаемый мир или, может быть, очень большую женщину, потрясает руками, улыбается, подмигивает, все как-то неестественно бурно и откровенно, я вижу, как сверкают под очками маленькие темно-грифельные глаза, в них лукавый задор. И любит в разговоре оскаливаться, как бы от страсти, от нетерпения, тяжело дыша, показывая стиснутые зубы. Никогда не видел такого темпераментного, несколько комичного революционера. Все прежние, бывавшие в нашем доме, были люди степенные, молчальники. А этот не закрывает рта всю ночь. Приходят Шура, мама, садимся пить чай, Володя просит Шуру насчет билетов, тот куда-то звонит, распоряжается, мама рассказывает о последних новостях — Духонин смещен, Главковерхом назначен прапорщик Крыленко, двенадцатого будут выборы в Учредительное собрание,— и все это переплетается, или, лучше сказать, сопровождается неумолчным говором Шигонцева.

Он говорит даже тогда, когда его не слушают. Похоже, он изжаждался и по возможности молоть языком... Бог ты мой, о чем только не рассказывает! О бегстве из Сибири, о духоборах, о тайных курильнях опиума, о коварстве меньшевиков, о плаванье по морю, об Австралии, о жизни коммуной, о своих подругах, которые не захотели возвращаться в Россию, о том, что человечество погибнет, если не изменит психический

строй, не откажется от чувств, от эмоций... Шура называет своего приятеля шутя Граф Монте-Кристо.

Но потом все поворачивается такой стороной, что не до шуток. Правда, происходит не сразу. Года через полтора. А тогда, в ноябре семнадцатого, разговоры, веселье, вспоминают друзей, кто исчез, кто перекрасился, многие очутились в Питере, включились в борьбу. Егор Самсонов, например, возглавил путиловскую милицию, теперь верховодит в Красной гвардии. «Егорка жив?— кричит Шигонцев.— Он здесь? Ого, значит, наша восьмая камера у российского штурвала. Так и быть должно!» Егор прославился на каторге стихами и избиением доносчиков. Я его знаю. Он приземистый, мрачноватый, в пенсне. У всех почему-то худо с глазами. Шигонцев с возбуждением, будто выпил вина — хотя ничего, кроме чая, не пито,— рвется тотчас бежать искать Егора. Но это невозможно. Тогда они начинают вдвоем, вперебивку, вспоминая, читать стихи Егора о каторге.

«Звонок подымет нас в ноябрьской мутной рани, и свет чадящих ламп...»— выкрикивает Шигонцев и замолкает, забыл. «Сметет обрывки грез»,— подсказывает Шура. «И окрик бешеный, и град площадной брани...»— продолжает Шигонцев, и вместе: «Пора вставать! Эй, подымайся, пес!»

У Шигонцева из-под очков ползет влага. Вытирает щеки дрожащими пальцами. Придется человечеству погибать — от чувств спасения нет.

«Вы, упрямцы, умевшие все снести без мольбы и проклятий, обнажавшие молча на плахе клейменые плечи... Вы уйдете отсюда, как гонцы и предтечи все отвергнувшей и на все покусившейся братии...» Знали бы, что случится через три месяца: в Ростове, куда Егор ворвется со своим петроградским отрядом, Шигонцев будет обвинять его в мягкосердечии и требовать предания суду трибунала. А сейчас плачет от невозможности увидеть Егора немедля, сию минуту. И еще рассказывает в тот вечер какие-то студенческие истории: кружки, изгнание, разговор с приват-доцентом, администратором, сволочью, от него зависела судьба, унизительное стояние на ковре, жуковидный инородец за громадным столом, лакей мерзко стоит в дверях, бормотанье, мольба — пожалеть мать. Единственно ради чего: мать не переживет нового исключения. Ледяным тоном: «Зачем же перекладываете заботу о матери

на нас? Вот и заботились бы о ней своевременно». Мать не пережила. Долго ждал сладкой минуты, лелеял в австралийских снах приход в тот самый кабинет с ковром — дай бог, чтоб не реквизировали, чтоб сидел за тем же столом, царапал что-нибудь жучьей лапкой,— и взять за подбородок: «А помнишь, скот?..»

И, кажется, достиг, настиг. Не в кабинете, правда, и не в том особняке на набережной, со швейцаром и лакеями, а на Финляндском вокзале — выковырял его из купе, из чемоданов, еще бы час и поминай как звали. В декабре Шигонцев потрошил укрывателей ценностей и много в том преуспел. На улице раздается стрельба. Очень холодно в комнатах. Тянется мглистая стреляющая ночь, в ее чреве — враги, опасности, заговоры, неизвестность, оплывают свечи, гудят, и курят, и хлебают чай два каторжанина, Володя ушел, мама дремлет, а я слушаю, зеваю, мечтаю, догадываюсь. Перевернулось все в России, понеслось, полетело... В середине ночи, когда все укладываются — квартира громадная, каждому по комнате,— мама заходит к Шуре, спрашивает тихо: «Ты как считаешь, Леонтий умный?» А я все слышу, потому что открыта дверь. Шура, помолчав: «Не столько умный, сколько горячий. Я бы сказал, кипящий...»—«А я бы сказала: много пены»,— говорит мама. Оба смеются. Бесконечно понимают и любят друг друга.

А за завтраком мама рассказывает, что Шигонцев на рассвете ломился к ней в комнату, требовал, чтоб отворила. С совершенно ясной целью. «На него похоже,— говорит Шура.— Что ты ему ответила, дураку?»— «Он не дурак. Просто вот такой человек. Я даже не знаю, на кого он похож. На героев Чернышевского, что ли? На Нечаева, может быть, как описывает Засулич? Таких людей я знаю... Я говорю: Леонтий Викторович, ведь вы призываете человечество побеждать в себе эмоции. А он отвечает: об эмоциях, Ирина, тут нет речи. А? Каково?» Мне это кажется возмутительным, но Шура и мама смеются. Шура говорит: «Врать никогда не умел, это его достоинство...— И добавляет всерьез:— Впрочем, врать порой необходимо — д л я д е л а...»

Трещащий храп летит из соседней комнаты.

Шура вспоминает, морщит обугленный лоб, улыбается: был бич восьмой камеры Тобольского централа. Неповторимые люди! Похожих не земле нет, время пережгло их дотла...

Ася прижимается к Володиному плечу, слезы текут по жалкому, потерянному лицу, никогда не видел ее такой. Елена Федоровна сидит напротив и, даже не ответив на мое «здравствуйте», так поглощена минутой, выговаривает едва слышно: «Наша настоятельная просьба... Когда святейший синод даст разрешение на брак...» Константин Иванович маячит в дверях, заходить в купе не желает, да и некуда, теснота, едут кроме Володи и Аси еще человек шесть, сидят на лавках вплотную, как в трамвае, Константин Иванович поминутно изгибается и извиняется, пропуская прущую по коридору толпу с поклажей. И куда прут? Где все поместятся? «Леночка, не волнуйся! Леночка, у меня есть рука в синоде, есть ход к Василию Карповичу...» Он разговаривает с нею, как с больной. Не возражает ни в чем, соглашается, поддакивает всякому бреду, какой она несет. Может, она и правда слегка тронулась. Какой, к чертям собачьим, синод? Какое разрешение на брак? Никто не спрашивает никаких разрешений. Девять человек набиваются в купе, где должны ехать четверо. Синод, вероятно, уже уничтожен декретом. Не имеет значения. Мне горько, ошеломительно, от меня скрывали, я прощаюсь с ними навсегда. Но не имеет ровно никакого значения. А Володино лицо — невольная улыбка и глаза, в них жадное, всепожирающее счастье...

Больше года не слышу, не знаю о них ничего. Утянуло в воронку, и исчезли. Все без них: поездка с Шурой на юг, экспедиция Наркомвоена, потом чехи, Урал, Третья армия, отступление, Пермь, я стал другим человеком, видел смерть, хоронил друзей. И только в феврале 1919 года, когда Шуру после ранения послали на Южный фронт, вернее, в тыл Южного фронта, в освобожденные районы, и мы оказались на Северном Дону, я слышу от кого-то про Володю, будто он вместе с Асей, женой, при штабе Мигулина, в Девятой армии. Не могу поверить. Да тот ли Володя? Тот самый, камышинский, питерский, по фамилии Секачев. Такой высокий, курчавый, с румянцем, лет ему не более двадцати, а то и меньше, и ей столько же. Он в пулеметной команде при штабе, а она машинисткой. Приказы печатает и разные воззвания, листовки, даже стихи, которые Мигулин сочиняет и разбрасывает тысячами. Мы эти мигулинские творения находим повсюду на

его следах. «Братья-казаки Каргинского полка! Пора опомниться! Пора поставить винтовки в козлы и побеседовать не языком этих винтовок, а человеческим языком...»

Но как Володя и Ася очутились в штабе красных войск? И не просто в штабе, а в сердцевине самой победоносной и знаменитой в ту пору армии? Мигулин ломит на юг. Небывалый успех. Почти вся Донщина освобождена, красновская армия развалилась, катится к Новочеркасску, падение донской столицы — дело дней... А я-то подумывал, что Володя и Ася чахнут где-нибудь в Екатеринодаре, а то, может, махнули в Болгарию, Турцию... Но увидеть их не могу. Они на юге, мы с Шурой — в станице Михайлинской, в ревтрибунале округа. Между нами сотни верст.

О Мигулине мы знаем по разговорам. Говорят о нем повсюду и все, и — разное. Кроме того, что он самый видный красный казак — после гибели Подтелкова и Кривошлыкова, недавней смерти Ковалева крупней нету,— кроме того, что войсковой старшина, искусный военачальник, казаками северных округов уважаем безмерно, атаманами ненавидим люто и Красновым припечатан как «Иуда донской земли», кроме этого, общеизвестного, на нас обрушиваются во множестве слухи, выдумки, байки и просто подробности жизни, ибо мы попали в *его* края. Родной хутор Мигулина в десяти верстах. Каков же он? Шут его поймет, фигура странная, зыбкая, то мерещится в ней одно, то брезжит другое. Называет себя не без гордости старым революционером. В своих пылких воззваниях, писанных в провинциальном, гимназическом стиле, очень искренне и шумливо, которые тискает на чем попало — на обоях, на оберточной конфетной бумаге, повторяет то и дело: «Я, как опытный революционер...», «Мне, как старому борцу с царским режимом...» И, кажется, тут не просто слова. Но иные люди, вроде председателя михайлинского ревкома Бычина, говорят, что брешет, никаким революционером не был, а просто горлопанил на сходах. Да однажды ездил на казенный счет в Питер, отвозил в Думу какие-то писульки, пустое дело.

Меня этот тип занимает. И не только тем, что Володя и Ася где-то там, поблизости. И не тем, что газеты трубят о нем: герой, победитель донской контрреволюции, непобедимый, неуязвимый. Красновцы целыми полками перебегают к нему. И вдруг столь же вне-

запно его покидают... Один раненый казак рассказывает: Мигулин отпускает пленных казаков по домам. Чтоб «пущали пропаганду». Но от ревкома другие сведения: пленных освобождает потому, что не может победить в себе сочувствия к брату-казаку. В первую очередь он казак, а потом уж революционер. Мигулин ведет двойную игру! Так поговаривают в ревкомах, в штабах, в трибуналах. На чем основано? И опять зыбкость, туман, невнятица... О какой же игре речь, когда он на Донце?

Один кудлатый седоватый молодой человек, издающий газетку политотдела, недоучившийся студент Наум Орлик говорит: он опасен тем, что скрытый сепаратист. Хочет сделать из Дона что-то вроде Финляндии. Это тщательно скрывается, но люди, знающие его по прошлым годам, утверждают доподлинно: сепаратист. Хотя клянется сейчас в верности большевикам, но все помнят прежние симпатии: он был трудовиком, затем народным социалистом. В Питере был близок к донским депутатам. «А если хочешь точнее: он истинный донской националист! Со всеми милыми качествами. И к тому же,— Орлик встряхивает кулаком, будто печать ставит в воздухе,— с эсеровской начинкой!»

Спорить с Орликом трудно. Он все знает заранее, ни в чем не сомневается. Люди для него — вроде химических соединений, которые он мгновенно, как опытный химик, разлагает на элементы. Такой-то наполовину марксист, на четверть неокантианец и на четверть махист. Такой-то большевик лишь на десять процентов, снаружи, а нутро меньшевистское. «А ты,— говорит мне,— стихийный, неустойчивый большевик. В тебе сильна либеральщина. Ты на две трети наш, а на треть — гнилой интеллигент». Черт его знает, откуда он это берет! Может, оттого, что я спорю с ним и с другими ревкомовцами насчет расстрелов и реквизиций.

А мне кажется, что главный предмет спора с Орликом, всех споров со всеми — Мигулин. Если понять или хотя бы решить для себя, что он такое, станет ясно многое.

Несмотря на наши споры и даже ругань, я с Орликом дружу. Я его уважаю. Мне кажется, что он мой товарищ, хотя он старше на десять лет и участвовал как дружинник в революции пятого года, побывал в ссылке, мучился, бедствовал, левая рука у него перебита шашкой, не действует. В енисейской ссылке он перечи-

тал уйму книг и знает в сто раз больше меня. И в двадцать раз больше Шуры. Ведь Шура не очень много читал. И все же Шуре я доверяю больше. «Сначала собрать факты,— говорит Шура,— а потом делать выводы. Наум, как всегда, торопится».

Шура — человек кропотливый, основательный. Любитель статистики.

А факты такие: Мигулину теперь сорок шесть. Если он и революционер, то действительно старый. Но, говорят, еще крепок, силен и в походе, и в скачках, в рубке, во всех казацких занятиях ловок. Все подтверждают и другое — образованный, книгочей, грамотней его не сыскать, сначала учился в церковноприходской, потом в гимназии, в Новочеркасском юнкерском, и все своим горбом, натужливыми стараниями, помочь некому, он из бедняков, и, когда выбирали, кого посылать в Петербург, в Думу, с приговором станичного сбора насчет призывников, выбрали его. Потому что выступил на сборе зажигательно. Девятьсот шестой год. Он только что вернулся с полком из Маньчжурии, заслужил там четыре ордена и повышение в чине — стал подъесаулом. А в родной станице на сборе сразу врезался в стычку с начальством. Дело касалось больного и травленого в казачьей душе — того, что называлось «содействие войск гражданским властям». Как раз в ту пору правительство решило усилить «внутренние» войска и призвать казаков второй и третьей очередей да еще тех, кто вернулся с японской. Мало им казачьих частей в гарнизонах! Глупо думать, что нагаечная служба всем по нутру. Стали повсюду на сборах протестовать. Мой хозяин в Михайлинской вспоминает, молодые орали смело, старики пытались вразумлять, но без особого пыла. Мигулин поехал в Питер с наказом от станичников, чтоб вторую и третью очереди не тянули, а на обратном пути внезапный арест, гауптвахта в Новочеркасске, лишение офицерского звания и отчисление из войска... Ну как, считать ли это событие революционным актом? По мне, так непременно. Для казачьего офицера такое выступление против властей — дело неслыханное. А уж для личной судьбы тут подлинно революционный зигзаг — все сломано, карьера рухнула, служба потеряна...

Потом работа в земельном отделе в Ростове, потом начало войны, призыв в войско, 33-й казачий полк... Бои, награды, кажется, и георгиевское оружие... Фев-

раль... Когда мы с Володей и Асей бегаем по питерским улицам, собирая на Совет, Мигулин рвет глотку на митингах то в полку, то в родной станице. Сколотил трудовиков, возглавил. Его — кандидатом в Учредительное собрание. О да! Удивляться не следует, люди в наши дни кидаются туда-сюда шало, нежданно, как в угаре. Еще недавно какой-нибудь военспец костерил солдат и звал в бой «до победного», а нынче кричит большевистские лозунги. А другой вчера в нашем штабе сидел, чертил схемы, распоряжался, а сегодня у добровольцев французские сигаретки курит. Вроде Всеволода и Носовича, бывших спецов, ныне Каинов...

Полковники! Страшный сон комиссаров. Как заглянуть в чужую душу? Как угадать, честно ли, по искреннему порыву, по глубокому ли размышлению решили спороть погоны и нахлобучить шлемы со звездой или же тут дьявольский, дальний расчет? А времени для того, чтобы изучать и приглядываться, нет.

Ведь и Мигулин — войсковой старшина, подполковник.

Никто не говорит прямо, что Мигулин может повернуть штыки — да и странно говорить, когда Девятая армия, в авангарде которой Мигулин, мощно таранит белых!— но в разговорах ревкомовцев, уполномоченных, трибунальцев из местных одно устойчивое: н е д о в е р и е. Или, может быть, чтобы уж совсем точно: н е п о л н о е д о в е р и е. Таранить-то он таранит, очистил почти весь Дон, но зачем ему это нужно, вот закавыка. Что-то в этом роде, невыговариваемое, глухое, но невероятно прочное, не победимое ничем, я чую во всех разговорах о Мигулине. «Поимейте в виду,— говорит Бычин,— Мигулин что большевиков, что беляков любит одинаково: как собака палку!»

Я бы, может, и поверил Бычину, он местный, михайлинский, хотя не казак, а иногородний, его отец служил в работниках у богатого казака, сам Колька рыбачил на Азове, вернулся большевиком и сразу выбился в красные атаманы — председателем ревкома. Голова у Бычина, как стог, книзу шире, лицо бурое, глаза щелками, голубые, в свинцовых белках, а волосы льняные, младенческие. Кулаки у Бычина пудовые, носит он их, как гири. Я бы поверил ему, если б не Слабосердов. Учитель Слабосердов. Человек в возрасте, под пятьдесят — теперь подумать, какой возраст!— жене

столько же, у них два сына, меня чуть старше, бывшие студенты, нигде не служат, не работают, не поймешь, чем занимаются. Мы-то с Шурой откуда знаем? Борьба кипит злая, без пощады. Кто промахнулся, тому пулю в лоб. Так и быть должно в период классовых битв. Всех богатеев, монархистов, связанных с красновцами, человек сорок по списку Бычина, мы задержали сразу, а Слабосердовых взять повода нет — никакие не богачи, не контрреволюционеры, а наоборот, с прежней властью бывали стычки.

Однако Бычин настаивает. Нам-то с Шурой откуда знать? Мы одно знаем: промахнешься — пулю в лоб.

«Старика нам даром не нужно,— объясняет Бычин,— пущай живет, гнида лысая, а молодцов — под залог. От них революции вред». Шура колеблется, Бычин так: сказал — все! Мужик тяжелый, ни с кем не считается, никакого спору не терпит, Шура говорит, что таких долдонов он на каторге встречал, сперва, говорит, их побаиваются, а потом лупят скопом до полусмерти, но, однако, время лютое, враги вокруг, и тяжелые мужики нужны. Каждый день: то ревкомовца зарубили, то кого подстрелили, то отряд, высланный произвести реквизицию, натолкнулся на пулеметы и приходится разворачивать настоящий бой. Все зыбко, неспокойно, запутано — оно и радость, ликование газет, победные клики на митингах, и какая-то тайная лихорадка, предчувствие потрясений. Потому что ходим по краю. Шуре многое не по нраву из того, что делается на Дону. Он ругается иной раз до крика, до безобразнейших оскорблений с местными ревкомовцами, с Бычиным, Гайлитом, со своими трибунальскими, с людьми из Донревкома, от чьего имени вдруг нагрянул в Михайлинскую наш приятель Леонтий Шигонцев.

Вспоминать смех, какую глупость творили: лампасы носить запрещено, казаком называться нельзя, даже слово «станица» упразднили, надо говорить «волость». Будто в словах и лампасах дело! Вздумали за три месяца перестругать народ. Бог ты мой, вот дров наломано в ту весну! И все от какого-то спеха, страха, от безумной нутряной лихорадки — закрепить, перестроить разом, навсегда, навеки!— потому что полки прошли, дивизии проскакали, а почва живая, колышется... Конечно, были среди них враги истинные, ненавистники лютые, были богатеи, несокрушимые в злобе, их не

переделать, не примирить, только огнем... Но нельзя же под один гребень всех...

Бычин говорит: «А я всему их гадскому племени не верю! Потому что нас завсегда душили. За людей не считали. Мужик и мужик, лепешка коровья. У них для нас доброго слова нет...»—«Никому не веришь?»—«Никому!»—«Неужто все таковы?»—«Все волки; только одни зубы кажут, а другие морду к земле гнут, так что не видать».

Шура объясняет терпеливо: казак казаку рознь, в южных округах, к примеру, средний казачий надел двадцать — двадцать пять десятин, а на севере — две — четыре десятины... Как же равнять?.. То же насчет казачьих прав и привилегий: в низовьях они имеют значение, а на севере почти бесполезны... Возьмите хоть права на рыбную ловлю, на недра... Юг всегда жил в ущерб северу... Марксизм учит: бытие определяет сознание. А бытие тут отнюдь не равное...

...Бычин все знает про марксизм, согласно кивает головой, похожей на стог, но в глазах, белых, неподкупных, свинец.

«Верно, бывает и голытьба, и рвань. Только знаешь, Александр Пименович, когда моего брата чуть не убили, кнутами засекли — он и досе инвалид,— там не одни богачи, там и рвань была, зверствовали не хуже». А секли брата, оказывается, «по молодому делу, учителеву дочку в саду помял». «Выходит, за дело?»—«Как за дело, Александр Пименович? Он по любви, жениться хотел, а они — ты, мол, хам и думать не моги... Обидно! Мы казаки, белая кость, а ты гужеед, скотина, тебе навоз копать. Они хотя учителя, но буржуи чистой воды. У них два работника постоянно. Американская косилка, лошадей табун, табунщик есть, калмык. Дом самолучший, на каменном фундаменте, в два этажа. И еще в Ельце дом — его, учителя. А здешний-то достался в приданое, она дочка Творогова, станичного атамана. Так что семья известная. От них вред для революции очень большой». Было давно, лет пять назад, сыновья учителя тогда еще были гимназисты, а теперь под замком в съезжей. Бычин до них добрался. Ему видней, он здешних знает. И вот, когда сыновей взяли, суток двое они в подвале сидят, является к нам Слабосердов, лобастый такой бородач, одетый по-городскому, в длинном черном пальто с меховым воротником, в шляпе и в сапогах грязных — упала оттепель, грязь невпролаз.

Сидим в комнате — Шура, Бычин, его помощник Яшка Гайлит, брат Петьки, еще человека три,— обсуждаем новость, приказ Донревкома, присланный телеграфом. Насчет реквизиции конской упряжи с телегами. И Орлик тут. Приказ — бомба. Не знаем, как приступить. Получен вчера, держим в секрете, но слухи непонятным образом просочились и ползут по станице, как огонь по сухой траве. И это страшней всего. Если уж бить, так сразу. Один ревкомовец сообщает, какие-то казаки гнали ночью коней с порожними телегами в степь, сам видел. Хотел остановить, кричал, в ответ стрельба, ускакали. Так и не узнал, кто. Разумеется, было б верно навалиться тотчас, как получена телеграмма, то есть позавчера, пока народ не прочухал и не прознал, внезапность в таких делах нужней всего. Но возник тормоз — Шура мнется, кое-кто из местных казаков-ревкомовцев тоже кряхтит, а Бычин и Гайлит гнут свое: исполнять немедленно. Спорим, орем. Исполнять тотчас нельзя вот почему: красноармейский отряд в разгоне, по просьбе ревкома станицы Старосельской послан туда, казаки волнуются из-за комиссара-австрийца, который до́нял нелепыми распоряжениями, а начинать без отряда немыслимо. Шура отправил в Донревком телеграмму: «Прошу отменить приказ реквизиции конской упряжи телег обстановка неблагоприятная»,— на что последовал быстрый ответ: «Обсуждение приказов не входить выполняйте».

У нас девять штыков. Охрана тюрьмы и трибунальский конвой. Если пойдет гладко, можно обойтись девятью, а если не гладко? Утром прискакал нарочный из Старосельской с сообщением, что отряд задерживается, комиссар-австриец убит, отряд подвергся бандитскому нападению, бандиты разгромлены, в станице тихо, но необходимы меры возмездия. Вот отчего задержка. Февраль девятнадцатого. Темные ночи, ветра, непроглядность, озноб...

Входит учитель Слабосердов.

Бычин вскакивает. «Кто пустил?»—«Да ваш караульный спит...» Караульный, старый казачишко Мокеич — вскоре зарубили филипповцы,— дремлет на крыльце. Чего ж не дремать? Все измотаны, изломаны ночами без сна. Бычинский стог — лицо — похудел, опал, в обвод глаз синяками круги. Машет на учителя руками, выгоняя его, как муху, в дверь: «Нету, нету, нету, нету время на разговоры! Потом зайдешь!» Но Сла-

босердов проходит к лавке, садится. «Потом нельзя. Будет поздно». Яшка Гайлит подошел к нему, строго: «Идите отсюда сейчас!» Учитель снял шляпу, зажмурился, качает головой. Я вижу, лицо в поту и губы дрожат. И говорю, что нельзя прогонять человека. Орлик тоже: «Пускай скажет, зачем пришел!» Бычин и Шура всегда немного как бы толкаются плечами на заседаниях, как бы скрытно соперничают и мерятся властью. Бычин — председатель ревкома и член окружного трибунала, а Шура — председатель трибунала и член ревкома. Но Бычин хотя и надувается, как павлин, а все же понимает разумом: Шура ему не ровня, он в партии полтора года, а Шура — пятнадцать лет. Разница! Поэтому то криклив, задирист и хочет глупо надавить, заставить сделать по-своему, а то вдруг — прорывается разумение — почтителен, искателен даже. И теперь почему-то с почтительностью: «Александр Пименович, как считаешь, допустим гражданина до разговора? Или пущай завтра зайдет? Да это Слабосердов, учитель, на дочке атамана Творогова женатый. Его сыны в залоге сидят, как враждебный элемент».

«Говорите,— обращается Шура к учителю,— только кратко. Времени крайне мало».

Бычин грозит пальцем. «И насчет сынов не проси! Разговор конченый».

Слабосердов будто бы спокойно — а пальцы дрожат, мнут старую шляпу — заводит длинную ахинею насчет казачества: его истории, происхождения, нравов, обычаев... Шура глядит на учителя пристально, лицо Бычина наливается бурой краской, ему кажется, что его дурачат. Вдруг выпаливает: «Ты чего плетешь?» И Наум Орлик добавляет: нет времени слушать лекции по истории. В другой раз, на досуге, после победы мировой революции. Но Слабосердов вдруг твердо: «Однако, граждане, вы решаете исторические вопросы. Так что историю вспомнить не грех».

«Куда клоните?»— хмурится Шура.

«Клоню к тому, о чем в станице гудят. Будто есть приказ реквизировать повозки, седла, конскую упряжь— все казацкое богатство, без которого жизни нет. Вы хоть понимаете, что это будет? Он вам скорее жену отдаст, чем седла и упряжь».—«Все отдаст, что революция потребует»,— говорит Орлик. «А не отдаст — во!»— Бычин подносит к лицу Слабосердова кулак, по-

хожий на гирю. Учитель не замечает кулака, не слышит того, что говорит Орлик.

«Я пришел, граждане, предупредить... Надо слишком мало знать казачество, чтобы полагать, что можно бесконечно на него жать: сначала контрибуцию на богатые дворы в пользу какого-то отряда, которого никто не звал, свалился на нас невесть откуда... Потом реквизиция хлеба, фуража...»

«Отряд, который занимался тут контрибуциями, был анархистский,— говорит Шура.— Советская власть не имеет к нему отношения».

«Да что вы с ним балы разводите!— кричит заместитель Бычина по ревкому, черный, с плоским, калмыцкого типа лицом Усмарь.— Обнаружился, гад! В расход его!»

Но Шура: нет, пускай доскажет. Учитель говорит: если вправду есть такой приказ и начнут его выполнять, в станице будет бунт. Не пустая угроза, а реальная. Он, Слабосердов, пришел не пугать, не грозить, пришел не от какого-то комитета, а от себя самого — всю жизнь он собирает материалы по истории казачества, пишет книгу, знает казаков хорошо и смеет думать, что не ошибается и сейчас. Дошло до края. События разразятся трагические. И уж тем более, если разыграются взаимное озлобление и месть — если жертвами падут заложники... «Да вы сознаете, что происходит в России? — спрашивает Шура.— Или мы мировую буржуазию в бараний рог, или она нас. А вы допотопными понятиями живете: «трагические события», «месть», «озлобление». Тут смертный классовый бой, понятно вам?»

«Я теории Маркса не отрицаю, гражданин Данилов, я с нею знаком, даже увлекался в какой-то мере, но согласитесь, теория — одно, практика — другое. Чувство мести, к сожалению, может примешиваться, как ни прискорбно...»

Странное впечатление: бессмысленной нелепой деликатности и чего-то твердого, негнущегося, какого-то несуразного торчка. Сразу вижу, не жилец. Ничего не понимает. И его не понимает никто.

«Не слухайте его! Пошел отсюда, ворона! Раскаркался!» Это Усмарь. Он озлоблен против учителя больше других, даже больше Бычина. Федя Усмарь — из казаков-середняков, смуглый, корявый, отчетливо помню плоское, блином лицо, всегда прищуренные глаза, не видно, куда глядит... Вскоре открылось — агент бе-

лых. По его указке деникинцы, захватив Михайлинскую, вырубили всех, кто помогал ревкому. А Бычин — балда. Оттого и погиб.

Усмарь показывает учителю наган. «За провокацию, знаешь, что? Ведь ты провокатор!» — «Не боюсь вас, граждане...» Вдруг силы покидают учителя, шляпа выскальзывает из рук. Слабым голосом старик говорит:

«Но невинных людей зачем же? За что моим детям такая казнь?.. Я вас умоляю, гражданин Данилов, не поступайте необдуманно...» По лицу Слабосердова текут слезы. Они сами по себе, а лицо грубо, мертво застыло.

«Ах, вона? Боится восстания, потому что сынов расстреляем, как заложников?» Слабосердов молчит. Да и так ясно. Пришел ради них. Однако остановить ничего нельзя, приказ должен быть выполнен.

В разбитое окно летит ветер, пахнущий сладко и гнило: землей, далью, теплом. Февраль девятнадцатого. Девятая армия бьется лбом в Северный Донец, но, кажется, силы и напор на излете. Мы чуем эту лихорадку. Казаки угадывают ее в воздухе, в котором что-то надломилось, поплыло, как кусок льда в талой воде. В Старосельскую посылают затемно гонца. Тот возвращается к вечеру другого дня с неясными сведениями: в станице тихо, глухо, шесть человек, обвиненных в убийстве комиссара, расстреляны, человек двадцать взяты заложниками, но командир отряда матрос Чевгун не спешит покидать станицу. Передал Шуре через гонца всего три слова: «Достаточно малой искры». И в этот предгрозовой воздух, в обманную тишь сваливаются внезапно сначала Володя и Ася, а спустя день Шигонцев.

Не виделись год и три месяца, огрубели, ожесточели неузнаваемо, а внутри все то же, та же единственность, та же теплота до боли. Ведь, казалось, должно было вылететь, забыться и отпасть навсегда — таким вихрем разметало. Нет, ничего, никуда. И в первую секунду, в первый час было как будто совершенно все равно, отсутствовало то, что она с ним, и уже не просто подруга, а жена, они даже говорили одними фразами, один начинал, другой договаривал, слишком часто бросали друг на друга взгляды, беглые и необязательные, но исполненные привычного внимания, машинального ощупывания — так ли? здесь ли? — и это вовсе тоже не задевало, а было как бы усиле-

нием той теплоты памяти, вдруг нахлынувшей, потому что они двое были нерасторжимость, одно. Это потом началась — и быстро — мука...

Как попали к Мигулину? Все тот же случай, поток, зацепило, поволокло. Из-за отца Володи, внезапно возникшего. Тот был с кем-то дружен из мигулинского штаба и еще весной восемнадцатого, когда Мигулин сколачивал первые отряды в Донецких степях, пристал к нему. Отец Володи погиб в бронепоезде, взорванном гайдамаками. Так и вышло: отец каким-то краем прибился к Мигулину, Володя — к отцу, а уж Ася — с ним. Разломилась семья, как спелый подсолнух. А что с родителями? Бог знает, то ли в Ростове, то ли в Новочеркасске, а может, укатили дальше на юг. Какой-то пленный рассказал, будто приват-доцент Игумнов подвизается вроде бы в Осваге[1] среди деникинских агитаторов, в Ростове. Скоро Ростов будет взят, и тогда... Что тогда? Ася об этом не думает, у нее другая забота — ждет ребенка. А Володя ни о чем говорить не может — только о Мигулине, страстно, нетерпеливо. Сообщает секретно: «В Реввоенсовете фронта его терпеть не могут. Хотя и побеждает, а все чужак... Да и сам Троцкий кривится, когда слышит фамилию... И как доказать, что он наш?»

Да сам-то Володя наш?

Еще недавно так же горячо, как теперь о Мигулине, рассуждал о крестьянской общине, мечтал о Поволжье, жить простой жизнью, с друзьями. Ведь тогда, в ноябре, когда он и Ася бежали из голодного Питера, и мысли не было у обоих сражаться за революцию. Повернуло их время, загребло в быстроток, понесло...

Чудной Володя: в долгополой кавалерийской шинели, в фуражке со звездой, с коробкой маузера, болтающейся на животе небрежно и лихо, как носят анархисты, весь облик новый, а в глазах прежнее юношеское одушевление, неизбытое изумление перед жизнью.

«Нет, ты подумай, какой умнейший тактик, как замечательно знает людей, и своих казаков и белых, и какой счастливчик, везун! А это свойство необходимейшее, это часть таланта. Из каких капканов выскакивал! Из каких передряг выкручивался живым!»

И совсем другая Ася. Я спрашиваю, когда остаемся вдвоем, спрашиваю глупо: «Как ты живешь?»

---

[1] Служба информации и культуры при Добровольческой армии («Осведомительное агентство») — *(прим. состав.)*

«Как все... Прожила день и жива, значит, хорошо».

«А с Володей как? Хорошо у вас?»

Тоже глупо, малодушно, но не могу себя одолеть. Ася, подумав, отвечает: «Добрее Володи человека не знаю. И смелее, честнее...— Еще подумала.— Ему без меня жизни нет».

О Мигулине, про которого Володя трещит с упоением, она не говорит ни слова. Будто не слышит. И это задевает — слегка — мое внимание. Не знаю до сих пор, было ли между ними что-нибудь уже тогда или лишь намечалось. Да время такое, что для намеков не оставалось минут. Может, и ребенок, которого она ждала, был Мигулина? Ни на что не оставалось минут. Только на дело, на борьбу, на выбор мгновенных решений. И почти сразу, чуть ли не через два дня после того, как появились Володя и Ася, в Михайлинскую нагрянул Стальной отряд Донревкома: человек сорок красноармейцев, среди них несколько матросов, латышей, неведомо откуда взявшихся китайцев, грозная и непреклонная сила, во главе которой стоят двое — Шигонцев и Браславский.

Шигонцев представляет Донревком, Браславский — Граждаyпр Южного фронта. Эти организации — суть власть на Дону, в освобожденных районах. И сразу дают понять, что они власть. Они-то и есть. Истинная, стальная. Именем революции. Все, что делалось нами, трибуналом округа и Михайлинским ревкомом, который возглавляет стогообразный Бычин, объявлено жалким, гнилым головотяпством. Едва ли не преступлением! Главный спор — вокруг директивы, присланной недавно в засургученном пакете с нарочным. Шигонцев и Шура встречаются не как два старых приятеля-каторжанина, которым есть что вспомнить, а как спорщики, когда-то оборвавшие яростный спор — и теперь с того же места... О да! Это начиналось год назад. В феврале восемнадцатого. Шигонцев вернулся после взятия Ростова и гневно передавал, как Егор Самсонов — третий друг, каторжанский поэт — неожиданно выступил в Совдепе против расстрелов и преследования буржуазии, о чем вопили тогда ростовские меньшевики и обыватели. Потом приехал в Питер Егор, снятый со всех постов, едва не расстрелянный сам. И Леонтий не пытался его спасать. Спасли путиловские рабочие, красногвардейцы...

«Я ж тебе говорил!»

«А почему потеряли Ростов? Почему не удалось организовать защиты?»

«Ростов потеряли из-за проклятой немчуры. Не занимайся демагогией». Шигонцев грозит Шуре пальцем, качает нелепо вытянутой, со вмятинами на висках головой.

Я вспоминаю эту голову, поразившую когда-то в Питере. Теперь она выбрита, изжелта-серая после тифа. Шигонцев за год почернел, похудел, стал жестче и не так болтлив — у него пропал голос, он сипит. Едва слышно, страстным сипением поносит немецкий пролетариат, который всегда запаздывает: с революцией задержались на год, теперь волынят в Баварии, хотя Эйснер убит, надо воспользоваться...

«По сути, речь о том,— он тычет в Шуру пальцем,— как удержать наши завоевания. Неужто история ничему не учит?— И, как всегда, переполнен цитатами и примерами из французской революции.— Постановление Конвента гласило — на развалинах Лиона воздвигнуть колонну с надписью: «Лион протестовал против свободы, Лиона больше не существует». Если казачество выступает врагом, оно будет уничтожено, как Лион, и на развалинах Донской области мы напишем: «Казачество протестовало против революции, казачества больше не существует!» Кстати, прекрасная мысль: заселить область крестьянами Воронежской, Тульской и других губерний...»

«А почему вы так боитесь пули?»— спрашивает Браславский Шуру.

Шура ничего не боится. Каторга научила. Нет в мире ничего, достойного страха. Он болен. Он катастрофически заболевает, чего пока не знает никто, свалится к вечеру, сейчас у него жар, горит лицо. Он говорит, что дело не в страхе пули, а в страхе перед восстанием в тылу красных войск. Браславский спрашивает: сколько человек расстреляно трибуналом за три недели? Браславский — маленький, краснолицый, с надутыми щеками обиженного мальчика, возраст непонятен, то ли мой ровесник, то ли, может быть, лет сорока. На нем широкая и нескладно длинная, не по росту кожаная роба, кожаные автомобильные штаны. Взгляд странный: какой-то сонный, стоячий. Что он там видит из-под нависших век? О чем думает? И в то же время цепкое, клейкое, неотступно всевидящее в этом взгляде. Шура отвечает: «Одиннадцать».

Глаза Браславского — как две улитки в раковине красно опухших век. Раковина сжалась, улитки втягиваются вглубь. «Вы знакомы с директивой?» Шура: знаком. Смысл директивы: «расказачивание», преследование всех, кто имел какое-либо отношение к борьбе с советской властью, расстрел всякого, у кого обнаружится оружие. Шура, прочитав, сказал: «Ошибка, если не хуже! Будем раскаиваться. Но будет поздно». Какие уж там седла, повозки. Это грозный вызов казакам.

Теперь Шура говорит спокойно: знаком.

«Вы знаете,— говорит Браславский,— что я могу предать вас суду как саботажников?»

Бычин бубнит, струхнув: «Товарищ, у нас же все сделано, все наготове, люди дожидаются в залоге, я товарищу Данилову какой раз поднимал вопрос...»

Удивительно, такой здоровенный, могучий, с бугристыми кулаками и, чуть на него надавил этот маленький, с сонными глазками, сейчас же отрекается и выдает!

Все нападают на Шуру. Если б были своевременно истреблены контрреволюционеры в Старосельской, там не погиб бы товарищ Франц, австрийский коммунист, и не возникло бы такое положение, как теперь. Шура пытается возразить: бывает непросто разобрать, кто контрреволюционер, а кто нет, кто на сорок процентов поддерживает революцию, на сорок пять сомневается, а на пятнадцать страшится... Тут он пародирует Орлика... Каждый случай должен тщательно проверяться, ведь дело идет о судьбе людей... Но Шигонцев и Браславский в два голоса: дело идет о судьбе революции! Вы знаете, для чего учрежден революционный суд? Для наказания врагов народа, а не для сомнений и разбирательств. Дантон сказал во время суда над Людовиком: «Мы не станем его судить, мы его убьем!» А «Закон о подозрениях», принятый Конвентом? Подозрительными считались те из бывших дворян, кто не проявлял непрестанной преданности революции. Не надо бояться крови! Молоко служит пропитанием для детей, а кровь есть пища для детей свобод, говорил депутат Жюльен...

Для Бычина цитаты, которыми сыплет Шигонцев, все равно что треск сучьев в лесу.

«Вот кого под корень!— трясет бумагой.— Антоновы, Семибратовы, Кухарновы, Дудаковы, они свойствен-

ники того Дудакова, учителя Слабосердова в первый черед, как атаманского зятя, а он на воле гуляет, хотя я товарищу Данилову какой раз говорю...»

На Слабосердове запоролись. Шура не хочет давать согласия. Непонятно почему. Видел он учителя только раз, спорил с ним, разговаривал сердито, а уперся — ни в какую. Лицо его в пятнах, пылает зноем, глаза блестят в провалах глазниц. И рукой показывает: воды, воды! Я таскаю ему воду в глиняной кружке.

Наум Орлик кричит: «Да ты болен! У тебя жар, наверное, под сорок!»

«Нет, нет. Я здоров. Я хочу сказать следующее: директиву считаю плодом незрелого размышления. Я буду писать в ЦК, Ильичу...»

Браславский молчит, глядя на Шуру. Минутная пауза. Браславский соображает, как поступить. Как-никак он тут главный по чину — представитель РВС фронта. Медленно подняв руку с маленькими гнутыми пальчиками — то ли разрешительный жест, то ли приветствие войскам на параде,— Браславский произносит устало: «Да пишите сколько угодно! Ваше право заниматься теориями. Вы бывший студент? А я рабочий, я кожемяка, не учен теориям, я обязан выполнять директивы...— рука сжимается в кулачок и с неожиданной силой грохает по столу так, что глиняная кружка подпрыгнула и покатилась.— По этому хутору я пройду Карфагеном!»

Эта фраза настолько изумительна, что, не сдержавшись, я делаю замечание: «Пройти Карфагеном нельзя... Можно разрушить, как был разрушен Карфаген...» Стоячий взор из-под тяжелых век замер на мне. Раздельно и твердо: «По этому хутору я пройду Карфагеном! — И, помолчав мгновение, оглядев всех, внезапным выкриком: — Понятно я говорю?!»

Потом Шигонцев объясняет секретно: Браславский сильно пострадал от казаков, его семью вырезали в екатеринославском погроме в 1905 году. Мать убили, сестер насиловали... Да ведь не казаки убивали и насиловали, а местные? Казаки, говорит, помогали. Шигонцев сообщает почти с радостью: «Лучшего мужика на эту должность и придумать нельзя!»

Если бы Шура не заболел и не свалился тем же вечером без сознания, могла быть сеча между своими... Ведь он вызвал Чевгуна и отдал приказ: трибунальский отряд поставить на защиту тюрьмы, заложников не выдавать. Расстрелы начинаются в Старосельской, откуда

Чевгун вернулся. Казни контрреволюционеров. Возмездие за убийство коммунистов... За товарища Франца... В нашей Михайлинской пока тихо, заложников не трогают, караул Чевгуна сидит на крылечке тюрьмы, бестревожно лузгает семечки, но лишь потому, что Стальной отряд идет Карфагеном по Старосельской. Мне кажется, и Бычин ошарашен таким свирепым усердием... Бог ты мой, да разве свиреп кожемяка с сонными глазками? Разве свиреп тот казак, кого мы поймали в плавнях и расстреляли на месте за то, что в нем заподозрили убийцу Наума Орлика? Наума нашли в соседнем хуторе, Соленом, связанным, исколотым штыком, безглазым и, самое ужасное, живым... Разве свирепы казаки, захватившие Богучар и десятерых красноармейцев закопавшие в землю со словами: «Вот вам земля и воля, как вы хотели?» И разве свирепы станичники Казанской и Мешковской, которые заманили в ловушку Заамурско-Тираспольский отряд, отступавший весной восемнадцатого с Украины и в смертельной усталости, не подозревая худого, расположившийся на ночлег в казачьих хатах? Часть отряда, состоявшая из китайцев, была расстреляна во время сна, остальных раздели догола и заперли в сараях. Станичный попик в Мешковской служил по этому случаю благодарственный молебен и требовал всех запертых в сараях антихристов сжечь живьем. И разве так уж свирепы казаки Вешенской, которые той же весной единым махом в приступе революционной лихости перебили своих офицеров и объявили себя сторонниками новой власти? И разве свирепы четыре измученных питерских мастеровых, один венгерец, едва понимающий по-русски, и три латвийских мужика, почти позабывшие родину, какой год убивающие, сперва немцев, потом гайдамаков, а потом ради великой идеи — врагов революции, вот они, враги, бородатые, со зверской ненавистью в очах, босые, в исподних рубахах, один кричит, потрясая кулаками, другой бухнулся на колени, воют бабы за тыном. И каторжанин, битый и поротый, в тридцать лет старик, сипит, надрывая безнадежные легкие: «По врагам революции — пли!»

Свиреп год, свиреп час над Россией... Вулканической лавой течет, затопляя, погребая огнем, свирепое время... И в этом огненном лоне рождается новое, небывалое.

Когда течешь в лаве, не замечаешь жара. И как увидеть время, если ты в нем? Прошли годы, прошла

жизнь, начинаешь разбираться: как да что, почему было то и это... Редко кто видел и понимал все это издали, умом и глазами другого времени. Такой Шура. Теперь мне ясно. Тогда я сомневался, как многие. Он один в истинном ужасе от «директивы», которую я не мог прочитать, хранилась в тайне, через два месяца отменили, но зло вышло громадное. Прочитал спустя пятьдесят лет. Когда почти уже ни для кого не страх, не боль... Примерно вот что: 1) массовый террор против казачьих верхов; 2) конфисковать хлеб, заставить ссыпать все излишки; 3) организовать переселение крестьян из северных губерний в Донскую область; 4) уравнять пришлых иногородних с казаками; 5) провести полное разоружение; 6) выдавать оружие только надежным элементам из иногородних; 7) вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах впредь до установления порядка; 8) всем комиссарам, назначенным в казачьи поселки, проявлять максимальную твердость... Бог ты мой, и как мало людей ужаснулись и крикнули! Потому что лава слепит глаза. Нечем дышать в багряной мгле. Пылает земля, не только наша, везде и всюду: во Франции и Англии революционные забастовки, в Германии почти укрепилась советская власть, Румыния и Бессарабия в огне крестьянских бунтов... Как же иначе, как не штыком и пулей доканывать контру? Ведь почти всю доконали. Но тут и была ошибка, роковой просчет, что видел Шура, о чем бормотал в бреду, будто победа уже в руках. Будто Краснову и Деникину после зимнего натиска не подняться... И я не ужаснулся, не крикнул! И мне красная пена застилает глаза. Я вижу Орлика, залитого кровью, глаза выбиты, а губы шепчут бессвязное... За что убили Наума Орлика, который никогда никому не сделал зла? Он был человек размышления, до всего допытывался умом. Мы разговаривали о том, как нужно после победы преобразовать обучение в университетах... Поехал один, без охраны, повез пачку политотдельской газетки — пропагандировать, внушать... Глумились над полумертвым... Все мужики из того хутора ночью сбежали в степь... На другой день Браславский приказом от РВС фронта разгоняет ревком, назначает новых людей, нового председателя, всех пришлых, Бычина опрокидывает в рядовые — за мягкость. И, так как Шура в тифу, без памяти, едва не помирает, председателем трибунала назначаюсь я. Не хотел. Отказывался как мог. Разговор был крутой,

с угрозами, он доказывал, что я не имею права. Нет, не хотел. Ни за что не хотел. Совсем не мое: приговоры, казни. Я говорил: «Для этого нужны особые люди. Такие, как Шура. Закаленные каторгой». Он сказал: «Ничего подобного! Нужны люди, умеющие написать протокол. Людей нет. Ты единственный. Это твой долг...». Матрос Чевгун: «Оставайся, браток, на этом посту. А то посадят злодея...».

Чевгуна тоже рубили филипповцы. Один из всех оказался недорублен, откачали, выжил. Куда-то исчез той же весной. Потом тридцать второй? Ну да, Урал, Тургаяш-ГРЭС. Только что приказом Кржижановского я назначен главным инженером эксплуатации Тургаяша. Работы пропасть. Приезжает Галя с ребятами, живем в деревенском доме, кругом тайга. Что же там было? Что мучило? Из трех очередей Тургаяша первая очередь (два турбогенератора по 3000 киловатт) закончена в двадцать третьем. Вторую очередь — с двумя турбогенераторами ЛМЗ по 10 000 киловатт — закончили как раз перед моим появлением. Котлы уже вошли в эксплуатацию, а турбогенераторы — тут-то и есть вражья сила! — хотя и отличались превосходным расходом пара, но страдали огромными дефектами в регулировке. Все время на грани разноса. Вот уж намучились! А третья очередь еще только готовилась. Котлы на цепных решетках. Но дело не в решетках — хотя их не было, завод еще не изготовил,— а в том, что котлы шириной в 10 метров трудно обслуживать шуровкой, да попросту невозможно. А шуровка необходима для тургаяшских углей. Ну что же, рапорт в Москву! Цепные решетки заменить пылесжиганием. Москва обижается. Присылают комиссию. Согласились со мной, получаем новое оборудование, топку заказываем английской фирме «Комбасшен»... И вдруг спустя месяц срочно вызывают в Москву. Зачем? За каким лешим? «В Москве объяснят. Поезжайте!» Уполномоченный что-то знает, остальные пожимают плечами. Галя страшно волнуется. Это был ее минус: в роковые минуты не умела успокаивать, всем видом, страхом, волнением еще сильней поддавала жару. Даже вскинулась — с детьми, Руська тогда болел — ехать со мной в Москву, насилу отговорил.

Но таинственность вызова—после того, что я оказался абсолютно прав с заменой решеток — меня и вправду встревожила. Вдруг в поезде проясняется. Купил газету, и

там черным по белому: «Вредительство под крылом «Комбасшен». Обвиняют меня и инженера Сулимовского. Не по Тургаяшской электростанции, а по прежней, по Златоусту. Все уже будто бы «сознались» в своих «преступлениях». Власти сочли возможным покарать главных виновников, а технических исполнителей — меня и Сулимовского — не наказывать. Все это — на целой газетной полосе, посвященной делу «Комбасшен». Ночь в поезде я, конечно, не сплю. Какая-то дичь. Если я вредитель, почему не арестован? Если невиновен, какое право имеют писать обо мне как о преступнике? Оказывается, идет какой-то процесс, а я, обвиняемый, узнаю о нем из газет. Поезд приходит утром. Куда ж я бегу в первую очередь? К Шуре? Ну, Шура, конечно, самый близкий, ближайший, но он уже не у дел, отодвинут, на пенсии. От него только совет... Ему звонок из гостиницы. Он все понял, объяснять не надо, газеты читает. «Иди сейчас же к Алешке Чевгуну!» И дал адрес, а Чевгун работал тогда в прокуратуре. Это я знал. Но не видел его тринадцать лет. Для себя решил так — резко протестовать, написать заявление в ОГПУ и сегодня же отнести на Лубянку. Если враг — берите и судите! Чевгун живет в громадном доме возле Каменного моста. Часов восемь утра. Принимает меня в кабинете — не могу сказать, чтоб уж очень радостно, как-то тихо, приветливо, настороженно, все вместе. Показываю заявление, он читает и вдруг — подскочил в кресле. «Да ты что, с глузду съехал?! Пропадешь ни за понюх табаку! И ни я, ни Шурка тебя не вытащим. Никуда не ходи и никаких заявлений не подавай!» Мудрый был совет.

Бред у Шуры однообразный — замкнулся на Слабосердове. То кричит страшным голосом. «А я вам Слабосердова не отдам! Молчать! Слабосердова оставьте в покое». То начинает умолять кого-то: «Друзья, христом-богом прошу... Нельзя же так, ну нельзя же убивать... Не убивайте, заклинаю вас, Слабосердова...», то лепечет невнятное. Болеет странно, превращается в другого человека, ведь это почти комический вывих ума: твердить одно имя, когда гибнут десятки, сотни. Но вот он приходит в себя и спрашивает, глядя ясно и трезво на Леонтия и на меня — мы двое возле койки,— спрашивает едва слышно, но требовательно: «Что с учителем Слабосердовым?» Леонтий отвечает: ничего с ним особенного. То, что быть должно, то и есть. «Что же?» Вопрос,

говорит, снят. Такого вопроса больше нет. Шура берет свои стеклышки в стальной оправе, насовывает на нос, глядит на Леонтия, на меня и закрывает глаза. Леонтий шепчет: «Опять бред...»

«Нет,— говорит Шура,— это у вас бред. А я все понимаю хорошо». И правда, голос звучит ясно. Так что же было бредом тогда? Бред — невнятица, тьма, то, что клокочет в глубине глубин. Багровый туман, помутняющий разум. «Это вы бредите, а не я»,— говорит Шура. Из-под стеклышек по щекам ползут слезы. Никогда не видел у Шуры слез. Их и не было никогда. Шура шепчет: «Почему же не видите, несчастные дураки, того, что будет завтра? Уткнулись лбами в сегодня. А все страдания наши — ради другого, ради завтрашнего... Ах, дураки, дураки...» Мы рады: слава богу, кризис прошел! Шура поправляется. Он не бредит, он все понимает хорошо.

В том злосчастном марте, который наступил в разгар болезни Шуры — в памяти о нем,— все спуталось, слиплось, как старые кровяные бинты на ране, и я бессилен разъять, отделить одно от другого. Старые раны не трогать. Когда появился Мигулин? Что там делали Володя и Ася? Когда был расстрелян Браславский? И почему Леонтий остался жив? Не трогать, не трогать. Невозможно всю эту боль перебинтовывать вновь. Ничего не получится. Не надо. Забыто. Кровяные бинты закоченели, превратились в камень, в каменный уголь. Это пласты, которые надо вырубать отбойным молотком. Непроглядная, сплошная чернота, и где-то там внутри Ася. Она жива! Все это в марте, в оттепель, на Северном Донце ледоход, белые взорвали мосты при отступлении, и бригада Мигулина топчется на правобережье. Наступление захлебнулось. Но не только из-за оттепели, нет, нет! Не в оттепели причина. В ночь с одиннадцатого на двенадцатое в одной станице началось, и — как пожар... То, о чем предупреждал Шура. А раньше Шуры — учитель Слабосердов. Да мы все предчувствовали, ждали со дня на день, томилось в воздухе, в ознобе. Была какая-то глухота. Мы ждали: еще раньше, чем здесь, чем эти мелкие, районные неприятности, взорвется мир. Все революционеры, все рабочие земного шара воспрянут как один. Ну, а как же иначе? Что же иное застилало нам очи? Тут наша боль, наше оправдание. Мне восемнадцать лет, в моих руках жизнь сотен мужиков, которых я боюсь, и женщин, которых не знаю, и стариков,

которых не понимаю. А Шура не успел отослать свой гнев в ЦК, отправил позже, когда выкарабкался из тифа, когда все уже бушевало, север горел. Когда было поздно. Бог ты мой, отчего же поздно? Ведь только девятнадцатый год! Поздно, станицы поднимались, весь тыл полыхал, пришлось снимать части с фронта. Браславский отдал приказ: «Выкопать общую могилу для заложников». Казаки тою же ночью разбежались. Копать некому. Не старикам же и бабам. Я, грешным делом, думаю: в своем ли он уме? И в своем ли уме я? Ведь от такой работы ежедневной свихнешься в два счета. Нет, дело не в том, что свихнешься, а в том, что какое-то омертвение. Становишься бесчувственным, как мешок с песком. Тебя колют иглой в живое тело, а тебе ничего — игла буравит песок. То, о чем Шигонцев мечтал: ноль эмоций. Высшее состояние, которого надо достичь. Февраль девятнадцатого. Начало марта. Сырой весенний ветер разносит крики, запахи, дым, стрельбу, вой. У меня в руках список: один за то, что был с красновцами, другой за то, что там свояки, третий не хотел отдавать коня, у четвертого нашли винтовку, пятый спекулировал, шестой ругал власть, седьмой — бывший юнкер, восьмой — родственник попа... Шигонцев твердит: «Вандея! Вандея! Республика победила только потому, что не знала пощады». Я должен все это подписать махом. Какая разница: восемнадцать человек Бычина или сто пятьдесят Браславского? Люди ужасаются цифрам. Как будто арифметика имеет значение. Так внушает Шигонцев. «Человек должен решать в принципе: способен ли великому результату отдать себя целиком, всю свою человеческую требуху?» Я бы сказал: способен ли подвергнуть себя омертвению? То есть в чем-то себя убивать? Но потом выясняется: неправда. Арифметика имеет значение. Все это так непоправимо слиплось, переплелось: то, что я читал, и что рассказывали, и что обрывочно сохранилось, и что вообразилось, и что было на самом деле.

Что же на самом деле? Володя и Ася — на соседнем хуторе, там формируется запасной полк. Мигулин шлет разъяренные телеграммы, требует смещения ревкома, назначения другого окружного комиссара. Грозит приехать сам, разогнать ревком пулеметами, всех засудить, перестрелять. Называет Браславского, Шигонцева и нового предревкома лжекоммунистами. Да как он может приехать? Война телеграмм. Браславский отвечает грубостью. «Он меня не назначал! Я ему не подчиняюсь!» Не испы-

тывают страха перед Мигулиным, потому что чуют: он не пользуется доверием. Володя ненавидит Браславского. Да и со мной враждебен. «На твоем месте я бы пустил себе пулю в лоб». Это он мне в присутствии Аси, у меня дома. Я просто советуюсь с ним, как с другом, что мне делать. Советуюсь доверительно, а он отвечает со злобой. В нем всегда была театральщина, какой-то непереваренный Шиллер. Ася гораздо умней. Она глядит на меня скорбно, сочувственно, не вступает в спор и, помню, шепнула мне тихо: «Ты пропал...» Но я не хочу пропадать! Я вижу Орлика — мертвого, исколотого и живого. Я ощущаю ожесточение казаков, их неуступчивость, недоброту, отчаянье. Теперь-то ясно: наши ошибки с дьявольской энергией и силой использовали враги революции. Но тогда ощущал одно: настали роковые дни — начало марта. Володя и Ася не знают о той ночи, когда я побежал к Браславскому. К Шигонцеву бежать бесполезно. У того искусственные мозги. Побежал к Браславскому. Состояние было такое, когда я был способен на все — застрелить его, застрелить себя.

А самое главное, в ту мартовскую ночь директива была уже отменена центром, но мы не знали! Впрочем, Донревком знал, однако не торопился оповещать. Как я мог забыть о той ночи? Сырая, гнилая, в красных всполохах далекой грозы. Я был мальчишка, глуп, смел и дрожал, как в лихорадке. Я знал одно: этой ночью должно решиться. Он «пойдет Карфагеном» дальше, все дальше и дальше, цифры не имеют значения, это дорога без конца. У ворот на корточках, поставив винтовки между колен, сидели китайцы. На крыльце спал пулеметчик. В крайнем окне огонь. Значит, не спит! Мучается перед рассветом. Как же не мучиться? И ворохнулась надежда: а вдруг уговорю? Мордочка у него за последние дни сделалась густо-красная, вишневая, щеки еще больше надулись, поглядишь и скажешь: то ли вина напился, то ли больной смертельно. Все должно было решиться до рассвета. Толкнул дверь. Сидит один на стуле, галифе подвернул, ноги в горячей воде мочит, в тазу. И кипяток из чайника подливает. Это меня поразило! «Матвей, ты что? Ты здоров?» Никогда не видел, чтобы люди сами себя кипятком пытали. Как убивают людей, как рубят, расстреливают — видел. А как ноги парят — нет.

«Видно, кровь меня распирает и в голову бьет,— сказал.— Пиявки достать нужно, да где их взять?»

Аптекарь из Старосельской оказался врагом, нет его. В расходе. Ординарец свежий чайник подтаскивает. Я смотрю, ноги у него совсем розовые, вареные, а он еще подливает. Воля нечеловеческая. «И как ты терпишь?»—«Терплю обыкновенно. Еще хуже бывает печет, а терплю». Я ему тут же: не могу, не подписываю, отказываюсь. Делайте, что хотите. Пускай меня под расстрел. «Мышление у тебя не пролетарское,— сказал он.— Дальше пупка не видишь. Садись рядом лучше, почитай мне газету». А у него к вечеру зрение портилось. Иногда заседание проводит, речь говорит, а веки сами собой затворяются. У меня буквы прыгают, язык не поворачивается читать, потому что в голове стук — конец пришел! Нету выхода. Не могу я этот кипяток выносить. Или его или себя кончать — до рассвета! Все равно конец. Она сказала мне: «Ты пропал». Но про ту ночь никто ничего не знал. Ни один человек. Даже Гале никогда не рассказывал. И даже сам, кажется, забыл, забыл полностью и наглухо. Не померещилось ли? Нет. Было. Вытягиваю из кармана револьвер, щелкаю предохранителем. И не знаю еще в ту секунду помрачительную: в кого? Вот именно так и было. Совершенно не знаю. Только еще буду решать в другую секунду... Он на меня взглянул, дернул щекой, ротик маленький, пунцовый, отвалил в изумлении, чайник в одну сторону, сам в другую, на пол, лежит, не дышит... Нет, не умер тогда... Через полтора месяца. Вместе с ним расстреляли еще пятерых. Весь Стальной отряд раскидали кого куда — кого в тюрьму, кого на фронты, на север, под Царицын. Судила их чрезвычайная комиссия от реввоенсовета фронта во главе с товарищем Майзелем. Который потом в Цветмете работал. А почему Шигонцева не тронули? Это необъяснимо. Позабылось. Кто-то выручил. Помню, как он скрипел легкими, тощий, исчерневший лицом, плевался кровью, а взгляд все такой же пылающий, сатанинский: «Почему погиб Мотька Браславский, золотой мужик? Потому что казаки взбунтовались. А почему взбунтовались? Да потому, что недожег, недовырубил... Сам виноват, слепой черт!» Но дело-то вот в чем: когда восстание началось, Мигулина внезапно отзывают с Южного фронта в Серпухов, в полевой штаб РККА. Оттуда бросают еще дальше на запад, в Белорусско-Литовскую армию. За каким лешим? Как раз в то время, когда Деникин наступает, когда Мигулин всего нужней на Дону...

Павел Евграфович измучился ходьбой и зноем, обедать не захотел, пришел в свою комнату, лег. Лежал долго. Никто не заходил к нему. Так прошло часа четыре. Иногда дремал. Очнувшись от дремоты, слышал голоса, доносившиеся с веранды, а однажды Гарик бежал с кем-то по скрипучей, усыпанной битым кирпичом дорожке под окном и прокричал на бегу, задыхаясь, странную фразу: «А ты ей отплатил сторицей?» Эта фраза почему-то задела Павла Евграфовича, он стал думать о ней с волнением, пытался вникнуть в ее смысл, в эту малую искру души внука, что пролетела случайно внизу под окном, трепыхаясь, как бабочка, в естественной наготе, неся что-то важное, какую-то суть, сокровенность, и пропала в тишине жаркого дня: стал думать о том, как меняются поколения, о женщинах, о мести, о благодарности и о том, что любовь никак не связана с пониманием. И даже с пониманием того, что все они свиньи. Галя десять раз зашла бы и спросила: «Ну как ты? Что ты? Обедать не хочешь? Лекарство не дать?» Внук говорил, вероятно, об Аленке, внучке Полины. Там что-то происходило. Какие-то страдания. Бог ты мой, что ж удивительного? Как раз тот возраст, в каком был Павел Евграфович в пору школьных мучений — шестьдесят лет назад в Питере — из-за Аси. Мучительнице следовало отплатить за что-то сторицей. Но вот загадка: была отплата местью? Или благодарностью? Оттого и волновался Павел Евграфович, что казалось почему-то необходимым разгадать тайну фразы, крикнутой впопыхах, ибо это имело отношение к его собственной жизни, подошедшей к концу. Если истинным смыслом была месть — одно, если же благодарность — совсем другое. С огорчением он все более склонялся к тому, что, пожалуй, месть, пускай детская, пустяковая, но все же месть, теперь это вроде модно: ты — мне, я — тебе, ты — меня, я — тебя. Во всех видах. Вдруг на лесоповале в Усть-Камне один сивобородый, старенький спросил шепотом, так ли Павла Евграфовича фамилия. Услышав подтверждение, засиял беззубо, поклонился до земли и вытащил из кармана завернутый в тряпочку осколок пожелтевшего кускового сахара: «Примите благодарность через двадцать лет! От бывшего попа-расстриги, которого от казни спасли. Станицу Михайлинскую помните? Девятнадцатый год?» И рассказал занятное. Кто-то из отцов церкви писал, будто чувство благодарности есть проявление божества. Оттого оно редко. Неблагодарность куда

чаще встречается. «Я не тому радуюсь, что вас могу отдарить благом, а тому, что сам счастлив — сию минуту с богом говорю».

Вот что вспомнилось от внуковой беготни, крика случайного, и тут стук в дверь, вошла Вера.

— Папа, ты не проголодался? К тебе тетя Полина...

С Полиною было так: первые года два после смерти Гали видеть ее не мог, разговаривать невыносимо, все напоминало, кровоточило. Все, все: долгоносое, сморщенное, черноглазое лицо Полинино, ее южный «хакающий» говорок, похожий на говор Гали — землячки, елизаветградские,— ее картавость, манера шутить. Хотя, конечно, Галя шутила тоньше, остроумнее. Юмор был замечательный. Да и вообще какое сравнение? Галя умная, глубокая женщина, а Полина все-таки не очень умна. Потом-то он с нею примирился, с тем, что она продолжала существовать, когда Гали уже не было. А спустя некоторое время снова полюбил ее, поражался ее неутомимости, жалел ее и старался помочь, встречаясь с нею на шоссе, когда старушка плелась, нагруженная хозяйственным скарбом, волоча тележку на колесиках, похожая на дряхлого, медленного жука, и ненавидел ее дочь, ее зятя и внучку — страстно, как можно ненавидеть врагов — за то, что допускали подобное безобразие. С зятем были резкие стычки. Сделал раза два справедливые замечания — как же так, милые друзья, у вас автомобиль, а бабка все таскает на себе с круга? — на что последовала какая-то грубость. И он зарекся пытаться что-либо исправлять в этой семье, но, когда встречал Полину с поклажей, всегда отнимал тележку, брал сумку. Хотя врачи больше трех килограммов поднимать не велели. Да он на врачей давно рукой махнул.

Полина что-то объясняла вполголоса, таинственное, черные глаза круглились, морщинистый рот кривился набок. Как же она постарела, бедная! Истинная старуха. А вот Галя старухой так и не стала.

— Чего ты шепчешь? — сказал он, раздражаясь.— Говори обыкновенно. Ты же знаешь, я не люблю секретов...

Раздражился не оттого, что секреты, а оттого, что недослышал. Каждый раз напоминай. А ведь неприятно. Все равно что милостыню просить: помогите старику, говорите громче! Полина, конечно, хорошая баба, любила Галю искренне, Галя любила ее, а Галя просто так, за здорово живешь дружбой никого не дарила, но Галя,

такая непреклонная со всеми, была терпима к своим. Она прощала подруге недалекость ума. Вскоре после Галиной смерти та явилась в гости в каком-то странном ярком наряде, напудренная, с накрашенными губами. На что она рассчитывала? Что это был за ход? Павел Евграфович испытал такой прилив раздражения, что процедил сквозь зубы: «Пожалуйста, запомни, никогда не приходи ко мне с накрашенными губами!»

Продолжала говорить шепотом, но громким и напряженным, как в театре, и глаза еще более круглились: о какой-то справке, каком-то свидетельстве, переселении, вселении. Ах все то же — домик Аграфены Лукиничны. Сурово сказал, что этим делом заниматься не станет. Ни с той, ни с другой стороны. Свой кооперативный пай давно уступил Руслану, на собраниях не присутствует, права голоса не имеет, так что разбирайтесь сами.

— Паша, я тебя ни о чем не прошу,— только дай мне справку.

— Я не контора, чтоб давать справки. У меня печати нет.

— Паша, не шути. Я прошу. Речь идет о моей... Ну, если хочешь более точно,— бугристый, со многими ямочками подбородок задергался, рот еще более съехал набок в неловкой усмешке,— не обо всей жизни, а о самом конце. О последнем кончике! — И показала двумя пальцами, какую чуточку ей осталось жить. Это был юмор. Но неуместный. Если бы Галя захотела сострить на такую тему, она придумала бы что-нибудь удивительное!

— Что за справка тебе нужна?

— Я ж говорю: справка о том, что я занималась революционной работой.

— Какой работой ты занималась?

— Ну как же, в девятнадцатом году сидела в деникинской контрразведке. Ты забыл? Тебе Галка рассказывала сто раз. И Галка сидела.

— Мать, тебе было четырнадцать лет. Галке было тринадцать.— Он засмеялся. Говорить о Гале было приятно.— О какой революционной работе может идти речь, бог ты мой?

— Паша, мы были сознательные девочки, мы очень любили революцию...— Тут она замолола в своем обычном болтливом стиле, якобы полушутя, якобы остроумно, а на самом деле вздор. Закончила неожиданно и без промаха: — Была бы Галка жива, она бы сделала такую

справку в два счета! Ничего не нужно, просто написать, что знаешь со слов покойной жены, что Полина Карловна преследовалась деникинской контрразведкой, ну, за революционные действия...

— А какие действия, прости, пожалуйста?

— Мы разбрасывали на базаре листовки от имени «Лиги независимых учащихся». Нас потащили в участок, держали шесть дней. Могли сделать с нами что угодно: избить, изнасиловать, расстрелять, они были полные хозяева...

Недалекость из нее так и перла. Кому могла помочь подобная справка? Правление кооператива, где сидят люди циничные, равнодушные, только похихикает над ними обоими. Да и вправду смешно. Полина сказала, что справка нужна для другого. Хочет устроиться в Дом ветеранов. Какой-то особенный Дом ветеранов в Успенском, под Москвой, Павел Евграфович о нем слышал.

Это известие настолько ошеломило, что он умолк, пораженный. Дом ветеранов — тайный ужас Павла Евграфовича. В бредовых снах, в ночных мыслях, из рассказов других рисовалось ему последнее обиталище, где главною пыткою было то, что вокруг чужая старость, никого и ничего, кроме чужой старости, мучительнейшее для стариков. Разве там может быть счастье — услышать под окном загадочный крик внука: «А ты отомстил ей сторицей?» И чем более в рассказах о богадельне расписывались садики, коврики, библиотеки, телевизоры, тем сильнее сжималось холодом сердце Павла Евграфовича — роскошь этих домов напоминала магометанский рай. Расстаться с детьми, внуками значило расстаться с последним, что оставалось от Гали. Но, слава богу, ему это не грозило. Ошеломило то, что Полина говорит о Доме спокойно.

— Что за глупость! — сказал сердито.— Сегодня же поговорю с Зинкой, поговорю с твоим зятем. Что они, рехнулись?

— Они не знают. Я еще не сказала.

— Зачем ты это придумала?

— Ну как зачем, Паша...— Полина запнулась как бы в затруднении: говорить или нет? Худые, жилистые руки прачки, таскальщицы сумок сделали недоумевающий разворот ладонями наружу и в стороны.— Я им не нужна, Паша.

— Не мели вздор! Глупость! Выкинь из головы! — закричал он.

— Нет, Паша, чистая правда. Была нужна, когда Алена была маленькая, а сейчас не особенно. Сейчас в некотором смысле даже обуза... Они собираются в Мексику на три года, Алену хотят отдать в интернат. Да разве вообще-то мы им нужны?

Павел Евграфович молчал. Все это ему не нравилось. Во-первых, что за «мы»? Зачем равнять? Люди совершенно разные, находятся в разном положении, и равнять нельзя. Во-вторых, доля правды в глупых словах все же была, и тут крылось главное неприятное. И еще — решение Полины требовало мужества, наличие которого у бедной старушки он не предполагал, и почувствовал себя задетым и даже как бы униженным. Единственное, что нашелся сказать:

— Зачем, в таком случае, претендуют на дом Аграфены?

— А я не знаю. Я в их дела не путаюсь. Паша, прошу, несколько слов...

Он сел к столу, надел очки, вырвал из тетради листок клетчатой бумаги, написал. Полина сложила вчетверо, сунула под пояс и, чмокнув Павла Евграфовича в щеку, вышла. Однако через минуту воротилась и шепотом, вновь округляя со значительностью глаза — старая гимназическая повадка, неуместная для старушки, пора бы отстать — произнесла:

— Только прошу тебя, Пашута, ничего своим не рассказывай!

Павел Евграфович посидел немного за столом, размышляя над странностями Полины — зачем-то чмокнула в щеку, назвала Пашутой, чего делать не следовало, так называла его одна Галя, опять бестактность от недалекого ума,— но затем, махнув мысленно на все это рукой, углубился в письмо Гроздова и в свой ответ. Работа подвигалась плохо. Несколько раз заглядывали то Вера, то Руслан, звали обедать, отвлекали вопросами, он прогонял, сердился. Жара не спадала, и мучил неприятный запах из сада — вроде курицу палили или жгли мусор. Скорее всего, опять безобразничал сосед Скандаков. Завел моду сжигать всякую дрянь в железном баке, отчего гадкий запах тянулся по соседним участкам, и никак пресечь это хулиганство было нельзя — и так стыдили, и на правление вызывали, и Павел Евграфович письмо посылал в его организацию, все бесполезно. Он, нахалюга, говорил: «А я за направление ветра не отвечаю!» Так, промаявшись около часу и написав всего четыре фразы,

правда, очень содержательных, Павел Евграфович отправился на веранду обедать. Жара всех сморила, разметала. Мюда лежала на раскладушке с мокрым полотенцем на голове. Руслан босой, в трусах сидел в углу веранды за столиком и что-то правил, согнувшись, в своих чертежах на синей бумаге. Валентина подала свекольник и тарелку с кашей и куриной котлетой — то, что принес из санатория. Аппетита не было.

Сноха расхаживала тоже босая и полуголая, под ситцевым халатом внакидку алел купальник, живот с пупком открыт для всеобщего обозрения — пожалуйста, любуйся, кто хочет! — и не уходила с веранды, будто ожидая чего-то от Павла Евграфовича. Еду похвалить? Да не ее заслуги, еда казенная. Однако чувствовалось, что не уходит не зря. И все чего-то ждали, какого-то разговора. Вот и Вера явилась, видно, спала, лицо красное, отекшее. Бог ты мой, и она в бюстгальтере, в полотняных штанишках — ну это уж никуда с ее ногами.

Руслан спросил: зачем Полина Карловна приходила? Вот чего ждут, из-за чего волнение. Даже Мюда, убитая жарой, повернула голову, чтоб лучше слышать, и сдвинула с лица полотенце. Павел Евграфович сказал: ничего особенного, поговорили, вспомнили старое, она как-никак с мамой училась в гимназии. Единственный человек, кто знал маму дольше, чем он. Он с двадцать второго года, Полина — с пятнадцатого. Казалось, такой серьезный и душевный настрой должен отвлечь от практических мыслей — не часто говорили о маме, жалея друг друга и, если уж он заговорил, полагалось заинтересоваться: что же вспомнила старая подруга? О чем они говорили, покинутые старики? — но Руслан неумолимо допытывался: насчет дома? Неужто ничего? Абсолютно ни слова? Ничего. Ее это не интересует. Сказала, что в их дела, то есть в дела Зины и Кандаурова, не вмешивается. Значит, какой-то был разговор о доме?

— Был, был! — оборвал Павел Евграфович, раздражаясь.— Только о другом...

Объяснять, о к а к о м, разумеется, не стал. Ишь, допрашивают! Хотят его словить. Не выйдет, голубчики, не узнаете. Неожиданно вырвалось:

— Еще сказала: никому, говорит, мы с тобой не нужны...

Но эта фраза получилась у него вроде шутки, и Руслан засмеялся.

— Ну не-ет! Это уж извини! Ты нам нужен, ты все-таки должен, папа, с Приходько поговорить...

Павел Евграфович ничего не сказал, ушел.

Опять вспомнилось письмо от Гали, и потянуло прочесть. Бог ты мой, почему от Гали? Не от Гали, а от Аси. Он испугался. Как-то странно и легко перепуталось. Собственно, произошло потому, что и то письмо и другое — немыслимая вещь. Но если одно явилось... Вдруг представил себе, дрогнувши сердцем, что в самом деле получает письмо от Гали. Ну, в обыкновенном конверте, темно-синем, авиа. Разумеется, авиа. Как же иначе? Положили в почтовый ящик вместе с газетами. Обратного адреса нет. Впрочем, что-то написано. Одно слово: там. Ведь никто ничего не знает, поэтому «там». А еще: ни адреса, ни обратного, ни единого слова, пустота, и конверта нет. Без конверта листок, на котором сверху видна начальная фраза: «Паша, дорогой, не трави себя пустяками, пусть делают, как хотят, Полину и меня ты не обидишь...»

Он остановился на деревянной лестнице и смотрел в круглое окно; вечернее знойное солнце плавилось на стволах. Он подумал: если Полине все равно, то и Гале все равно, и ему все равно. Можно поговорить с Приходько. Теперь не имеет значения. Плохо то, что ни о чем не хотят думать, ни о чем вспоминать. Поговорить с Приходько. Какая-то нить соединяет двух женщин, Галю и Асю, которые никогда не видели друг друга, не знали друг о друге. Гале он не рассказывал про Асю. Галя была ревнива. Она могла бы не ревновать к той женщине, потому что они из разных молекул, из разного вещества: в то время, когда была Ася, Гали не существовало в мире, потом, когда возникла Галя, Ася перестала существовать, а потом Галя исчезла и тут вновь появилась — как бы из другой материи — Ася... Одна принадлежала ему всей плотью, всем существом, другая была воздухом, недостижимостью. Теперь поменялись местами: Галя недостижима, а Ася — доехать до Серпухова, там автобусом...

И к вечеру жара не слабела. Как в Сальских степях в двадцать первом году. Тоже дул ветер, приносивший не прохладу, а жар. На веранде пахло лекарствами. Женщины пили капли на валерьяне. Руслан, Николай Эрастович и двое гостей, обычно приходившие по субботам, седой моложавый толстяк Лалецкий и учитель физкультуры Графчик, играли за большим столом в преферанс.

Теперь уж ни чаю попить, ни посидеть под абажуром. На кухне за крохотным, с фанерной крышкой столиком приютились Верочка, Мюда и Виктор, пили чай.

У Верочки были красные глаза: то ли от жары, то ли плакала.

— Папа, дело почти решенное,— зашептала она.— Домик получит Кандауров. Лалецкий сказал... Ну, конечно, у него связи огромные, взял письмо из министерства, Приходько звонили откуда-то... Тетю Полину я люблю, но Кандауров — сволочь...

Павел Евграфович пожимал плечами: что поделаешь, сволочь так сволочь. Не хотелось показывать своего полнейшего равнодушия при виде ее слез, но не мог себя пересилить. Чепуха все это. Яйца выеденного не стоит.

— Какие там еще претенденты?

— Там трое. Да все отпали. Остались только мы да Кандауров, да еще Митя из совхоза, Аграфены Лукиничны дальний-предальний родственник. Ну, этот не в счет, пьяница, попрошайка. Ты его видел, он тут часто околачивается, предлагает то железо, то стекло, то плитку какую-нибудь — все ворованное, конечно... Лалецкий сказал, получит Кандауров. Это точно.

— Верочка, милая,— сказал Павел Евграфович,— ну, почему такое отчаяние? Что случилось? Жили мы тридцать лет без этого домика и дальше будем жить. Вы будете жить. Мне-то не понадобится.

Верочка смотрела исподлобья. Взяла его горячей рукою, потянула из кухни в комнату, закрыла дверь. Как в детстве — посекретничать.

— Папа, ты знаешь, как все сложно с Николаем Эрастовичем... Человек он странный, больной... Часто днем ему надо прилечь, а где он тут может? Он говорит: если б хоть свой угол, хоть маленькая верандочка...

— Ну и?.. Что дальше?

— Он говорит: больше нет сил. На птичьих правах. Была бы хоть какая веранда. Понимаешь, он на пределе...

— Кого он больше любит, тебя или веранду?

— Нельзя так...

Круглое Верочкино лицо с подстриженной по-девчоночьи челкой, мятое, нездоровое, лицо немолодой женщины, сморщилось, губы задрожали, Верочка повернулась и ушла из комнаты. Павел Евграфович стоял в нерешительности. Было жаль ее. Но он не знал, что надо сделать, чтоб ей стало лучше. Веранда не поможет.

Он вышел из комнаты, подошел к Верочке, которая терла тряпкой кухонный столик, глядя в окно, и обнял ее.

— Нельзя так, нельзя, нельзя... Тем более к твоим близким, которые тебя любят...— шептала дочь.

— Ну что сделать для тебя? — Он поцеловал ее в темя.

— Не знаю, что ты можешь. Поговори с Приходько. А вдруг... Я не знаю... Попробуй...

У Верочки редкое качество: мгновенно обижается, но так же мгновенно и полностью забывает обиду. Для кого-нибудь была бы замечательная жена, как хотела иметь детей, да теперь поздно, года вышли, а тот заставлял делать аборты. Два раза при Гале делала, а уж без Гали, никому не известно, сколько. Ах ты, бог ты мой, ничего в их делах не поймешь. Он бы, к примеру, на месте Верочки не смог прожить с этим Эрастовичем и трех дней, прогнал бы к лешему, а она живет, терпит.

Павел Евграфович вернулся на веранду, посидел у раскрытого настежь окна. Никакого облегчения в воздухе не чувствовалось, хотя было уже часов восемь, совершенно стемнело. Картежники вполголоса переговаривались. Павел Евграфович ничего в картах не понимал, не желал понимать. Так и прошла жизнь — без карт. И осталось — с юности — презрительное к ним предубеждение, как к занятию мещанскому, буржуазному.

Из сада, тихо ступая по деревянной лестнице крыльца — всегда ходил неслышно, разговаривал тихо,— поднялся Виктор. Подошел к Павлу Евграфовичу и сел рядом на пол.

— Дед, хотел тебя спросить,— вполголоса заговорил он.— А что она рассказывала про бабушку?

— Что Полина рассказывала? — Павел Евграфович обрадовался.— Я тебе расскажу! Сейчас вспомню. Очень интересно рассказывала... Ах, да, вот что: когда им было по тринадцать лет, твоей бабушке и Полине, они занимались революционной деятельностью и даже попали в деникинскую тюрьму в Елизаветграде... Совсем девчонки... Их там запугивали, пытали... но они никого не выдали...

Никто на веранде, кроме Виктора, не слушал, что говорит Павел Евграфович. Картежники переговаривались о своем. Вдруг Руслан сказал:

— Папа, ты меня извини, но надо как-то с Валентином Осиповичем... Ты уж соберись, хотя, я знаю, удовольствие небольшое...

— Я поговорю,— сказал Павел Евграфович.— Постараюсь.

— Нет, ты уж не тяни. На следующей неделе будет правление, а в конце месяца общее собрание.

— Не в конце месяца, а в первое воскресенье сентября,— сказал Лалецкий.— Да все бесполезно. Дом пойдет Кандаурову; так же точно, как то, что вы сейчас сидите без трех...

Лалецкий захохотал. Опять заговорили непонятно, зашлепали картами. Потом Руслан сказал:

— Братцы, вы недооцениваете общественность. Ведь вы же будете голосовать против Кандаурова?

— Пожалуй,— сказал Лалецкий.

— Что касается меня,— сказал Графчик,— то я его вычеркну жирным карандашом. Подобные типы мне противопоказаны.

— А что в нем плохого? — спросил Павел Евграфович.

— Мне трудно объяснить, Павел Евграфович. Вот вас, например, я глубоко уважаю. Когда я прихожу к вам в гости, когда разговариваю с вами, с вашим сыном, я как-то успокаиваюсь душой и сердцем, я как-то расслабляюсь, понимаете?

— Красиво говорит, собака,— сказал Руслан.

— А когда вижу этого типа, у меня повышается сахар в крови.

— Там еще один претендент прорезался,— сказал Лалецкий.— Некий Изварин. Жил тут до войны. Приходько его зачем-то тащит... Непонятно, зачем, все равно дом пойдет Кандаурову...

— Почему непонятно? Очень понятно...

— Играйте, маэстро! Бросайте карточку!

— Очень даже понятно — хочет Кандаурова подоить пожирней. Ведь чем больше претендентов, тем, сами понимаете...

— Изварин? Санька?— вскрикнул Руслан.— Неужто он еще существует?

Они могли болтать, шлепая картами, целый вечер и всю ночь. Павел Евграфович сказал, что пойдет в сад, подышит воздухом: пришло в голову сейчас же, не откладывая, отправиться к Приходько, чтоб неприятнейший разговор не висел над душой. Но объявлять об этом не хотелось. Взял палку, стал спускаться с крыльца. В саду было черно, душно. Обычный сладковатый запах флоксов и табаков — в августе вечерами тут пахло мощно — теперь почти не чувствовался. Все иссохло, исчахло, пере-

тлело. Над чернотою деревьев в блеклом ночном небе, серебристом от звезд, стояла красная луна. Нащупывая палкой тропу, Павел Евграфович выбрался из гущи кустов и молодых липок на дорогу, которая вела в глубь участка. Они догадываются, что разговор с Приходько неприятен, но никто не знает, почему. Таких людей, которые могли бы знать, не осталось. Галя знала. Она с ним не здоровалась. Никогда не здоровалась ни с ним, ни с его женой, хотя жена, конечно же, ни при чем, но Галя была непреклонна. Она говорила: «Ты как хочешь, можешь с ним здороваться, пить чай, разговаривать о международном положении, дело твое, а я его на дух не принимаю. Он для меня был и остается белой вошью. Потому что кто моего мужа раз обидел, тот мой враг на всю жизнь». Вот такая она была! Павел Евграфович остановился, упершись палкою в камень, смотрел в небо, и на глазах его проступили слезы. Она бы не позволила идти к Приходько. «Ты будешь эту вошь о чем-то просить? И он будет куражиться над тобой и чувствовать себя твоим благодетелем?» А ради детей, Галя, которым что-то нужно? Они живут по-прежнему плохо, в тесноте, в неуюте, в душевных неустройствах, живут не так, как хочется, а так, как живется. Они несчастливы, Галя. Ничего не изменилось за эти пять лет. «Ты думаешь, они станут счастливее от лишней комнаты и веранды?» Ну нет, конечно. Счастье от чего-то другого. Непонятно, от чего. Счастье — это то, что было у нас. Но что можно сделать? Нет ни сил, ни ума, ни возможностей, ничего. Вот только этот домик, две комнаты с верандой... Пускай уж... Если им кажется, что... Когда живешь долго, происходят странные встречи, несуразные столкновения. Будто кто-то намеренно все это сочинил. Есть свои неудобства — жить долго. Кто мог соткать такую причудливую, вдаль и вширь раскинутую сеть обстоятельств, причин, совпадений, тончайших нитей и паутинок, чтобы в двадцать пятом году Павел Евграфович трудился в комиссии по чистке в Бауманском районе Москвы и голосовал за исключение работника Горпромхоза Приходько, скрывшего пребывание в юнкерском училище и некоторые свои действия в Киеве, и вот теперь, спустя почти полсотни лет, от бывшего юнкера зависело, будут ли осчастливлены дети? Какая нелепейшая, чудовищная чепуха, если подумать всерьез! А если не думать, ничего особенного. Заурядная чепуха.

Павел Евграфович и не помнил о мелком врунишке, который барахтался как мог, чтобы перекрутиться в суро-

вой жизни, таких немало, жалеть некогда, запомнить невозможно, да и ничего ужасного с ним тогда не случилось, и спустя лет шесть, когда встретились на собрании пайщиков дачного кооператива, Павел Евграфович увидел полного, осанистого блондина в чесучовой толстовке, в дорогих туфлях, директора фабрики, и не узнал его. Не узнавал долго. В ту пору работал на Урале, в Москве был наездами. Не узнал бы никогда, если бы тот сам однажды вполне дружелюбно, полушутливо не сообщил: «А знаете, дорогой сосед, что вы меня из партии турнули во время оно?» — «Да ну?» —«Ей-богу...» И на том конец. Хе-хе, ха-ха. Все уладилось, устроилось, перемешалось, упрочилось. По вечерам приветствовали друг друга, приподнимая полотняные фуражки и шляпы из соломки. Потом годы прошли, разлука невольная, вернулся перед войной, жить в Москве нельзя, дачный дом стал единственным прибежищем, Галя трепетала, боялась, что увидят, разгадают, он мотался в Муром, из Мурома, прописка была там. И опять встреча, невнятный разговор, о том о сем, о детях, о войне. В Европе шла война, у нас — накануне. Тот вдруг напомнил: «А не забыли, как меня в двадцать пятом году из партии гнали?»— «Забыл»,— признался Павел Евграфович. «А я нет. Всегда буду помнить». И ушел с улыбкой. Через день нагрянули с проверкой, и понеслось, завертелось... Галя убеждена, что — он. Кто знает. Может, и он. В точности неизвестно. Ничем не кончилось, не успело кончиться, потому что рухнул июнь, Павел Евграфович ушел в ополчение и всю войну — солдатом. Два ранения одолел. В Польше в сорок четвертом в разрушенном фольварке ночью наткнулся на Руслана. Ночевали танкисты. Вот была встреча! И еще годы прошли, заново все уладилось, переменилось, упрочилось. Дачные домики просели, подгнили, железо проржавело, зато возле домиков появились баллоны с газом, зелень в саду разрослась пышно. Опять встречи то там, то сям, на дорожках, на чужих верандах, раскланиваются, бормочут по пустякам. А то дочка, неряшливая жирная баба, забежит бесцеремонно: «У вас нет лишней лампочки нам одолжить? Мы в понедельник отдадим!» Галя никогда ничего не давала. А он давал. Ему казалось, все прошлое провалилось куда-то в яму, в прорубь, нечего поминать. Но доходило до смехотворного: однажды к тому явились пионеры целой ватагой, он их в садике принимал, рассказывал о гражданской войне. Бог ты мой, что же

мог рассказать бедный юнкерок, недощипанный? Иной раз заберет ретивое пойти взять за галстук: «Зачем же ты, такой-сякой немазаный, людям голову морочишь?» А там думаешь: ну его к лешему... Прошло, проехало... Обманул всех, перекрутился, ну и черт с тобой... Вот только просить у него ничего не надо.

Дорога поднялась на взгорок, где стояла скамейка; тут, под соснами, всегда кто-нибудь сидел душными вечерами. И сейчас, проходя мимо, Павел Евграфович заметил недвижную в углу скамейки фигуру. Как показалось, женщина. Светлело платье. Окликнул: кто? Женщина ответила не сразу:

— Я, Павел Евграфович...

Узнал голос Валентины. Сел рядом с охотой — оттягивался неприятный визит. Валентина курила. Он терпеть не мог табачного дыма в доме, заставлял куряк уходить в сад. Но она ушла очень уж далеко. Тянула носом, будто у нее насморк. Он подумал: что-то неладно.

— Вы что? Плохое настроение?

— Да...

— А в чем дело?— Какой-то голос твердил: «Не надо, не надо в это влезать».— Что у вас случилось?

— Да ничего у меня не случилось. Ничего, Павел Евграфович...— Она медлила, вздохнула.— Ничего... Ваш сын меня не любит.

— Да что вы! Может, вы ошибаетесь?— Тот же голос сказал: «Не ошибается».

— Зачем же, скажите, он первую жену постоянно приглашает на дачу? И Виктора? Мюда хорошая женщина, и Витя мне нравится, но он их вовсе не любит. Это не то, что не может без них жить... Он зовет их только для меня... П р о т и в меня... Чтобы я помнила и знала... Чтобы постоянно была унижена...

«А она неглупая»,— подумал с удивлением. Валентина сморкалась. Теперь стало очевидно, дело плохо. Он не умел разговаривать с плачущими женщинами. Галя никогда не плакала. Галя была, конечно, необыкновенная. Не плакала в Златоусте, когда чуть было не расстались и она решила уехать и сказала об этом. Когда появилась та смуглая, из медпункта. Был мутный, тяжелый месяц, три месяца, какой-то хмель, вздор. Потом все рассеялось. Не плакала даже тогда, когда расставались не по своей воле. Ну что можно сказать Валентине?

— Вы знаете, Валя, мне кажется,— начал он осторожно,— вы вот в чем не правы: вы ему разрешаете пить...

— Ах, при чем тут?..

Она закрыла лицо ладонями, всхлипывала громко. Дыхание прерывалось, она хотела что-то сказать и не могла.

— Я уж не знаю, что ему разрешать... чтобы он... Я все разрешила... Пускай!.. Ну и что?

— Вот и не надо.

— Я знаю, у него был роман с этой толстой дурой...

— С кем?— спросил Павел Евграфович, но сам себя пресек:— Впрочем, неинтересно, знать не хочу. Я в ваши дела влезать не смею, и не надо... Единственное, что попробую — насчет домика Аграфены Лукиничны... Поговорю с Приходько...

— Да кому нужен этот домик? Для какого черта?— с внезапной злобой сквозь слезы отозвалась Валентина.— Чтоб он туда баб водил? И еще к Приходько идти просить! Замечательно!

«Тоже ненавидит Приходько»,— подумал Павел Евграфович.

Посидев немного и сказав что-то бессмысленно-успокоительное, пошел дальше. Все было запутано. Одни хотят получить домик, другие не хотят, ничего не поймешь. Валентину сделалось жаль, но ненадолго. Чего ее жалеть? Она молодая, здоровая. На даче Приходько на открытой, незастекленной веранде горел свет. Две старухи пили чай или, может быть, играли в карты, или просто разговаривали, сидя в плетеных креслах у столика, покрытого длинной, до пола, скатертью. Мозглявая собачонка с визгом выскочила, отколыхнув скатерть, из-под стола, залаяла на Павла Евграфовича и не пускала войти, но он и не собирался входить, а через деревянный барьерчик поздоровался и силился понять, что ему отвечают. Из-за лая собачонки не было слышно. Одна из старух, с высокой седой прической, жена Приходько, улыбалась ему, что-то говоря, и делала белой полной рукой жесты, но не приглашающие, а как бы прогоняющие в глубь сада: туда, туда! Так продолжалось минуту: старуха что-то кричала и махала рукой, собачонка лаяла, а он не мог понять и стоял просителем перед деревянным барьерчиком, увитым диким виноградом. Дача Приходько славилась диким виноградом. Стоять было невыносимо, но и входить нельзя. Какая-то глупость. Наконец в то мгновение, когда собачка замолкла, он расслышал крик:

— Будет через неделю! Он в Ленинграде!

Павел Евграфович закивал с облегчением.

Все мучились от жары, все спрашивали друг у друга: «Как самочувствие? Как вы переносите эту Африку?» Олег Васильевич Кандауров отвечал сдержанно: «Переношу неплохо. Самочувствие ничего». На самом деле самочувствие было отличное, никаких неудобств и перебоев в работе организма не ощущалось. Все шло, текло, двигалось, действовало, сокращалось и напрягалось регулярно, как всегда. «Давление у вас, как у космонавта!» — сказала врач, проводившая диспансеризацию. Незнакомая молодая женщина, Ангелина Федоровна. Впрочем, Олег Васильевич никого из врачей не знал, в поликлинику приходил редко, только за документами. «Для вашего возраста это великолепно».— «Для какого возраста, Ангелина Федоровна, милая? Мне сорок пять лет! Разве это возраст?» — «Ну, все-таки уже не мальчик».— «Нет, мальчик! Я мальчик, Ангелина Федоровна». И Олег Васильевич встал на руки и прислонился вытянутыми вверх ногами в носках к стене. Одно из простых йоговских упражнений. Делал каждое утро. Ангелина Федоровна смеялась: «Мальчик, мальчик! Хватит, Олег Васильевич! Спускайтесь!» Стоя на руках и глядя на Ангелину Федоровну снизу, он увидел красивые голые ноги выше колен и подумал, что ни на что уже нет времени. «А ну-ка послушайте сейчас пульс. После физической нагрузки». Протянул руку. Она взяла пальцами запястье. А у самой, бедной, глаза красные, и сосет валидол. Пульс был, разумеется, чуть выше обычного, но, в общем, ровный. «Ну что ж, для Мексики вполне годитесь!» Он не удержался и пошутил: «А что вы называете Мексикой, Ангелина Федоровна, а?» Она улыбнулась, покачала головой укоризненно, записывая в карточку...

Но это только врачам и тем более молодым женщинам Олег Васильевич говорил всю правду. Знакомым же, которые спрашивали, как самочувствие и как он переносит Африку, отвечал «неплохо» и «ничего», хотя должен был бы отвечать «переношу прекрасно» и «самочувствие замечательное». Но было правило: никогда не говорить людям без нужды ничего, что могло бы хоть слегка огорчить. Сообщение о том, что прекрасно и замечательно в то время, когда все задыхаются и погибают, было бы огорчительно. Он даже отвечал иногда так: «Самочувствие ничего, но голова все же побаливает». Или: «Ничего, но мотор немного барахлит». Однако и в разговорах с начальством Олег

Васильевич не позволял себе лгать и говорил чистую правду: здоровье стальное. Тут уж было непременное условие. Если болен и мотор барахлит — сиди дома, отдыхай. В пятницу прошел диспансеризацию, но сдать анализы не успел, в понедельник и вторник был занят с раннего утра, смог поехать в поликлинику только в среду, этот день оказался самый ужасный — термометр в тени показывал тридцать четыре. Одной женщине, сидевшей, как и он, в очереди в лабораторию, стало дурно, ее уложили на диван, отпаивали лекарствами. Он думал: «Ее бы в Мексику не оформили». Смотрел на нее с сочувствием.

По коридору бежала, цокая каблучками, Ангелина Федоровна, остановилась на миг. «Ну как? Все хорошо?»—«Все замечательно, но у меня к вам колоссальная просьба: нельзя ли в виде исключения получить справку сегодня? А? У меня абсолютно нет никакого времени завтра! Ангелина, не будьте бюрократкой, ведь вы добрый, милый, всепонимающий, отзывчивый человек...— Он схватил влажные пальчики, стискивал, заглядывал в глаза, помня, что для всякой просьбы нужен напор, страсть. Вялым или высокомерным тоном ничего добиться нельзя. Нужно унижаться, барахтаться в пыли, ошеломлять почти любовным натиском, обезоруживать юмором.— Да и к тому же, если совсем честно...— зашептал:— Здоровье-то стальное...»—«Здоровье стальное,— сказала она, улыбаясь.— Но без анализов не имею права. Приходите завтра с утра. Или послезавтра, когда хотите. Не могу, понимаете? При всем желании. Мне нагорит. Ведь вы мальчик, вы легки на подъем. И у вас машина. Вчера видела, как садились в шикарную синюю «Волгу». И будет еще одна счастливая возможность побыть с доктором наедине в медкабинете. Пока!» Она помахала пальчиками и побежала дальше. Крикнул вслед: «Что привезти из Мексики?» Ответила, не оглядываясь: «Кактус!»

Он все-таки огорчился микроскопической неудачей — надеялся выцыганить справку сегодня — и обдумывал, как построить завтрашний день. Ни черта не получалось. Завтра надо быть на даче, пробивать дом, разговаривать с людьми, а сегодня тысячи дел и в пять — Светлана. Пора сказать. Она собирается в Прибалтику, а когда вернется, его уж, возможно, не будет. Так что прощаться, прощаться. В общей форме, разумеется, говорил, она знает о предполагаемом, но конкретно... Все дело в том, что невероятно долго т я н у л а с ь р е-

з и н а. То так, то эдак, то да, то нет. То через полгода, то через год, то вообще отпало, распаковывайте чемоданы. А потом вдруг решения, штемпеля и визы свалились сразу — собираться немедля. Насилу отбил месяц, чтобы как-то все утрясти. Ведь ничего не сделано! Хлопоты с домом только вначале. Обговорить со всеми. Никаких случайностей. Это дело уникальное и требует ювелирной работы — может рухнуть из-за одного какого-нибудь дурака. Четыре претендента! А сколько в этом огородном царстве, называемом дачный кооператив «Буревестник»— почему «Буревестник»? Какой «Буревестник»? Что за идиотское самообольщение кипело тут сорок лет назад?— сколько замухрышек и дерьмачей ненавидит его лишь за то, что он ездит в «Волге» и временами живет за границей? Как эти сморчки будут голосовать на общем собрании? Что взбредет в их вздорные, завистливые головки? Если бы он мог каждому сморчку подарить по дубленке... Или хотя бы по рубашке от Пьера Кардена... И, однако, раскрой платья сделан гениально. Самое ответственное! Разговор Петра Калиновича с Приходько, письмо от Н. А., звонок Максименкова. Остальное должно быть делом техники. Но д о л ж н о б ы т ь. В теории. А на деле все упирается в людей. В неуправляемых замухрышек. Как поведет себя Аглая Никоновна Таранникова? Как поступит Лалецкий? Как будет голосовать Графчик? Этот персонаж беспокоил особенно. Неизвестно почему он относился к Олегу Васильевичу недоброжелательно, никогда с ним не разговаривал, лишь бросал издали презрительные взгляды. Да черт бы с ним — подумаешь, учитель физкультуры! Жалкая тля!— однако в этом царстве тля была видной фигурой — председатель ревизионной комиссии. Какими-то хитростями и уловками надул себе авторитет. С Графчиком считались. «Графчик сказал...», «Графчик обещал...» Олег Васильевич встречался с ним по утрам на речке, где Графчик делал пробежку и примитивную школьную гимнастику, а Олег Васильевич занимался йогой, стоял на голове, тоже бегал, но по-особому, с особым дыханием. Иногда сталкивались на тропе нос к носу, и Олег Васильевич, как воспитанный человек, всегда кивал или глазами приветствовал: «Мол, с добрым утром, Анатолий Захарович!»— а тот бежал мимо в своем тряпичном тренировочном костюмчике, которым давно пора полы подтирать на кухне, и в рваненьких кедах и не видел, не замечал, а то еще и физиономию откидывал этак

высокомерно. Я, дескать, Графчик, а вы кто такой? Олег Васильевич стал отвечать тем же — игнорировал. Не вникая в детали. Он-то ему даром не нужен. Но затем, когда все понадобились — а уж тем более такой важный винт, как председатель ревизионки — наплевал на самолюбие, опять стал здороваться и кивать по утрам. Графчик немного оттаял и если и не произносил ничего громко и внятно в ответ, то делал горлом глотательное движение, отчего голова его как бы кивала, а на губах появлялся намек на гримасу, означавшую одновременно и некоторую брезгливость и вроде бы «доброе утро!». Бывало, Олег Васильевич обгонял Графчика на своей «Волге», тот шел утром на троллейбусный круг пешком. Иногда, впрочем, пилил до школы на велосипеде. Школа недалеко, на бульваре Карбышева. Однажды, когда тот трюхал под дождиком по шоссе, завернувшись в плащ-«болонью», подняв капюшон, Олег Васильевич притормозил и распахнул дверцу: «Коллега, прошу!» Но Графчик: «Нет, нет, увольте, спасибо! Я пешком». И дверцу сам захлопнул поспешно. С этой публикой всего можно ждать. Но одно Олег Васильевич знал твердо, это было давнишним, с юности, принципом: хочешь чего добиться — напрягай все силы, все средства, все возможности, все, все, все... *до упора!* Вот так когда-то, приехав в Москву мальчишкой, протаранил себе путь в институт. Так добился когда-то Зинаиды. Так победил в сложнейшей и запутаннейшей борьбе за Мексику хитроумного Осипяна. Так добьет дом Аграфены. *До упора* — в этом суть. И в большом, и в малом, везде, всегда, каждый день, каждую минуту...

Вновь зацокали каблучки — Ангелина Федоровна возвращалась из глубины коридора. Олег Васильевич напрягся, кровь застучала в висках.

Вскочил со стула, подхватил пробегающую мимо докторицу за локоток.

— Ангелина Федоровна, бесценная, дорогая, умоляю, будьте же мне поистине ангелом...— залопотал бессвязно, пылко, шагая с Ангелиной Федоровной в ногу, прижимая влажный горячий локоть к своему боку.— Поймите всю чудовищность положения... Завтра утром встречаю делегацию, днем вызывает министр... Послезавтра должен быть вне Москвы... А отдел кадров требует проклятую справку сегодня! Ну что вам стоит? Давайте договоримся. Я человек слова. Как говорили испанцы в старину,

gentil hombre[1]. Вы даете справку, так? Если хоть что-то, хоть малейшее вас насторожит, я, клянусь честью, привожу ее завтра назад. Пожалуйста!— Вынул из бумажника визитную карточку.— Звоните по этому телефону в любой час, утром, вечером, среди ночи... Идет? По рукам? Имейте в виду, вы спасете человека!

Стояли перед дверью в кабинет. Ангелина Федоровна смотрела, улыбаясь, но не так весело, как раньше, а, скорее, задумчиво и головой качала.

— Чудовищность положения вижу в одном — вы чудовищно настырны, Олег Васильевич.

— А что прикажете делать? У меня нет выхода. Да и здоровье стальное, Ангелина Федоровна, чего там...

— Стальное, стальное...— Она кивала, отмыкая дверь.— Заходите, страшный человек. Особенно для женщин. Умеете уговаривать.

Вошла в кабинет. Он следом, испытывая мелкую, секундную радость. Все же золотой принцип, спасительный: до упора!

К пяти приехал на Пушкинскую, к кафе «Лира». Светланы не было. Сидеть и ждать в раскаленной машине было тяжко, он прошел в тень дома, присел на низкий узенький цоколь у стены. Было похоже, будто сидит на корточках. Будто он уличный бродяга где-нибудь в Сайде или Тетуане. В час сиесты. На нем драная маечка с надписью «yes», джинсы с бахромой, какие-нибудь из мусорного бака сандалеты на грязных ногах, истинный скандинавский «клошар», забредший в это арабское захолустье неведомо зачем... Прежде чем сесть, постелил газету и старался не прислоняться белой рубашкой к стене... Светлана придет не раньше, чем в четверть шестого. Неистребимая школьная привычка: мальчиков надо испытывать. Давно нет мальчиков, некого испытывать, самой бы, дай бог, унести ноги, но привычка осталась. Он не сердился на нее, потому что сегодня ей будет больно. Ровно год назад она появилась, тоже было жаркое лето, но не адское, как теперь, практикантка, испанистка, умненькая, сообразительная, все делала быстро: разговаривала, бегала по лестницам, печатала на машинке с латинским шрифтом, выполняла всякие поручения, какие он давал как начальник отдела. И во всем остальном. Необыкновенная быстрота. Однажды приготовила обед за восемнадцать минут! Комнату Игоря,

[1] Благородный человек.

этот сарай, эту затхлую, месяцами непроветриваемую х а з у, привела в порядок буквально за полчаса. Но это было, кажется, не в первое посещение, а во второе или третье, в сентябре. И в первое посещение поразила скорость: только вышел в коридор, чтобы защелкнуть замок на «собачку», воротился — она уже под простыней, свернулась калачиком, с головой накрылась... Все тряпки веером по ковру... В течение пяти секунд... Думалось, все будет не совсем так, как вышло потом. Думалось: легко, быстро, бестревожно, воздушно, как началось. А вышло: угар, мучительство. Разница в двадцать два года — могла быть дочкой,— тут и высота безумнейшая, от которой дыхание пресекалось, голова кругом, тут и пропасть без дна. И была минута лютой зимой, в декабре, когда все вдруг затрещало, покривилось, полопалось, вот-вот рухнет, как старый дом от подземного толчка... Но гнулись балки, скрипела кровля, черепицы битой насыпалось, а дом все ж таки устоял... Потом весной были муки, Таллинн, разрывы, доктора, анализы на мышей и все кошмары, что сопровождают любовь, и казалось, что навсегда прочь... В ней много такого, чему он не устает поражаться. Она была девушкой. Но удивительной, гораздо более искушенной и умелой, чем иные зрелые женщины. Она его любила и любит, как никто никогда не любил, и, однако, он ощущал преграду, преодолеть которую было нелегко. Нет, не юность, не капризы, не вспыльчивость, не наивная деспотичность, а нечто такое, что имело отношение к нему самому. Этой преградой был он сам. Его собственное зеркальное отражение, которое он угадывал в ней и временами пугался: вдруг поистине судьба столкнула с дочерью, как в известном романе Фриша? Впрочем, никакой дочери быть не могло. Реальность в другом — они слеплены из одной глины. Первая женщина, в которой он угадал себя. И это пугало.

Появилась из-за угла стремительно, летела к нему, обгоняя прохожих, но не потому, что чувствовала себя виноватой — опоздала на двадцать минут,— и не потому, что очень уж торопилась его увидеть, к нему прильнуть, просто в силу привычки. Вот так же стремглав мчалась по утрам в офис. Предки были, вероятно, какие-нибудь скороходы при дворе русских бояр. Или татарских мурз. Татарская кровь несомненна: смугла, черноволоса, темные глаза чуть враскос и узкая, жестоковатая складка губ, выдающая восток. Она-то родилась в Москве, корен-

ная москвичка, но отец откуда-то с юга. Подлетела, тяжело дыша, не извинилась, не сказала ни «здравствуй», ни «Hola!»[1], оглядела зорко, прижмуриваясь, и спросила:

— Постригся?

— Да.— Не виделись двенадцать дней. Он взял за плечи, придвинул и поцеловал то место, которое любил целовать: над ключицей. И сразу его обнял запах родного потного тела.— Куда пойдем обедать? Сюда? В «Асторию»? Может, в ВТО?

— Никуда.

— Почему?

— Так. Не хочется.

Он посмотрел настороженно. Словцо «так» ни к чему. Просто «не хочется»— понятно. Из-за жары. У него самого абсолютно нет аппетита. Но «так»? Спросил, все ли у нее в порядке. Нет ли каких неприятностей на работе, дома, с родителями, с сестрой. Тяжело болела сестра. В прошлом месяце доставал для нее французское лекарство. Нет, все в порядке. Сестре лучше. Родители, слава богу, на даче. Он подумал, что-то почуяла. Как собаки чуют близость землетрясения, так женщины чуют разрыв. Когда нет еще никаких признаков.

— Поедем?— спросил он, взяв ее за руку.

Сели в машину, поехали. Она сидела рядом и все время трещала веером, обмахиваясь. Иногда подносила веер к его щеке и немного обмахивала его: бесполезно, но приятно. Квартира Игоря была у черта на рогах, в одном из дальних кварталов Юго-Запада. Они привыкли к этой дали, обычно по дороге болтали, рассказывали друг другу всякие новости, что случилось за время краткой разлуки, но сейчас разговор не ладился: она молчала, а он не мог придумать подходящей темы, потому что все, чем он жил теперь, было «табу». Пока она не знала об отъезде, он не мог передать всего своего клокотания: по поводу того, сего, бюрократизма, идиотизма, трудностей, мелочей, от которых задыхаешься. Хотя бы сегодняшняя история со справкой! Чего стоило уговорить! А как быть с машиной? А с квартирой? Устройство дочки на лето и на зимние каникулы? Если не удастся получить дом, все вырастет в проблему. Новые хозяева не захотят сдавать, это наверняка. Надо вырывать дом зубами. Все это, мучившее и терзавшее его в последние дни, непригодно для разговора со Светланой, и он бубнил что-то

[1] Привет *(испан.)*.

тупое насчет жары, климата, мудрости стариков, беспомощности ученых. Решил так: сказать сегодня все, но перед расставанием. Это и практически верно, потому что, если сказать сразу, свидание может тут же прерваться. Будет глупо. Въехали на холмы Юго-Запада. На пустынных улицах громадами стояли какие-то необжитые, голые, слепящие солнцем дома. Тротуары выметены зноем, не видно людей.

— Я весь мокрый,— сказал Олег Васильевич.— Сразу, как приедем, примем душ.

Она не отозвалась. Опять насторожился. В жаркие дни обычно начинали с душа. Да и не в жаркие иногда тоже. Им очень нравилось. У Игоря была царская ванная, все замечательно оборудовано, со всякими новейшими приспособлениями, которые он вывез из ФРГ. Был даже телефон в особой маленькой нише, вделанной в стену: если станет дурно, успеете дотянуться до телефона и вызвать «03». Он спросил несколько нетерпеливо:

— Ты будешь принимать душ?

Вопрос означал другое, задавать его не следовало. Обнаружилась слабость. Но нервы-то не железные.

— Где?— спросила она.— В машине?

И прыснула, как девчонка. Немного отлегло. Но, когда приехали в невероятно душную Игореву квартиру — по глупости в прошлый раз не зашторили окна, обе комнаты напекло, воздух был, как в парилке, градусов под тридцать,— она отказалась лезть под душ, сославшись на недомогание. Могла быть хитрость. Что-то с нею происходило. Вода из холодного крана шла теплая. Значит, земля прожарилась до уровня, где идут водопроводные трубы. «Что будет с яровыми? Ведь все погорит!»— думал он мыслями Полины Карловны, которая любит рассуждать о видах на урожай. Воспоминание о теще вызвало волну беспокойства — ей поручалась Аленка. Дочь их-то не слушала, как будет слушать бабку? Возраст колючий, взрывоопасный. «Честно говоря, мы не имеем права,— говорила Зина,— уезжать именно теперь. Ведь мама как воспитательница никуда не годится. Она чересчур добра». Обычные для Зины благие, ничего не значащие рассуждения. Прекрасно знала, что все равно уедут. Выхода не было. Не отдавать же в интернат. Так размышлял Олег Васильевич, намыливая самые потные места, не испытывая облегчения, ибо вода не приносила прохлады. Когда вышел босиком в комнату, шагая по циновкам — у Игоря по-

всюду циновки, правда, пыльные,— Светлана сидела в той же позе, простыня не расстелена, но в комнате стало посвежей: два японских вентилятора жужжали вовсю. Он спросил: почему она сидит задумчивая, как Лорелея? В чем дело? Qué pasa?[1] Сказала, что ничего нельзя. Ну хорошо, просто так полежим. Отдохнем. Поговорим о жизни. Она не сразу, без охоты вытащила из ящика простыню, бросила к изголовью подушки, от которых поднялась пыль, и у Светланы на миг брезгливо сморщилось лицо, что́ его вдруг разозлило, и он чуть было не сказал: «Вместо того, чтоб кривиться, взяла бы как-нибудь вынесла во двор и выбила»,— но промолчал. Учить жизни было некогда. Вовремя не научил.

И вдруг стало страстно, смертно жаль девочку, с которой расставался навсегда. Он гладил нежную кожу, целовал шею, лопатку, хрупкую линию позвонков, ничего не говоря, не было слов. Она лежала рядом не совсем в том виде, в каком бы ему хотелось. Но теперь, когда наплыла приступом помутившая разум жалость, ничего не было нужно, только обнимать, гладить, прощаться. И так прошло несколько минут, потом он заговорил. О чем? Господи, о чем... Не о том, о чем бы надо было... О том, что его нудило, что его жало, гнуло, обо всей этой ерунде, этой дряни... Председатель кооператива Приходько, старый маразматик, хитрец, прощелыга, но он нашел к нему ход, и тот обещал... Есть там какой-то Горобцов, который стоит первым в очереди, не на этот именно дом, а вообще на первый освободившийся пай и теперь претендует, но с ним совладать нетрудно, потому что у того нет никаких заслуг перед кооперативом. А у Олега Васильевича есть. Выбил телефоны. Приволок рубероид для конторы. Год назад через Моссовет, через Максименкова, добился того, что на реке отгородили участок для «Буревестника» с купальней и небольшим причалом для лодок. Хрен бы замухрышки чего-нибудь добились без него! Черта в ступе! Да и весь этот трухлявый кооператив давно бы уж снесли, сколько лет собираются, хотят строить пансионат, если бы он через того же Максименкова... Из-за одной благодарности должны бы дать ему дом. И не просто дать, а подарить. Ведь столько в него вложено за семь лет, такие силы убуханы. Самая неприятная личность и опаснейший соперник — некий Летунов Руслан Павлович. Все летуновское гнездо. Они

[1] В чем дело? *(испан.)*

там вросли корнями. Вот с кем трудно бороться, потому что во всяком обществе, во всякой компании существует легенда... Старик Летунов — такая легенда там. Он ветеран, участник, видел Ленина, пострадал, помыкался. Попробуйте не уважить! Он тут же письмо, тут же все заслуги, рубцы и шрамы на стол. Но дед еще ничего, с дедом можно сговориться, он из той породы полувымерших обалдуев, кому ничего не надо, кроме воспоминаний, принципов и уважения... Врут, конечно, надо, надо! Всем надо. Не отказывается ведь от положенного «спецобеда», каждый день гуляет с судками в санаторий... И тем не менее игра: нам ничего не надо. Тут еще, впрочем, биология. Старикам, что им, собственно, надо? Койка, одеяльце да горшочек. Лежать да вспоминать. Но там страшный тип сын — вырвет из глотки. Руслан Павлович. Хам, алкоголик... Ходит по дачам, просит по трояку, по пятерке в долг, опохмелиться... И как совести хватает? Ведь инженер, с высшим образованием... Скотина... И сестра у него чокнутая, истинная замухрышка. Детей наплодили. Там у них не поймешь кто, целый караван-сарай. Таким бы вообще запретил размножаться. Какая от них порода! Вот от него бы со Светой, а? Этот Руслан повадился было к Зинаиде, то какое-то чтение приносил дефицитное, то записи в кассетах, он еще меломан вдобавок, а то просто стучит утром в окошко: «Зиночка, нет ли чего на донышке?» И, когда Олег Васильевич вышел как-то на веранду вместо жены и спросил сухо, что за мода будить людей спозаранку, тот, нахал, отвечает невинно: «Дорогой сосед, да ведь добрее вашей жены человека нет! Куда пойти горемыкам?» Пришлось его немного...

Тут Олег Васильевич замолк, спохватившись, что рассказывать о том, как он своротил полупьяного Руслана с крыльца, не следовало: могло напомнить прошлогоднюю историю с женихом Светланы, когда тот набросился на них возле ресторана «Пекин». И там и здесь был применен один прием каратэ, действующий безотказно. Мальчик упал как подкошенный, портфель туда, очки сюда, голова запрокинулась. Она закричала: «Ты его убил!» Объяснил: ничего страшного, обыкновенный болевой прием. Она кричала и плакала. Через пять минут жених пришел в себя, но встать не мог, она осталась. Он уехал. На другой день прибежала, сказав, что с тем все кончено, потому что он назвал ее нехорошим словом. Такое не прощается. Господи, сколько с ней уже пережито!

— Ты понимаешь, в чем ужас?— говорил он, продолжая ее поглаживать. Поглаживал нежно и все более упорно, желание жалеть постепенно угасало, уступая место другому. Она сопротивлялась. Сопротивление было в том, что она оставалась бестрепетна, безжеланна, ничего не хотела, ни на что не отзывалась, а иногда твердой рукой отгибала его пальцы, проявлявшие нетерпеливость.— Ужас в том, что человек завистлив... По своей сути... Я думаю, что зависть — один из элементов инстинкта борьбы за существование. Заложено в генах. Замухрышки мне дико завидуют! И будут меня гробить. Человек на пятьдесят процентов состоит из зависти... Ну, у одних больше, у других меньше. У тебя меньше... По-моему, ты не очень завистлива? А, Светочка? Ты завидуешь?

Она сказала в стену:

— Завидую женщинам, которым мужчины не лгут.

Как тот удар каратэ — мгновенная боль и потеря сознания. Прошло три или четыре секунды, прежде чем он произнес:

— Таких женщин нет.

— Есть...

Он обнял ее изо всех сил, прижал, притискивал к себе все сильнее.

— Ты знаешь?

— Знаю. Пусти, больно. Не надо лгать. Все, что ты болтал сегодня, было ложью. Мне за тебя стыдно.

— Светлана, но что можно сделать? Ведь это моя жизнь, моя работа...— Он разжал руки, и она отодвинулась к стене.— Я бегаю, как бильярдный шар в зеленом загоне. Моя дорога — в лузу. Больше никуда. Или за борт.

— Ну нет.— Она усмехнулась.— За борт ты не выпрыгнешь. А помнишь, что ты говорил? Что хочешь все переменить, все сначала, все заново. Были безумно смелые планы...

— Светочка, я человек казенный... У Гете где-то сказано: «Ты думаешь, что ты двигаешь? Но — тобою двигают».

— Не болтай...

Наступила пауза. Он чувствовал, что она плачет. Выкурил сигарету. Вдруг она спросила спокойным голосом:

— Знаешь что? Вот ответь честно. Есть какие-то блага, которыми ты наслаждаешься или стремишься на-

слаждаться... Ну, скажем, есть женщина — я. Ведь ты мною наслаждался, правда? Есть семья, которая тоже доставляет наслаждение, другого рода. Есть дом Аграфены, о котором ты мечтаешь как об источнике наслаждений... Есть Мексика, которой ты добивался, я знаю, и добился, совершил невозможное, овладел ею, как неприступной женщиной... И есть другое ответственное кресло тут, в Москве, которое сулит еще более высокие наслаждения, о них ты грезишь... И вот скажи: если выбирать из этого всего одно, что бы ты выбрал?

— Странная викторина. Зачем тебе?

— Просто чтобы знать. Как жить. Ведь ты мой учитель жизни, скажи напоследок: что уступать? Что после чего? Женщина, семья, имение, путешествие, власть... Что ты хочешь больше всего?

Она повернулась и смотрела на него с непросохшими слезами на глазах, но с поистине ученическим любопытством. А он смотрел на нее с тоской. Потом обнял медленной и неотклонимой, стальной рукой, придвинул ближе, плотней, еще плотней — она послушно придвигалась, потому что ждала от него ответа — и выдохнул губами в губы:

— Хочу все...

Когда солнце ушло, день смерк, он добился того, чего хотел, ибо, как всегда, настаивал до упора, и была отчаянная, долгая, горчайшая сладость, какая может быть лишь накануне вечной разлуки. Потом, когда стало совсем темно, как ночью, пошли в ванную, под душ, он мыл губкой любимое тело, с которым расставался навеки, говорил: «Pónte el pie aduі»[1],— брал ее ногу за колено и ставил ступнею на борт, она подчинялась, обнимал ее, целовал мокрое лицо, не ощущая губами слез, лилась вода, они стояли до изнеможения под душем, лилась и лилась, стояли, лилась, стояли, лилась, лилась, лилась из последних сил.

Часов в одиннадцать повез ее в Староконюшенный. Заехал во двор. Тут была душная, мглистая, отнимавшая дыхание тьма. Не было выхода из духоты. Все окна темных квартир открыты, слышались голоса, люди не спали. Кто-то сидел на скамейке, кто-то лежал на траве, на одеяле. Нельзя было тут задерживаться, надо прощаться окончательно. Да уж прощались. Много раз прощались. Он спросил: может, ей надо в чем-то помочь?

---

[1] «Поставь ногу сюда» *(испан.)*.

С кем-то поговорить? По делу. Весь август он еще здесь. Она долго молчала, потом: если уж так, надо поговорить с Шелудяковым... Там нужен человек в Марокко. Ей абсолютно все равно: хоть в Марокко, хоть в Замбию, на полюс, куда угодно. Лучше уж в Марокко, с испанским языком. Он сказал, что с Шелудяковым поговорить просто. Старый приятель.

И конец. Рванулась через ограду, через кусты, понеслась не оглядываясь; стукнула на другой стороне скверика дверь...

Он мчался ночным шоссе — сердце немного покалывало, проклятая духота, даже его прижало, да и милейшая Ангелина права, уже не мальчик — и думал то о Светлане с грустью, то о том, что лететь надо через Париж, побыть там дня три. На дачу приехал в полночь. Сразу поразило: не спят, на веранде горит свет. Бабка, Зинаида и Аленка сидят за столом, и никто не вышел на крыльцо, хотя слышали, что въехала машина...

— Что у вас случилось?

— Ничего не случилось. У нас все в порядке,— сказала Полина Карловна, улыбаясь с выражением несколько сконфуженным и плутовским, отчего было ясно, что, безусловно, с л у ч и л о с ь. И старуха тому виной.

— Мама хочет уйти от нас в дом для престарелых. То есть в богадельню, – сказала Зина.

— Нет, Зиночка, не в богадельню, а в Дом ветеранов революции! — Полина Карловна подняла палец.— Существенная разница.

— Ах, мама, какая разница... Одинаково ужасно, одинаково оскорбительно для всех нас...

— Почему же, Зиночка? Это почетное место. Вы должны быть рады, что мать хорошо устроена. Дай бог, чтоб удалось. Еще ничего не известно. Я еще только собираю бумаги.

Удар был такой силы, что Олег Васильевич как будто качнулся и припал спиной к косяку двери, чтобы стоять прочней. Старуха, разумеется, комедиантка. Зачем ей это нужно? Ни за чем, показать себя. Свою домашнюю незаменимость. Может, удастся уговорить, и все рассеется, как кошмар? Главное — деликатность и просительность, как в разговоре с милиционером, который грозит проколоть талон. Но все же сволочь.

— Полина Карловна, милая, мы прожили вместе худо-бедно пятнадцать лет... Неужели мы заслужили вот это? Ведь обида смертельная. И, кроме того, вы нас

убиваете. Именно теперь, когда надо уезжать, вы делаете такое заявление, то есть, попросту говоря...— нервы сдавали, не мог выдержать правильно взятого униженного тона и закончил с закипающей яростью: — Вы режете нас без ножа! Поступаете, как худший враг!

Старуха пожала плечами.

— Понимаю, понимаю. Я все очень хорошо понимаю, Олег, и мы как раз об этом говорили весь вечер с Зиночкой: как поступить? Что можно сделать? Но брать на себя ответственность за дом, за Алену я не могу. Нет сил, я слишком стара.

Было сказано с таким спокойствием, что Олег Васильевич понял — бесполезно. Он знал редкостное упорство старухи, во всем — например, как резать лук, так или так,— знал, что никогда ничего нельзя доказать, чужое мнение летит мимо, не достигая слуха, и теперь молчал, онемев и размышляя. Вдруг вспомнил: Зина однажды намекала на то, что у матери кто-то есть. Некий друг престарелого возраста, какой-то артист. Ах, вот что? В богадельню к другу? С внучкой оставаться стара, а для стариковских шашней непристойных годится. Так и вертелось на языке, влепить бы прямым текстом, но сдержался. Нет, нет, пороть горячку не будем. Этот козырь выложим напоследок. Надо выспаться. Надо со свежей головой.

Аленка сидела мрачная, набычившись, за столом и что-то чиркала карандашом на бумаге, низко склонив очкастую голову. По линии упорства это существо было на втором месте после бабки. Очевидно, они уже тут поссорились, и Аленка дулась. Олег Васильевич смотрел на некрасивую девочку с досадой, с сожалением, мгновенно превратившимся в боль. Каково ей будет? Интернат? Что ж, как другие. Как многие. Завтра, завтра. Со свежей головой. Зина спросила:

— Где ты был так поздно? Я звонила домой, звонила Леониду Васильевичу...

В глазах зажглось живое, острое любопытство. Он вдруг заорал:

— Да какая разница, где я был?! Разве это должно сейчас волновать? Тут катастрофа, кошмар, все планы к черту, жизнь к черту! А ей главное: где был да почему поздно...— махнул рукой и ушел от глупых людей в сад, где под яблоней стояла его кровать.

Вдруг позвонили: «Могу ли поговорить с Саней Изввариным? Простите, что называю вас Саней. Вы зрелый

муж, но для меня Саня, как сорок лет назад, когда вы обрывали китайские яблочки в моем саду, вас гонял, напускал на вас Джека — помните Джека, бульдога? — и жаловался вашему отцу...» Старик частил что-то лопочущим, полузадушенным хрипотцой, но чрезвычайно бодрым голосом, понять, что ему нужно, было нельзя, фамилия ничего не говорила: какой-то Приходько. «Извините, у вас ко мне дело, товарищ Приходько?»— «Да, причем срочное. Нам надо увидеться».— «Срочное?» — «Да, крайне. Cito, как пишут на рецептах врачи. Имейте в виду, Саня, для вас разговор будет, безусловно, интересен... Я тут недалеко... Буквально на четверть часа...»

Александр Мартынович собирался в больницу, навестить жену. Он сказал: не позже двенадцати. Старичок возник через десять минут. И лишь только Александр Мартынович увидел голый шишковатый череп, корабельный нос, улыбающийся несколько льстиво и хитровато большой, растянутый рот, вмиг вспомнил: никакой не Приходько, а тот дядька по кличке Пузо или Рубильник, что жил в дальнем, к огородам, доме, у него было двое детей, парень Славка и девчонка Зоя. Славка ровесник. Одно лето дружили. О! Славка был знаменит вот чем: любил закручивать уши. Чаще всего закручивал свои собственные уши, теребил их, складывал конвертиком, засовывал мочку в ушное отверстие и сидел так, разговаривая или играя в карты, с закрученными ушами, успокоенный и довольный, но вдруг начинал волноваться и ему не терпелось закрутить уши или хотя бы одно ухо кому-нибудь другому, Жорику, Руське, Скорпиону или ему, Саньке Изварину, и он принимался канючить: «Дай мне, пожалуйста, твое ухо! Дай ухо! Дай, дай, дай!» А Жорику просто мог приказать: «Давай сюда ухо, сопля голландская!» Жорик покорно подставлял голову, и Славка принимался, мурлыча, закручивать тоненькое, как лист, смуглое Жориково ухо. В самом деле: Славка Приходько. Была веранда, увитая диким виноградом. Славкин отец — вот этот старик, улыбающийся большим ртом? — сделал маме какую-то гадость. Она почему-то велела с ним не здороваться, на их веранду не ходить. Но дружить со Славкой во дворе разрешала. Все утратило краски, пережглось, пересохло, исчезло. Почему старик не умер? Зачем появился?

— И у вас, Саня, есть определенные шансы — я не скажу, что большие — на получение сторожки... Ведь вы жили там лет двенадцать, не так ли? Года, при-

мерно, с двадцать шестого... Помню вашего папу хорошо... Я удивляюсь, ни разу не поднимали вопрос и вообще сгинули куда-то, пропали... А у вас есть моральное право.

— Есть,— согласился Александр Мартынович.— Скажите, как ваш сын? Слава?

— Славик не вернулся с войны. Погиб на Северном Кавказе в сорок втором году. А мы с женой и Зоечкой жили в эвакуации в Чувашии...— быстро пролопотал старик. Так быстро, будто хочет поскорее избавиться от этих слов, которые произнес.— Ну что же, Саня? Напишите заявление, я вам попробую помочь.

Александр Мартынович молчал и думал, скрытно волнуясь, у него сердце стучало. То, что обрушилось столь внезапно и странно, было похоже на давние сны — они мучили всю первую половину жизни,— сны о несбыточном прошлом... После войны раза два попадал в Соколиный Бор случайно — прошло уже лет двадцать с тех пор — и нарочно сворачивал в лес до Четвертой линии, чтобы не видеть забора, сосен и крыш. Все это истлело. Вдруг померещилось, будто к нему, уже седому, больному, похоронившему всех, похоронившему сына, является некий загадочный, лысый, с пугающим носом старик, может быть, волшебник, а может быть, черт, и предлагает за что-то вернуть детство, вернуть те времена, когда все были живы, когда он бегал босой по каменистой дорожке, когда солнце горячей смолой горело на сосновых стволах... Но за что же? Что ему надо?

— Вы знаете, это как-то неожиданно...— бормотал Александр Мартынович.— Я должен подумать... Я еду в больницу. Моя жена больна...

Потом ехал в троллейбусе долго и делал усилия, чтобы не вспоминать. Но вспоминалось само собой. Это было гиблое место, вот в чем дело. Поэтому так страшно туда возвращаться.

Это было гиблое место, хотя на вид ничего особенного: сосны, сирень, заборы, старые дачки, обрывистый берег реки со скамейками, которые каждые два года отодвигались дальше от воды, потому что песчаный берег обваливался, и дорога, укатанная грубым, в мелкой гальке гудроном; гудрон уложили в середине тридцатых годов, и то не до конца, а лишь до поворота на Четвертую линию, или, как говорили прежде, вероятно, еще до революции, на Четвертую просеку, ибо некогда тут был истинный бор, его следовало просекать,

но уже лет сорок назад с обеих сторон линии, или просеки, или Große Allee, как называла эту нырявшую меж холмами лесную дорогу коричневогубая морщинистая Мария Адольфовна, лицом напоминавшая свалявшийся старый чулок, но бесконечно добрый, мягкий и какой-то удивительно домашний чулок; куда она делась потом, после того лета, когда она с плачем уходила навсегда из Саниной жизни? С обеих сторон Большой аллеи простирались участки новых громадных дач, и сосны, огороженные заборами, теперь скрипели под ветром и сочились смоляным духом в жару для кого-то персонально, вроде как музыканты, приглашенные играть на свадьбу. Ах, впрочем, все равно хорошо! Музыку можно слушать, стоя на улице. Воздух над соснами, над заборами и просекой был ошеломительно чист, и чистота была такой силы, что могла опрокинуть неосторожного человека, попадавшего в этот воздух прямо из города, из набитого битком автобуса. Так бывало и в то лето с Саней: будто взрослый, он мотался по разным учреждениям, приемным, стоял в очередях и только к вечеру прикатывал в Бор и глотал, захлебывался... Он ощущал сладость воздуха и горечь предчувствий... Да, да, это было гиблое место. Вернее сказать, проклятое место. Несмотря на все его прелести. Потому что тут странным образом гибли люди: некоторые тонули в реке во время ночных купаний, других сражала внезапная болезнь, а кое-кто сводил счеты с жизнью на чердаках своих дач.

Мария Адольфовна шептала: «O, jetzt muß Ich mich auf den Weg machen...»[1] — и в десятый раз что-то перекладывала, упаковывала, садилась на диван, пила валерьянку. И опять: «O, jetzt muß Ich...» Ее книжки в старинных, с золотым тиснением переплетах пахли сухими духами «саше́». У нее была восьмигранная деревянная рамочка, на которой Мария Адольфовна плела красивые салфетки двух цветов, и научила плести такие салфетки Саню, его двоюродную сестру Женю и Женину мать тетю Киру.

«O, jetzt muß Ich mich...» — шептала Мария Адольфовна, не двигаясь с места. Мать Сани смотрела на старушку с жалостью и вытирала глаза. Но, в общем, жалеть Марию Адольфовну не стоило. Она возвращалась в Москву, в свою комнатку на Арбате, напротив кинотеатра «Арс», где кипела интересная городская жизнь.

---

[1] «О, я должна теперь собираться в дорогу...» *(нем.)*

Правда, Мария Адольфовна была совершенно одинока, не любила кино и редко выходила на улицу.

«Мария Адольфовна, милая, вам не надо никуда торопиться,— говорила мать Сани.— Вы прекрасно можете переночевать...»

«Нет, нет! Зачем? Я понимаю, я для вас чужой человек...»

«Вы совсем не чужой для нас человек, Мария Адольфовна, но поймите, у меня теперь не будет средств вам платить. Вот и все. Тут нет никаких тайн».

«Ach, Gott...» — Мария Адольфовна кивала, сморкалась, ее рука, державшая платок, была крупная, с узловатыми пальцами, как у мужчины, в больших венах. У Марии Адольфовны не было сил уйти. Мать Сани мучилась.

Потом Мария Адольфовна сказала, что не надо ничего платить, она будет заниматься бесплатно. Но мать не могла согласиться. Нет, это неудобно. Так нельзя. Она поцеловала старушку, сказала, что та очень хороший человек, что за три года они подружились и теперь как будто близкие люди, но жизнь переменилась и прежнего быть не может. Мать сказала: «Нам, наверно, и с дачей придется расстаться». Саня стоял в углу комнаты, задумчиво слушая разговор и глядя на женщин. Слова матери о том, что с дачей придется расстаться, больно задели, он почувствовал страх перед неизбежностью. Не просто у е х а т ь, а р а с с т а т ь с я. И мать говорила о таких ужасных вещах спокойным тоном. Мария Адольфовна вдруг обняла мать и сказала с упреком:

«Почему вы не хотите, чтобы я немножко помогала вам? Ach, Gott...— она прошептала:— Я сердита на вашу Киру».

«Нет, нет, спасибо,— сказала мать.— У меня есть сын, он поможет. Спасибо вам, дорогая Мария Адольфовна. А на Киру вы не сердитесь. Просто у Бориса Александровича срочная командировка, и он их забрал с собою».

Саня знал, что это не совсем так. Тут мама хитрила, скрывая правду. Дело в том, что тетя Кира, сестра матери, ее муж Борис и дочка Женя приезжали на дачу часто и жили подолгу. У отца была шутка на этот счет: «Только клопомором!» А возникла шутка так: однажды отец получил неожиданный отпуск, решил пожить на даче, но с матерью и Саней, без родственников. Как отделаться от Бориса и Киры? Придумали

так: будто надо делать дезинфекцию дачи от клопов, все должны уехать в Москву. Клопов и правда было немало. Борис и Кира уехали. А отец и мать остались. Хотя и с клопами, но друг с другом наедине, и с Саней, разумеется. Так и пошло: «Только клопомором!» И вот два дня назад явился неожиданно Борис и сказал, что тетя Кира и Женя должны уехать немедленно, в тот же вечер, потому что опаздывают. Тетя Кира плакала и что-то объясняла Саниной матери. Саня догадался: причина не в том, что куда-то опаздывают, а в том, что больше не хотят жить в Бору. Не хочет Борис. Тетя Кира, может, осталась бы, но боялась ссориться с Борисом. А мать на них не обижалась и говорила: «У них нет выхода».

Теперь и Мария Адольфовна уехала. На даче стало пусто, тихо. Мать была днем на работе, и он ходил один по комнатам, валялся с книжкой то на одной кровати, то на другой, делал что хотел, все кругом было доступно и голо, безжизненно. В конце лета Мария Адольфовна возникла однажды вновь, приехала будто бы погулять в Бор, терзающие минуты, Мария Адольфовна опять слезилась, совала какие-то конфетки, потом исчезла навеки. Мать Сани спустя год решила навестить ее, от старушки не было ни слуху ни духу, боялись, что умерла, но мать нашла ее живой и здоровой на бульваре с детьми. Мария Адольфовна обрадовалась и вытирала узловатыми мужскими пальцами глаза. Отведя мать в сторону, она сообщила шепотом, как величайшую тайну: «Мне сказали es ist besser, ich sehe Sie никогда больше!» Этот простой мотив исчезновения, столь хорошо знакомый, мать почему-то никак не связывала с Марией Адольфовной. Ей казалось, что та слишком стара и одинока для подобной осмотрительности. Но старушка хотела бестревожно и в полном согласии с существующими законами водить малышей по Гоголевскому бульвару, покрикивая на отстающих, одергивая убегавших вперед: «Запомни, Сережа: der Esel geht immer voran!» Эта «ослиная» мудрость была почти единственным, что запомнилось Сане из поучений Марии Адольфовны, пусть ей пухом будет земля. Осмотрительность и слезы не смогли задобрить судьбу, над планетою грохотали, сшибаясь, гигантские силы, и судьбы миллионов старушек были лишь искрами, высекавшимися на миг: летом сорок первого Мария Адольфовна отбыла из Москвы на восток. И, конечно, умерла скоро, ибо была на пороге последнего

исчезновения. Впрочем, неведомо! Может, умерла и нескоро, а может, жива до сей поры, ей девяносто семь лет, и она все еще плетет вечерами на своей восьмигранной рамке шерстяные салфетки...

С отъездом тети Киры и Бориса, с уходом Марии Адольфовны начался отлом людей. Мать догадывалась, что так будет, и торопилась — самой, первой, никого не терзая. Она всем находила оправдания. Эти больны, те слабодушны, у того слишком большая семья, у этого чересчур ответственная работа. И когда приходили соседи с неприятными разговорами, вроде занудливой Эльзы Петровны или крикливой грубиянки Аграфены, жены дачного коменданта и дворника Василия Кузьмича, все звали ее Гранькой, с попреками и руганью из-за какой-нибудь ерунды, из-за белья, огорода или из-за того, что Саня помял велосипедом клумбу, а на самом деле от желания слегка укусить, пощекотать нервы и насладиться — раньше не позволяли себе вот так приходить и скандалить,— мать и для них находила слова оправдания.

«Эльзу можно пожалеть,— говорила она Сане.— С тех пор как умер Ян Янович, характер у нее испортился. А Граня, бедная, уж очень завистлива, особенно завидует тем, у кого дети...»

Впрочем, мать не всегда была доброй, иногда скажет вдруг что-нибудь ядовитое или необыкновенно остроумное: «А у Эльзы лицо — как заспиртованный желудок. Правда, похоже?»

Саня хохотал. Уж мать скажет так скажет! Правда, правда! Такой симпатичный, заспиртованный желудочек. С маленькими усиками. Но, пожалуй, не человечий желудок, а коровий. Ни о чем, кроме травы и огорода, она говорить не умеет. И он, кстати, не заезжал в ее сад, это дело рук — или, вернее, ног — Руськи или Скорпиона...

Граня и Василий Кузьмич жили в подвале большого дома. Перед Кузьмичом все немного заискивали и даже слегка его побаивались, хотя он был человек тихий, неразговорчивый, добродушный, усатый, вина не пил, табак не курил, а все только ходил по участку с метлой да с граблями, жег мусор и всегда ремонтировал колодец. Ремонт заключался в том, что он нанимал работяг из деревни Татарово и они садились вокруг колодца на корточки и курили. Заискивали перед Кузьмичом вот почему: он был самый прочный и долговременный, осталь-

ные жили тут как бы на птичьих правах. То жили, то не жили, то шумели ордой, то заколачивали окна и двери, то появлялись, то исчезали, возникали другие, все путалось и менялось, а Граня и Кузьмич пребывали вечно на своем месте — в подвале,— в любое время года, в зимнюю стужу и в непролазную осеннюю мокреть.

Когда-то на участке, где расположились пять кооперативных дач, стоял помещичий дом, сожженный в революцию, чуть ли не летом семнадцатого, так что в поджоге были повинны не новые власти, а лихие заречные мужики, порешившие дело самосудом. Фамилия помещицы сохранилась в памяти молочниц, дровоколов, старух, таскавших по дачам грибы да ягоду: Корзинкина. Эта Корзинкина, от которой не осталось и следа, кроме красивых, из белого камня, с остроугольным верхом, похожих на кладбищенские ворот, сжечь которые не представлялось возможности, и каменистой, в древнем цементе дорожки, щербатой и чрезвычайно опасной для велосипедистов, где Саня часто падал и расшибал колени, легендарная Корзинкина представлялась воображению Сани отчетливо: тучная, с большим брылястым лицом, в черном пальто, длинном и расширяющемся книзу, как колокол, иногда ее отрывало какой-то сверхъестественной силой от земли и она летала над домами, над соснами в снопах искр, как гоголевская ведьма.

Кроме кладбищенских ворот от бывшего имения осталось вот что: деревянный домик вблизи въезда, где жил сторож. Избушку пощадили огнем лишь потому, вероятно, что она принадлежала трудящемуся человеку, который, впрочем, сгинул вместе с хозяевами. Это была аккуратно сложенная из крупных бревен изба на каменном фундаменте, с высоким крыльцом, с верандочкой, двумя комнатами и кухней. В 1926 году, когда несколько московских интеллигентов пролетарского происхождения облюбовали горелую пустошь для дачного кооператива под названием «Буревестник» (тогда же возник другой кооператив, «Сокол», разросшийся впоследствии в громадный район Москвы с собственной станцией метро), сторожка была там единственным жильем. Никто не позарился на нее, и в сторожке поселился работник Рабкрина Мартын Иванович Изварин с женой и сыном. А уже через год на участке выросли дачи: сначала громоздкая, двухэтажная, с четырьмя верандами и мансардой, где поселилось несколько семей, там жил первый Санин приятель, заступник, обидчик, драчун с татаров-

скими «мужиками» и открыватель гнусных тайн жизни Руська Летунов со своей плаксивой сестричкой Верой, и там же в мансарде жила рыжеволосая Мюда, названная так в честь Международного юношеского дня; затем появились две дачи поменьше, в одной жил знаменитый профессор, гулявший по участку в шелковом халате и в тюбетейке, к нему приезжала черная машина «роллс-ройс» с маленьким окошечком в крыше для проветривания, и сын профессора Скорпион приглашал кататься до автобусного круга и обратно; в другой даче жила Маркиза, обожавшая собак и кошек и ненавидевшая детей; и, наконец, вырос отдельный двухэтажный дом, называвшийся почему-то «коттедж», где на одной стороне жил Славка Приходько, на другой горлопанила многошумная семья Бурмина, старого лектора и пропагандиста. Отец Сани знал Бурмина по Восточному фронту, но в Соколином Бору они общались мало, а когда встречались во дворе, разговаривали шутливо. Отец считал Бурмина человеком глупым (Саня слышал, как он говорил: «Этот дурак Семен»), а к его военным подвигам и даже к ордену относился иронически. Зато Руськиного отца Летунова уважал, называл толковым мужиком. Помнится, говорил матери: «Единственный, кто поступил дельно, Паша Летунов — после войны закончил институт, стал инженером, не то что мы, балаболы...» Отец Руськи приезжал в Бор редко, иногда не бывал месяцами — работал на севере, на Урале,— и Руськина мать, тетя Галя, хорошая женщина, уезжала надолго к нему, Руська и Вера оставались в одиночестве, потому что малахольная тетка, к ним приставленная, то ли прислуга, то ли родственница, была не в счет... Да и тетка пропадала неделями в Москве, так что Руська и Вера — совсем одни... В их квартире затевались игры, выдумки, турниры, карты, черт знает что... На веранде опускались парусиновые занавеси, начинался тарарам, сверху в пол стучали палкой... И то, что Руська назвал: большой театр... Тьма, стыдное, задавленное в памяти, погребенное... Хотел стать великим артистом, великим писателем, но первое, что сотворил — в восьмилетнем возрасте,— была великая глупость... Родители орали друг на друга, лупили детей, не пускали на двор. Да Руська ли виноват? То был стыд всех. И в первую очередь взрослых дураков, которые бросали детей на теток, мчались кто на курорты, кто на собрания, а иные, вроде козлобородого Бурмина, возомнили себя сокрушителями старых норм,

созидателями новых. Ну, конечно, ведь началось с бурминских причуд, казавшихся глупостью и потехой! Бурмин, его жена, сестры жены и мужья сестер были поклонники «нагого тела» и общества «долой стыд» и часто расхаживали возле своей дачи, в садике, а то и на общественном огороде, где вечерами собиралось много людей, в непотребном виде, то есть в чем мать родила. Дачники возмущались, профессор хотел писать в Моссовет, а мать Сани смеялась, говоря, что это иллюстрация к сказке про голого короля. Однажды она поссорилась с отцом, который запрещал ходить на огород, когда там «шуты гороховые». Отец Сани очень злобствовал на Бурмина из-за этого «долой стыд». А остальные смеялись. Бурмин был тощ, высок, в очках, напоминал скорее Дон Кихота, чем Аполлона, да и бурминские женщины не блистали красотой. Правда, были замечательно загорелые. И все яркие, соломенные блондинки. Самая маленькая соломенная блондинка — Майя, ровесница и подруга. Исчезло лицо, забыт голос, но пожизненно веет каким-то дуновением тепла от имени: Майя. Может ли быть любовь в травяном, мотыльковом возрасте? У Сани была. Он был влюблен в волосы. Когда видел среди зелени мелькание сияющей золотой головы, чувствовал испуг и радость, и будто силы покидали его: хотелось упасть и лежать недвижно, как жук, притворявшийся мертвым. Майя была непохожа на Бурминых: медленно разговаривала, задумчиво смотрела и никогда не гуляла по садику голышом, как другие Бурмины.

Он запомнил чувство отвращения и страха, когда впервые увидел взрослых голых людей. Бурмин тогда где-то преподавал, что именно и где, неизвестно, писал какие-то статьи по вопросам воспитания, просвещения, истории, о чем старший Изварин отзывался непочтительно, употребляя слово «брехня». Загадочно, какие лекции мог читать Бурмин? За ним числилось два класса церковно-приходской школы, остальные он добрал в ссылках с помощью книг и друзей. Во время гражданской войны был фигурой, но затем как-то отжат, отодвинут, занимался чепуховиной — тем самым балабольством, о котором презрительно говорил Санин отец, вроде педологии, воспитания детей в коммунах, поклонения солнцу. Нудизм, но с какой-то передовой начинкой. Кончилось все однажды скандальным криком. Но была ли то глупость, как полагал отец? Был ли истинно глуп этот сын землемера с козлиной бородкой, кого выметнула на гребень

чудовищной силы волна? Теперь, спустя три с лишним десятилетия, то, что казалось аксиомой — глупость Бурмина,— представляется сомнительным. Ведь он единственный среди интеллигентов, основавших «Буревестник», пробурил насквозь эти годы, набитые раскаленными угольями и полыхавшие жаром, и вынырнул безувечно из огня в прохладу глубокой старости и новых времен. Говорят, умер недавно. Жив еще, кажется, Руськин отец, но этот хлебнул, этого обожгло, тут уж не глупость выручила, а судьба.

Про старика Летунова рассказал Руслан, с которым встретились случайно на улице лет несколько назад: бывший приятель стал невероятно важен, солиден, толстомяс, с пышной седой шевелюрой, как провинциальный актер. Старший инженер на каком-то заводике. А остальные старики? Смыло, унесло, утопило, угрохало... Саня лишь догадывался, ибо десятилетиями не бывал там, ничего знать не хотел, сторонился людей и с Русланом разговорился только потому, что тот хвать за ворот и завопил: «Санька! Ты живой, черт?»

А тогда в комнатах, занавешанных шторами — неужто забыл? — седой толстомясый мальчик кого шепотом, кого силой заставлял снимать трусики, маечки, и ничего особенного, то же самое, что делали взрослые Бурмины в своем садике, никого не стесняясь,— разгуливать голышом, прыгать, валяться, бороться... Называлось: большой театр... Сын землемера отвечал бушевавшим дачникам: «Дети должны все видеть, все знать! Не будьте лицемерами и ханжами!» Саня с содроганием видел золотое тельце, летавшее из комнаты в комнату, бессмысленно трепеща, как летают бабочки... «Лишь мещане боятся прекрасного нагого тела! — гремел, наливаясь краской и тряся кулаком, Бурмин.— Буржуи под лицемерной одеждой скрывают грязную душу!» Потом были избиения, шлепки, ремни, крик матери Сани: «Мартын Иванович заявит в Рабкрин! Если эта гадость не прекратится!» И навсегда, навсегда: загорелое, бесстыдное, запретное, горевшее в золотом луче, который проникал в щель... А в конце лета — еще до того, как река стала судоходной, мутной от мазута, когда на обоих берегах еще желтели отмели и кое-где реку переходили вброд,— Саня услышал вой женщины. Страшный и низкий, как пароходный гудок. Мать Майи бежала по берегу и выла, вдруг упала, несколько человек бросились к ней. Возле воды сгрудилась толпа. Мальчишки слетали с откоса,

делая громадные прыжки, торопясь к толпе. Саня тоже подбежал и увидел Майю, такую же, как всегда, только с закрытыми глазами, и волосы лежали на ее лице, как трава...

Даль, даль — до всего, до детства, до книжного безумия, до пароходов, до потока, до отлома людей... До крика Руськи, упавшего от удара железной трубы. Кидали кусок водопроводной трубы — кто дальше. У Сани железяка вырвалась из руки, полетела вбок и ударила Руську по ноге, ниже колена. Лежал полтора месяца в гипсе. Руськина мать, тетя Галя, не упрекнула ни словом! Но кто-то на собрании — чуть ли не тот же носатый старик — выразился так: «Отец вредил на службе, а сынок вредит в своем кругу, калечит детей». И мать не выдержала, расплакалась, раскричалась на собрании, тетя Галя привела ее под руку домой, ухаживала за нею, как за больной, и мать на другой день сказала: не ходить к тому старику на веранду и с ним не здороваться. «Ты никогда не видел подлецов, Саня? Теперь будешь знать. Этот лысый человек — подлец». Он спросил: а со Славкой играть можно? «Со Славкой можно,— сказала мать.— Сын за отца не отвечает».

Однажды днем пришла Аграфена и спросила, можно ли посмотреть подпол и сараюшку. Санина мать сказала, что, конечно, можно, потом вдруг удивилась: «А зачем смотреть, Граня?» Аграфена уже отворила воротца под верандой, запиравшиеся гвоздем, и собиралась нырнуть в потемки, чтобы лезть в подпол, но остановилась на полпути.

«Да как зачем, Клавдия Алексеевна? Ведь ваше помещение нам отходит. А не глядемши брать...»

«То есть как это — вам отходит? Кто сказал?»

«А сказали... Я почем знаю...— Аграфена смотрела на мать с обидой и недоумением.— Кому же вы хотите, чтоб отошла? Люди на вас трудятся, какой год в подвале живут, там знаете, какие сырости, попробуйте поживите...»

«Я полноправный член кооператива! — закричала мать таким голосом, что Саня испугался.— Вы не смеете! Пока я жива! Уходите, Граня, заприте сарай и больше со вздором ко мне не являйтесь!»

Аграфена ушла, ворча: «Люди в подвале, а им хоть бы что, господа...» Но все было кончено. Мать знала об этом, Саня догадывался. В конце лета мать устроила день Саниного рождения. Ей хотелось, чтоб было, как

раньше, как в прошлые годы. Она не понимала, что Саня все понимает и ее старания не нужны. Вполне мог обойтись без этого праздника, ничуть он не страдал. Конечно, от нового альбома и прозрачных пакетиков с марками французских колоний не хотел бы отказываться, а от пирога, от цветов, от конфет... Из ребят пришли только Руська с Верой и рыжая Мюда. Кажется, Мюда стала потом, лет через десять, женою Руськи. Такое доброе, губастое, толстощекое существо, а Вера немного тяготила, потому что — он чувствовал — он ей нравился. И это был последний август с пирогом, с флоксами, с вечерним гуляньем по берегу. Мама очень старалась, чтоб все было, как всегда. Был невероятно холодный вечер, необычный для августа, даже для конца. Вечер был, как в октябре. Никто не купался. На противоположном берегу, низком, заливном, едва видном в сумерках, кто-то жег костер, и отражение костра светилось в стылой воде длинным желтым отблеском, как свеча...

Зимой мамы не стало. Обвалилась и рухнула прежняя жизнь, как обваливается песчаный берег — с тихим шумом и вдруг. Началось другое: другая школа, другие ребята, другие кровати, другой город, непохожий на город, деревянные тротуары, деревянные дома... В лютый мороз привезли станки, укоренялся военный завод из Москвы... Зачем возвращаться и откапывать то, что засыпано песком? Берег рухнул. Вместе с соснами, скамейками, дорожками, усыпанными мелким седым песком, белой пылью, шишками, окурками, хвоей, обрывками автобусных билетов, презервативами, шпильками, копейками, выпавшими из карманов тех, кто обнимался здесь когда-то теплыми вечерами. Все полетело вниз под напором воды.

Александр Мартынович сидел возле кровати жены в нестерпимо душной, раскаленной зноем палате, держал ее руку в своей, что-то рассказывал и думал: «Говорить не буду, зачем? Все равно невозможно. Она могла бы, а я нет». Был совсем спокоен, только одно занимало: зачем старик появился спустя тридцать пять лет? Так прямо и спросил, когда тот, как условились, позвонил вечером другого дня.

— Э-э...— услышал протяжное блеяние, затем кашель, затем вздох, и вновь бодрый лопочущий голос: — На это ответить довольно сложно или, может быть, слишком просто, но ведь вы не поверите. Очень жаль, что отказываетесь. Впрочем, вы правы, выиграть дом нелегко, тут

много pro и contra, вы правы, дорогой Саня, что удаляетесь от хлопот...

— А вы помните,—спросил Александр Мартынович,— моя мама, царство ей небесное, как-то назвала вас подлецом?

Наступила пауза. Александр Мартынович успел за эти четыре или пять секунд подумать о том, что жизнь — такая система, где все загадочным образом и по какому-то высшему плану закольцовано, ничто не существует отдельно, в клочках, все тянется и тянется, переплетаясь одно с другим, не исчезая совсем, и поэтому домик на курьих ножках, предмет вожделения и ночных слез, непременно должен был появиться и вот появился: как пропавший некогда любимый щенок в виде унылой, полудохлой собаки. Старик прошелестел едва слышно:

— Вы ничего не поняли в жизни, Саня.— И повесил трубку.

Наутро разъехались все, кроме Руслана, который уже с неделю торчал на даче: то ли в отпуске, то ли взял работу домой, то ли заведение такое халтурное, что посещать не нужно, а денежки платят. Не разбери поймешь, выяснять бесполезно, толком все равно не ответят. И что у них за манера вечно иронизировать! Надо всем, к месту и не к месту шутовство. Ах, какие мы умные. Завтракали вдвоем. Солнце палило. Руслан был босой и голый, в одних трусах, мрачен, небрит, пил крепчайший чай, курил и молчал.

Из сада тянуло горелым. Угрюмое молчание томило, и Павел Евграфович, не сдержавшись, спросил:

— Ты почему, позволь узнать, сегодня не на работе?

Руслан поставил пустую чашку на стол, вытер пальцами, сложив их щепотью, рот — так же, щепотью, вытирала рот Галя,— посидел, покачался на стуле, будто не слыша, затем взял заварочный чайник, глотнул раза два из носика. И лишь после того ответил:

— А что, отразится на мировой революции?

Поделом, не нарывайся, старый пень. Павел Евграфович сказал мирно:

— Ты бы, Руся, поговорил, опять он мусор в железном баке сжигает, хулиган.

— Кто?

— Да Скандаков. Слышишь, какую вонь напустил?

— Скандаков! — Руслан хмыкнул.— Скандаков помер днями. Его самого сожгли. Инфаркт миокарда. А знаешь,

отчего гарь? Леса горят за Москвой. Торф горит. Как в летописи: и бысть в то лето сушь великая... Помнишь? Какая была сушь тыщу лет назад?

— Помню.— Павел Евграфович, помолчав, спросил: — Скажи, отчего ты с отцом разговариваешь всегда в дурацком, шутовском тоне?

— Ась? — Руслан приставил ладонь к уху.— Чегось?

— Ну вот, пожалуйста... Ах, бог ты мой, все понятно...— Павел Евграфович заторопился встать, чтоб уйти, но Руслан неожиданно взял его за руку, потянул вниз и силою посадил на стул, как мальчика. Часто, наглец, пользовался преимуществом в силе.

— Хотел, кстати, тебя спросить. Как, по-твоему, всегда ли прав коллективный разум? И всегда ли не прав одиночка?

— Видишь ли... Как тебе сказать? — Павел Евграфович обрадовался, что сын задал серьезный вопрос, захотелось ответить обстоятельно и умно. Он напрягся, собрал мысли.— Пожалуй, готового рецепта я тебе не дам. Каждый случай надо обсуждать во всех связях, в противоречиях, диалектически... Тебя какой аспект интересует?

— Да меня свой интересует. Личный. Понимаешь, какая петрушка: надо работу менять. Выживают меня с завода.

— Что ты говоришь! — испугался Павел Евграфович.

— Страшного ничего нет. Работу я найду моментально. Но вот что заедает: а вдруг они правы, сволочи? Они говорят, что я такой человек, что со мной работать невозможно. Я, мол, высокомерный, грубый, такой-сякой, эгоистичный. Не желаю учитывать интересы других. Восстановил против себя сотрудников. И говорят люди, от которых я просто не ожидал. Как обухом по голове. Ну, в общем, настоящая травля, и положение сейчас таково, что оставаться нельзя... Вот, папаша, какие пироги... Но дело не в том! Я за эту шарашку не держусь. Меня другое убивает: если все говорят, что я плох, может, я действительно плох? Может, действительно такая скотина?

— Нет, Русик. Нет, нет. И не думай даже! — заговорил Павел Евграфович горячо, почувствовав внезапную жалость к сыну, почти как сорок лет назад.— У тебя, конечно, есть недостатки, у кого их нет. Но работать с тобой можно. И жить с тобой можно. По-моему, наоборот, эгоизма в тебе мало, ты мало заботишься о себе.

— Ну вот. А они считают иначе. Я уж не знаю, что о себе думать. Это ведь неприятно, когда тебе говорят: вы плохой человек. Когда говорят «вы плохой работник, плохой инженер», черт с ним, пускай, а вот «плохой человек» — неприятно.

— Ты вовсе не плохой человек. Но, конечно...— тут Павел Евграфович запнулся, потому что хотел было сказать, что к недостаткам Руслана относятся некоторая разболтанность, легкомыслие, неуважительная манера речи, что может не нравиться сослуживцам, однако счел правильным не уточнять. Он погладил сына по седой голове и сказал: — По сути, ты человек добрый и хороший. Живешь как-то не так, как мне хотелось бы, да что поделаешь.

Они помолчали. Руслан мычал неопределенно, качаясь на стуле, глядя в сад.

— А что плохого в моей жизни? — спросил он.

— Плохого? Ничего. Да и хорошего нет. Дома у тебя нет. Тепла нет.

— А! — Руслан хмыкнул, как бы говоря: «Ишь чего захотел». Потом, вздохнув, согласился: — Прав, отец, прав, прав... Нету ни того, ни сего, ни пятого, ни десятого... И синей «Волги» нет, как у того хлыща.— Он показал кивком: на дорожке, за деревьями, медленно разворачивалась кандауровская «Волга».— И как это меня угораздило, чтоб ничего не было? Когда у всех все есть? Куда-то не в Москву попер, в обратную сторону. В совхоз, что ли. Значит, так надо. Зря бензин жечь не станет. Ах ты, боже мой, и чего я суечусь? Ведь все практически сделано, картина нарисована, осталась какая-то мелочь, ерунда, детальки... Ну и шут с ними... Между прочим, я дня через два уматываю. На борьбу с пожарами. Куда-то в район Егорьевска. Записывали добровольцев. «Кто, рыцарь ли знатный иль латник простой?..»

— Ты записался? — вскрикнул Павел Евграфович, испугавшись не на шутку.— Зачем? С ума сошел! Пускай молодые едут, а тебе пятьдесят лет, у тебя сердце, дурак ты, ей-богу...

— Пустяки, сердце нормальное. А сидеть в конторе, видеть их рожи — тошно! За себя не ручаюсь — или скажу чего, или врежу кому... Зафитилю одному, будете потом передачи носить... Лучше уж на фронте борьбы с огнем, спасать леса — наше богатство...

Павел Евграфович смотрел на сына сокрушенно, с недоумением: неужто пятьдесят? Какой-то невыросший, не-

дозревший, бузотер, гуляка, шатун. Волосы седые, одевается, как инженер, а разговор босяцкий. Грозит отцу пальцем насмешливо, покровительственно, будто он отец, а Павел Евграфович — сын.

— Я тебя зна-аю, голубчик! Воспользуешься моим отсутствием, будешь манкировать тем, что обещал... С Приходько поговори непременно, слышишь?

Олег Васильевич с утра поехал в совхоз разыскивать Митю по прозвищу Жализо или Кривой, а также Жучковский, по деревеньке Жучково, откуда Митя был родом, но где жить не удавалось: то тащило в Москву на стройку, то лепился к совхозу, то к дачникам в сторожа, то вербовался с ребятами на Кубань, в хорошие места. А Жализо оттого, что являлся обычно с каким-нибудь торговым запросом, чаще всего заговорщицки тихо спрашивал: «Жализо не надоть?» Олег Васильевич знал Митю хорошо, считал хитрованом, шельмой, не верил ни одному его слову, ни одному обещанию, но полагал, что ссориться с ним не надо, хитрован он н у ж н ы й, шельма п о л е з н а я, хотя ссорился и ругался не раз, прогонял в сердцах, клялся, что не одолжит больше ни рубля, но тот спустя время опять подкатывал с каким-нибудь гнусным предложением, заманчивым товаром, вроде огородных леек или цементных плит для дорожки, и Олег Васильевич, махнув рукой на обиды, вновь вступал с ним в презренные отношения, одалживал рубли и пил с ним водку на веранде. Однако эти устоявшиеся виды общения относились к Мите прежнему, привычному, кого можно было приголубить, облагодетельствовать, а можно в любой момент и послать куда подальше, к Мите — доставале, ловкачу, работяге, прихлебателю и собутыльнику, но отнюдь не к тому Мите, в кого он превратился теперь. Ведь он стал соперником! Опасность, правда, невелика, пожалуй, сомнительна, не прямой родственник Аграфены, а племянник, но ведь чем черт не шутит? Добрые люди и любезные соседи непременно что-нибудь поднесут, какую-нибудь плюху. В новом качестве Митя появлялся лишь дважды: на похоронах и на другой день после похорон, когда пригнал с двумя дружками грузовую машину и хотел, не мешкая, погрузить всю Аграфенину рухлядь — шкаф, кровать, телевизор, швейную машину — и быть таковым. Была б дома одна Полина Карловна, операция удалась бы спокойно. Но Зина вызвала кого-то из членов правления, бухгалтера Таисию,

которые спросили: на каком основании? Права наследования надо доказать. Митя орал, дружки его распаляли, все трое были чуть-чуть хмельны — в том чудесном душевном настрое, когда вот-вот ожидается большая гулянка, а тут гулянку отнимали если и не навсегда, то перекладывали на неопределенное время, чего вытерпеть было нельзя. Они ярились до темноты, Таисия бегала за милицией. Таисия — человек верный. Там вложено немало. Но это не зря, это как в швейцарском банке, не пропадет, еще даст проценты. Таисия орала и материлась не хуже мужиков. А жена Мити — совсем неподходящая для него, миловидная женщина, и как она живет с этим чучелом? — не вылезала из кабины и только стонала жалобно: «Мить, да ну их... Мить, поедем...» Отстояли. С помощью милиционера Валеры, который прискакал на своей тарахтелке. Потом Митя пропал надолго. Уезжал куда-то с бригадой. И вот неделю назад возник опять. Полина Карловна услышала, как кто-то гремит тачкой. Вышла на крыльцо, увидела Митю, который вез по уложенной плитами дорожке железную Аграфенину тачку, очень удобную, в которой Аграфена таскала землю, удобрения, кирпичи, палые листья. «Митя,— сказала Полина Карловна,— зачем же ты берешь без разрешения? Ведь это не твоя вещь».— «А и не ваша тоже!»— отрезал Митя. И ушел с тачкой, не оглянувшись.

Но это пустяки. Митя не страшил Олега Васильевича. Главное, не поддаваться на наглость. Вспомнилось, как лет восемь назад, в первое лето здешней жизни, когда еще не были ни с кем знакомы, жили одни — Аграфена была в больнице, постоянно где-то лечилась, исследовалась, наблюдалась, скучнейшая баба, и все разговоры с нею были о болезнях и медицине,— пришел кособокий мужичок в пиджаке с чужого плеча, кепка на носу, один глаз сощурен, отчего и кличка Кривой, и спросил, не нужно ли стекло. Держал под мышкой два больших куска стекла, обернутых в тряпку. Олег Васильевич сказал, что не нужно. Тот настаивал, чтоб взяли, что хозяйка, родная его тетка, наказывала, и вот он принес. От мужичка пахло спиртным, и Олег Васильевич его прогнал. Среди ночи всех разбудил грохот и звон. Выбежали из комнаты, увидели, что стеклянная сторона веранды, обращенная к забору, выбита и лежит на полу в осколках. На полу же нашли громадный булыжник. Кто-то кинул с дороги. И сомнений не было, кто. На другой день наглец явился

как ни в чем не бывало и опять канючил: может, возьмете стекло? Может, надоть? Мне ж наказали, я за его деньги платил. Олег Васильевич пожаловался: какие-то негодяи бросили через забор камень, стекло теперь кстати. У Мити в кармане оказались гвоздики с молотком и стеклорез, он тут же принялся за работу и через час все прекрасно восстановил. «Спасибо, спасибо,— говорил Олег Васильевич, пожимая Мите руку.— И будь здоров! Заходи, брат».— «А шашнадцать рублей? — изумился Митя.— Как договорились?»— «Чего-о? — зарычал Олег Васильевич и, схватив стальными пальцами тощий Митин загривок, сжал его с такой силой, что Митя скорчился и присел.— Я тебе покажу, как камнями швыряться! Я тебя на три году упеку, падла! Я тебе пасть порву, сучий пóтрох! Катись отсюда, пока жив!» И Митя подлинно покатился, ибо Олег Васильевич толкнул его хорошо: тот упал на колени, потом на бок, перевернулся, вскочил и убежал, ошеломленный. С тех пор отношения наладились. Аграфена племянника не любила и боялась: часто, когда Митя приходил, запиралась в своей комнате и велела говорить, что ее нет. Он выпрашивал у нее деньги, был настойчив, злобен, у нее не хватало воли отказать.

Олег Васильевич отыскал Митю в мастерских, в медницком уголке, где Митя деревянным молотком обстукивал на оправке жестяной желоб. По тому усердию, с каким Митя орудовал — с его плеч, со щек струился пот, рот был открыт, глаза глянули шало и бессмысленно, в первый миг не узнав,— было очевидно, что выполняется срочный, негосударственный заказ, что клиент не ждет, да и Митя торопится.

— Ну? Чего? — Оторвался от оправки и молотка неохотно. Вышли на двор, сели в тенечке. На Митиной голой груди был вытатуирован орел, ниже шла надпись: «Наша жизнь, как детская сорочка...» Вторая строчка пропадала в складке живота. Но Олег Васильевич хорошо ее знал. Он спросил, стараясь говорить как можно легче и благодушней, хотя предчувствие подсказывало, что все будет тяжело и плохо и Митя стал какой-то другой.

— Как будем жить-то, а? Хитрый Митрий?

— Вы когда нынче в Москву съезжаете? В сентябре или раньше? — вместо ответа спросил Митя.

Олег Васильевич усмехнулся, достал пачку «филипп моррис» и щелчком выбил сигарету. Протянул Мите,

но тот — тоже новость! — покачал презрительно головой и вытащил из кармана штанов мятую, мусорного вида пачку «Дуката». Половину изломанной дукатины он вставил в мундштучок и закурил важно.

— Надеешься? — спросил Олег Васильевич.— Зря! Надеяться тебе не на что. Ты не прямой наследник, ты племянник, а племянники по закону не наследуют. Это говорю тебе точно. Можешь мне поверить. Так что дело твое, Митрий,— табак.

— Но! — сказал Митя и, склонив низко голову, сощурив глаз, посмотрел на Олега Васильевича очень хитро.— А на хрен ты ко мне припер?

— Это я сейчас объясню. Но сначала ты должен уразуметь, что никаких прав у тебя нет. Абсолютно, совершенно никаких прав. То, что называется: пустые хлопоты.

— Но! — повторил Митя более издевательским тоном, склонив голову ниже и еще хитрее сощурив глаз.— А иждивенец? Ежели который на иждивении?

— Это ты, что ли, на иждивении? У Аграфены? Ну, Митька, не смеши! Хо-хо! Тебе голову морочат, а ты веришь, балда. Кто такую ересь сказал?

— Умные люди сказали. И поумней тебя есть, не думай. Анатолий Захарыч сказал, Графчиков. Он мужик мировой, все объяснил правильно.

— Поцелуй своего Графчикова знаешь куда? — озлился Олег Васильевич.— Чего он тебя путает, гад? Никакой ты не иждивенец. Она тебя не кормила и не поила, Гранька. Она тебя зрить не могла! Ты для нее был как чума. Под кровать от тебя пряталась.

— А деньги давала всю дорогу.

— На водку!

— А кто знает?

— Да все знают! Ты пьянь знаменитая. Все подтвердят.

— А вот и дурак, что так думаешь,— спокойно сказал Митя.— Никто не будет, потому сам знаешь... они тебя не обожают, Василич. А Графчиков, Анатолий Захарыч, сказал: я, говорит, подтвержу, что Граня тебе на харчи давала и на квартиру. Ты, говорит, не беспокойся.

— Глупости все это. Какой ты иждивенец, когда у тебя жена есть? Она тебя кормить должна, а не тетка.

— А хрена не хошь? Клавка — не жена, а так, приблудная. Мы не расписанные.

— Ну хорошо, но ведь ты работаешь, ты специалист, жестянщик, кровельщик, черта в ступе, сам себя можешь обеспечить. Такие орлы, как ты, на иждивении — это смешно!

— Не смешно, друг, когда здоровья нет. Месяц работаю, два на больничном. У меня сердце никуда. Печенка плохая. Печенка совсем не годится. Я капли пью, понял? Так что ты, Василич, не сопротивляйся. Твоя кличка — отвались, понял?

Олег Васильевич помолчал, размышляя. Затем сказал:

— Ладно! Все это болтовня, трата времени... Сейчас я расскажу, зачем я приехал. Только не тут. Мне тут не нравится.— Олег Васильевич брезгливо оглядел двор мастерских, в котором действительно было мало красивого: ржавые станки, оси, прицеп без колес, ящики, мусор.— Поедем на развилку, посидим в покое, поговорим всерьез.

На Митином лице отпечатался секундный отчаянный зигзаг борьбы, происходившей в душе, затем он, ни слова не сказав, ушел в помещение, вернулся и сделал рукою быстрый победный жест, какой делают футболисты, забивая гол, и что означало: поехали! Через полчаса сидели под белым тентом за столиком в павильончике «Отдых», взяли три бутылки румынского кислого, ничего другого не было, пачку вафель и несколько конфеток — Олег Васильевич заметил, что скромное угощение Мите понравилось, хотя ни одной вафли и ни одной конфетки он не взял, — и вели вполголоса беседу. Олег Васильевич объяснил напрямую: дело сложное, может, и выиграешь, может, и нет, скорее всего, нет, потому что старшие козыри на руках у него, Олега Васильевича. То-то, то-то и вдобавок то-то. Так что не тратьте, куме, силы, опущайтесь на дно. Взяли еще две бутылки. Домик, куда приходилось бегать, оказался недалеко, перепрыгивали через загородку. Митя не пьянел, а трезвел. Вопрос для него становился ясен: будешь биться, судиться, тягаться и ничего не высудишь, только время испортишь, а тут отступное. Живые деньги. Сто рублей. Или ни шиша, или сто — что лучше? Но Митя, конечно, не будь дурак, над этой суммой посмеялся и предложил свою — пятьсот. Стали торговаться. Длилось долго, шумели, горячились, обливаясь потом, наконец — сто семьдесят.

— Только, Василич, слышь?— Митя строго грозил пальцем.— Деньги щас! А то ты любишь: через неделю, в понедельник, в хренодельник...

— Деньги вот. Сто рублей. Семьдесят получишь после общего собрания, в тот же день. А теперь нарисуй тут.

Митя, морща лоб, разглядывал бумагу, где Олег Васильевич с помощью машинки «Триумф» изобразил лаконичный Митин отказ от посягательств на дом Аграфены. Покряхтел, попотел, попосматривал на Олега Васильевича с выражением внезапно пришедшей на ум мысли, которую вот-вот выскажет и поставит в тупик, но так и не высказал и подписал. Было четыре часа. Весь день ушел на Митьку — и его пришлось сверлить до упора, ничего просто не дается, все надо выбивать, пробивать!— и многие спешные дела, которые он намечал на сегодня, пропали. От кислого вина и адского зноя Олег Васильевич отяжелел, разморился, в голове был шум, хотелось нырнуть в реку и сидеть в воде, не вылезая, до вечера, но два часа, что оставались в запасе до закрытия контор, погнали его в Москву. И кое-что он успел. Вечером после душа сидел на балконе городской квартиры в плетеном кресле — в трикотажных трусах, в резиновых пляжных сандалетах, как на взморье,— и, испытывая наслаждение покоем, тенью, чувством удачи и ощущением правильности всей своей жизни до упора, отмечал карандашом в записной книжке сделанные дела. Вычеркнул из списка: «Митя», «Внешпосылторг», «ЖЭК», «Очередные тома» и «Потапов». Потапов — зашифрованное имя Светланы. Прощание с Потаповым состоялось. И это дело — как ни горько, как ни рвет сердце — доведено до конца, должно быть вычеркнуто. Впрочем... Она уезжает завтра. А сегодня? Вечер пустой. Он колебался некоторое время, жалея ее и не очень одобряя себя, но затем подумал, что отказ от сегодняшнего вечера был бы изменой принципу, ибо сегодняшний вечер, накануне ее отъезда, это и был упор, и, быстро поднявшись с кресла, направился в комнату к телефону. Номер Светланы не отвечал. Он позвонил дважды и ждал долго.

И, как только положил трубку, раздался звонок.

Знакомый мелодичный голос сказал:

— Олег Васильевич? Наконец-то! Я вам звонила сегодня, вас не было. Ангелина Федоровна.

— Да, да!— сказал он, не сразу сообразив, кто это.— Ах, Ангелина Федоровна! Слушаю вас.

— Ничего особенного, Олег Васильевич, просто хотела вас попросить приехать завтра и привезти повторно мочу. Вы могли бы?

Легкий мгновенный холод в глубине живота был ответом на эти слова, раньше, чем Олег Васильевич успел что-либо подумать. Он спросил глупо:

— А зачем?

— Мы просим иногда делать повторно, в некоторых случаях. Когда мы в чем-либо сомневаемся и хотим быть уверены.

— Вы знаете, Ангелина Федоровна, завтра я никак не могу. Я встречаю делегацию в Шереметьеве,— соврал Олег Васильевич, бессознательно обороняясь.

— Пожалуйста, можно послезавтра,— согласилась Ангелина Федоровна.— Приходите послезавтра утром.

Чугун давил, леса горели, Москва гибла в удушье, задыхалась от сизой, пепельной, бурой, красноватой, черной — в разные часы дня разного цвета — мглы, заполнявшей улицы и дома медленно текучим, стелящимся, как туман или как ядовитый газ, облаком, запах гари проникал всюду, спастись было нельзя, обмелели озера, река обнажила камни, едва сочилась вода из кранов, птицы не пели; жизнь подошла к концу на этой планете, убиваемой солнцем. Вечером рассказывали всякие ужасы. Вера видела, как человек упал на улице. Будто в замедленной киносъемке: несколько шагов топтался на месте, высоко вскидывая колени, потом голова запрокинулась и он рухнул. А в метро женщина потеряла сознание. «Вечерняя Москва» полна траурных объявлений. Бродячих собак расстреливают. Один старик сказал, что жара простоит до конца октября, потом станет легче. Свояченица твердила об атомных испытаниях, которые будто бы — вздор, разумеется,— испортили климат. Свояченица раздражала Павла Евграфовича своей «хорошестью», выставкой своих добродетелей и вместе с тем глупостью.

Никто не отрицал ее заслуг. Все помнили. Галя говорила: «Никогда не забуду, что Люба сделала для нас. Если б не Люба, дети пропали бы». Правда, три года, по сороковой, пока они отсутствовали — а он-то еще дольше, ушел на войну,— Люба была с детьми, тащила, оберегала, вместе с Галей везла в эвакуацию, в Лысьву, оттуда Руслана провожала на фронт. Она и дачу в Соколином Бору спасла. За все спасибо. А глупость в чем? Нет, не в том, что радио не слушает, газетами не интересуется, несет околесную за столом, а в том, что мнит — втайне,— будто может в чем-то сравниться с

Галей. Полноте, Любочка! Хоть вы и моложе сестры на пять лет, но ни статями, ни лицом и, уж конечно, ни глазами сравниться с Галей не можете, даже не старайтесь, не говоря уж про ум. А человек вы хороший. Добрый, порядочный. Хороший, хороший человек, безусловно, общеизвестно. Все знакомые и родственники говорят: «Какая Люба хорошая!» А некоторые прибавляют: «Ведь она, можно сказать, жизнью пожертвовала ради сестры». Ну не совсем так. Хотя в чем-то да. В тридцать седьмом Любе было двадцать девять, ей сделал предложение один железнодорожник, она отказала, потому что взяла на себя ношу — племянников. Все знаем, помним, ценим, не забудем ни за что, а вот ходить в открытом сарафане, как будто вам двадцать лет, с голой спиной, усыпанной старческими веснушками, негоже, Любочка...

Врачи сказали свояченице что-то благоприятное, и она вернулась из Москвы ободренная, помолодевшая, привезла клубники. Сидели на веранде, ели клубнику, пили чай. Стеклянные фрамуги и дверь в сад держали закрытыми, чтобы не проникала гарь. Помогало слабо. Горький и страшный запах все равно чуялся. Кто-то приходил на веранду, кто-то уходил, постоянно кричали: «Дверь, дверь! Закрывайте дверь!» В отсутствие Руслана — он уехал в Егорьевск в качестве пожарного, очередное безумство, но дело, видно, нешуточное, горят торфяники, их гасить крайне трудно, почва прогорает до большой глубины — Николай Эрастович взял на себя роль главного мужчины, развлекателя общества и рассказывал новости о пожарах. Собственно, то были не новости, а рассуждения по поводу. Насчет алтайского старика, который будто бы еще два года назад предсказал нынешнюю засуху. И вообще о предсказаниях, прогнозах, пророчествах.

— Говорят, с этим дедом совершенно серьезно советуется Министерство сельского хозяйства. И он дает точнейшие рекомендации. Ни разу не ошибся...

Свояченица охала в изумлении — экая клуша, готова тут же поверить чепухе,— Вера, конечно, глядела на благоверного с обожанием, да и остальные, кто сидел за столом, Мюда с Виктором и Валентина, слушали трепача с жадным интересом. А он такую молол чушь! Наука якобы показала свое бессилие в области предсказаний, ни черта не сбывается, все мимо, все не туда, даже такой пустяк не могут предугадать, как погода на

неделю вперед, а что ж говорить о более существенном... Не могут, не могут, силенок не хватает, из тех кубиков, какие у них в руках, это здание не построить. Нужно что-то другое. Что ж, позвольте узнать? Другой подход ко всему. Виктор робко спросил: почему Министерство сельского хозяйства не может допытаться у деда, какие у него методы предсказаний? Николай Эрастович ухмылялся, руками разводил.

— А что он может сказать? Сам не понимает, какие методы...

— Наверно, просто не хочет,— предположила Валентина.— Зачем ему свои секреты открывать?

— Нет, не в том дело. Не может.

— Почему?

— Ну, как бы вам...— Николай Эрастович, колеблясь, глядел на Веру, советуясь глазами: говорить, не говорить? Затем произнес:— Понимаете ли, дело в том, что сей алтайский старец не сам говорит.

— А!— сказал Виктор.— Понятно.

— Что понятно?— не выдержал Павел Евграфович.— Не ври, Витька! Чушь понять невозможно.

Настала пауза. Николай Эрастович не стал возражать, будто не слышал Павла Евграфовича, остальные тоже будто не слышали, и в тишине сделался различим стук серых ночных бабочек в стекла веранды. Но свояченица, разумеется, не могла успокоиться и оставить тему без продолжения. Сконфуженным шепотом спросила:

— Николай Эрастович, дорогой, вы уж простите старую дуру, но я все же не совсем поняла. Что значит — не сам говорит?

Тот опять ухмыльнулся, пожал плечами.

— Да ничего особенного не значит. Если не понятно, то и не надо понимать...— Сделал великодушный жест: живите, мол, дальше, я разрешаю.— Тем более что объяснять долго.

— Долго?— удивилась Люба.— Как долго?

— Очень долго. Всю жизнь.

— Вы просто смеетесь надо мной... Витя, что ты понял? Объясни тетке, пожалуйста.

Виктор, напряженно хмурясь, собирался с мыслями и словами. Хотел добросовестно объяснить. Но слова и мысли не находились. Тогда его мать, бедная Мюда — Павел Евграфович всегда почему-то ее жалел, хотя жалеть не за что,— пришла на помощь:

— Ты, наверно, имел в виду, что старик делает свои предсказания в состоянии транса? Как бы во сне?

— Не золотите пилюлю,— сказал Павел Евграфович.— Любовь Давыдовна, тебе хотят внушить, что устами старца говорит господь. Вот и вся тайна. Николай Эрастович — человек религиозный, а мы с тобой нет. Поэтому мы никогда не поймем его, а он нас.

— Правда? Да что вы!— Свояченица изобразила еще большее изумление, будто услышала новость, хотя говорили и спорили на эту тему не раз.— Неужто вы, Николай Эрастович, ученый человек, верите в бога? Да никогда в жизни! Ни за что не соглашусь! Глупости говорят!

У Николая Эрастовича задергались губы, заалела щека, минуту он сидел, глядя перед собой, на блюдо с клубникой, затем молча встал и ушел с веранды в дом.

Верочка зашептала в смятении:

— Люба, почему ты такая бестактная?..

— Да что я сказала? Я просто поражена...

— Ничего не поражена, ты давно об этом знаешь, не прикидывайся. Нехорошо вы делаете, вы оба — и ты и отец,— все время даете понять... Надо уважать других, другие взгляды... Нельзя же вот так лезть в душу...

— Да души-то нет!— крикнул Павел Евграфович и стукнул палкою в пол.

Верочка поднялась со всей поспешностью, на какую было способно отяжелевшее, грузное тело, глядя на отца в безумном ошеломлении, будто услышала нечто такое, отчего у нее отнялся язык, и вслед за благоверным покинула веранду. Валентина собрала грязную посуду, тоже ушла. Виктор побежал в сад, Павел Евграфович остался на веранде вдвоем со свояченицей, говорить с которой было не о чем.

— Вере надо лечить щитовидку,— сказала свояченица.

Павел Евграфович не ответил. Она его раздражала. Все раздражали. Не смотрел в ее сторону и не слушал, что она бормочет. В черном стекле отражались абажур, скатерть и сгорбленная, с белым хохлом, запавшим в плечи, фигура старика за столом. Потом свояченица ушла, он посидел немного один, дверь отворилась, и вышел Николай Эрастович с горящей папироской — значит, собрался идти в сад, в доме курить не разрешалось. Но Николай Эрастович уходить не спешил, стоял на веранде, выпуская табачный дым — что было наглостью,— и произнес негромко:

— Вас хорошо отблагодарили за верную службу...

Павел Евграфович почувствовал, как внутри у него все задрожало от ненависти — непонятно какой, то ли то была ненависть его к Николаю Эрастовичу, то ли передалась ненависть Николая Эрастовича к нему,— и сказал едва слышно, пропавшим голосом:

— Я никому *не служил* и не ждал никакой *благодарности*...

Николай Эрастович, попыхивая дымом, вышел на крыльцо. Вскоре из комнаты появилась Верочка и, проходя мимо, не глядя на отца, сказала:

— Русик просил напомнить насчет Приходько.

— Его нету,— сказал Павел Евграфович ей вслед.

— Приехал. Я видела утром.

Павел Евграфович продолжал сидеть один за столом, глядя на свое отражение в черном стекле. Нет, сегодня уж никуда — болят ноги. И в голове шум. Давление поднялось. К себе пойти? Вроде бы рано. Читать — глаза не годятся, спать — не заснешь, промаешься часов до трех впотьмах, лучше уж на веранде, где люди бывают. Тут светло, горит лампа под абажуром. Так просидел долго. Люди бывали — проходили из сада в дом, из дома в сад, жаловались на что-то, вздыхали, разговаривали между собой, исчезали за дверью,— он не обращал на них внимания. Смотрел в сторону, занятый мыслями. Хотя мыслей особых не было, потому что голова устала. Потом сделалась глубокая, ночная тишина и застучали легкие лапы по ступеням, заскреблись в дверь, вошел Арапка, конфузясь, прося извинения за поздний час, пригибая морду к полу и хвостом метя. Деликатнейший пес! Павел Евграфович обрадовался и пошел, стараясь не скрипеть, не шаркать — все уже легли, кто в доме, кто в саду,— искать что-нибудь для пса на кухне...

Такая же душная ночь в том августе: девятнадцатый год, какой-то хутор, название забыто. Запах юности — полынь. Никогда больше не проникала в тебя так сильно эта горечь — полынь. Прискакал нарочный с телеграфным сообщением, да никто и не спит в ту ночь. Какой сон! Прорыв Мамонтова оледенил нас, как град. На стыке VIII и IX армий, верстах в ста к западу. Он рвется не в нашу сторону, а на север, будто бы далеко, но весь фронт затрепетал, как едва зашитая рана. Захвачены Тамбов и Козлов. И вдруг ночной гонец с телеграм-

мой: корпус Мигулина двинулся из Саранска на фронт! Нарушив все приказы. Самовольное выступление. Предательство? Повернул штыки? Соединяться с Деникиным? То, о чем предупреждали, случилось?

Отчетливый ночной ужас в степи, где гарь трав и запах полыни. Первое: неужели она с ним? Все дальше отрывается от меня Ася, за все более необозримые рубежи. Теперь уже за гранью, куда не достать, только штыком и смертью. Не надо лгать себе. Первая мысль именно такова: штыком и смертью. И даже секундная радость, миг надежды, ибо есть путь, потому что сразу поверил. Какие-то люди из политотдела фронта, какой-то раненый командир, пытавшийся пробраться в Козлов, буян и крикун, все мы, отрезанные мамонтовским движением от штаба Южфронта, который был в Козлове, а теперь неведомо где, отлетел на север, все мы, кроме Шуры, мгновенно приняли новость на веру. Приказом Южфронта Мигулин назван предателем и объявлен вне закона. С нами ночует какой-то молодой попик. Нет, не попик, семинарист. Хуторянин пригрел его из жалости. Семинарист — помешанный, все время тихо смеется и плачет, бормоча что-то. Никто не замечает его, не слышит бормотания. Он, как птица, что-то курлычет в углу. Вдруг подходит ко мне, присаживается рядом на корточки — он долговяз, тощ — и говорит со значительностью и печалью, грозя мне пальцем:

— Ты пойми, имя сей звезде — полынь... И вода стала как полынь, и люди помирают от горечи...

Поразили слова: звезда — полынь. Не знал, что это из библейского текста, объяснили после, и, как ни странно, объяснил один из работников политотдела, грамотный мужик, а тогда подумал, что бред, чушь. Он вот отчего — всю его семью порешили. Где-то на юге. Но не можем понять, кто порешил: то ли белые, то ли григорьевцы, то ли какая-нибудь Маруська Никифорова. Этих марусек развелось видимо-невидимо, в каждом бандитском отряде своя, но настоящую Маруську Никифорову видел я в мае восемнадцатого, под Ростовом. В белой черкеске с газырями. Попик бормочет несуразно: «Саранча пожрала... Жабы нечистые...» И вот сидим ночью, рассуждаем, гудим, смолим махру, и тут телеграмма. Сергея Кирилловича — вне закона. Мигулина, героя, старого бойца революции, может застрелить всякий. Раненый командир бушует ярост-

ней всех: изменник! Шкура! Недаром о нем молва шла! Не выдержал, волчья пасть! Да я б его моментом, не думавши...

Все потрясены и воют, орут, костят, матерят Мигулина. Один Шура, как всегда, холодноват.

— Подождите, узнаем подробности.

— Какие подробности? Все очевидно! Выбрал время исключительно тонко: ни раньше, ни позже, именно теперь, когда Мамонтов прорвал фронт...

— Сговорились заранее!

— Гад! Полковник!

— А вы знаете, не могу поверить...

— Не верите телеграмме?

— Нет, телеграмме верю. И верю тому, что он выступил. Но не знаю зачем.

— Да вы верите тому, что Южфронт объявил его вне закона?

— Верю, потому что есть люди, которые этого хотели.

— Непонятно, какие вам нужны доказательства? Когда он поставит вас к стенке и скомандует взводу «пли!», вы все будете сомневаться...

Раненый командир трясет маузером.

— Моя б воля, я б его, контру, суку... Без разговору!— И от полноты чувств палит в небо. Злоба против Мигулина адская. Все взвинчены, нервны, хотят немедленно что-то делать, куда-то двигаться, пробиваться, то ли к Борисоглебску, то ли в Саранск. И тут разыгрывается молниеносная история, в общем-то, незначительная, не имеющая влияния на ход войны и на судьбы людей — кроме судьбы одного человека, которая, впрочем, к той ночи безнадежно определилась,— но в мою память история вонзилась, как нож. Случайная смерть бродяги в урагане войны... Зачем он бросился на человека с маузером, стал кричать, бесноваться? Взрыв безумия, приступ болезни. Кричал: «Зверь! Пропади! Сгинь!»— хватал раненого за руку, причиняя боль, и тот — тоже в минутном безумии — разрядил в семинариста маузер. Шура тут же приказал арестовать. Не помню, что с ним сделали. Повезли в Саранск под конвоем, а дальше? Не помню, не помню. Дальше охота на Мигулина, который уходил лесами на запад...

Когда слишком долго чего-то боятся, это страшное происходит. Но что же на самом деле? В первую минуту поверил, затем возникли сомнения, затем то укреплялась вера, то добавлялись сомнения. Долгая жизнь и беско-

нечное разбирательство, и вот теперь, стариком — «мусорным стариком», как сказала однажды Вера, сердясь не на отца, на другого старика, который ей насолил,— жаркой ночью в Бору, когда жизнь кончена, ничего не надо, таблетки от бессонницы не помогают, да и к чему они, близок сон, которого не избежать, ответь себе: зачем он так сделал? Не нужны статьи, увековечивание памяти, улица в городе Серафимовиче, не нужна громадная правда, нужна маленькая истина, не во всеуслышанье, а по секрету: *зачем*?

Вот папка в залоснившемся картоне с наклеенным в верхнем углу желтым прямоугольником кальки с надписью: «Все о С. К. Мигулине». Листки, тетрадки, письма, копии документов — все собранное за годы. Еще раз... Почему бы не теперь? Почему не во втором часу ночи? Ведь сна нет. Глаза беречь глупо, скоро они не понадобятся.

Назад, назад! На несколько месяцев. Для того чтобы понять, что случилось. Разорвалось сердце. Но до того глухая, мучающая боль... Мы расстались с ним в марте. Его перевели в Серпухов, потом в Смоленск, в Белорусско-Литовскую армию, что было нелепой ссылкой, ибо армия не вела тогда операций. Помощник командующего бездействующей армией. И это в пору, когда на Дону все горит, трещит, наступает Деникин, бушует казачье восстание — вырвали с поля боя и закинули куда-то в лопухи, в тишину и покой! Корпус Хвесина, созданный для борьбы с повстанцами, провалил дело, растерялся, отступил. В июне опять вспомнили о Мигулине. Вот телеграмма члена РВС Южфронта Сокольского Председателю РВС Республики: «Козлов 10 июня. Деникинский отряд в составе, по-видимому, трех конных полков прорвался Казанскую. Опасность переброски восстания Хоперский, Усть-Медведицкий округа значительно увеличилась. Задача экспедиционных войск теперь, когда фронт на юге открыт, постановлена: занять левый берег Дона от Богучара до Усть-Медведицы, предупредить восстание северных округах. Хвесин обнаружил беспомощное состояние. Решительно предлагаю срочно назначить командиром корпуса Мигулина, бывшего начдивом 23. Имя Мигулина обеспечит нейтралитет и поддержку северных округов, если не поздно. Прошу немедленно ответить Козлов. Командюж всецело согласен. Сокольский».

На другой день Председатель РВС передал по прямому проводу: «Москва. Склянскому. Сокольский настаивает назначении Мигулина командиром Экспедиционного корпуса. Не возражаю. Снеситесь Серпуховым. Положительном случае вызвать Мигулина немедленно. 11 июня 1919 г. Пред РВС Троцкий».

Те же люди, которые убирали и закидывали в лопухи! Главком Вацетис с назначением согласился. Мигулин получил приказ и в тот же день — какой день, в тот же час!— полетел на Дон. Комиссаром корпуса назначен Шура, и я, конечно же, еду с ним.

Еще выписка из архива: «Приказ РВС Южфронта. Экспедиционный корпус переименовать в Особый. Подчиняется непосредственно Южфронту. Командэкскор т. Хвесин освобождается от командования с разрешением по сдаче должности воспользоваться личным отпуском по болезни с оставлением в резерве комсостава Южфронта. Командующим Особым корпусом назначается тов. Мигулин на правах командарма. Тов. Мигулину немедленно вступить в командование корпусом, приняв командование от т. Хвесина. О приеме и сдаче донести».

Конец июня, свежее лето, дожди, тепло... Едем на бронепоезде в Бутурлиновку, где штаб корпуса. В вагоне встречаю Асю. Всего четыре месяца разлуки, и какая перемена! У меня, лишь только увидел, порыв броситься, обнять, расцеловать, родной человек, роднее нету, один Шура, но прохладная улыбка и кивок головы удерживают. Трясу ей руку.

— Аська, как я рад! Отчего такая худая? Такая скуластая? Он на тебе пушки возит?

Усмехается сухо.

— Была бы рада возить. Да пушек не даете.

Все новое: шуток не понимает, взгляд какой-то сторожкий, опасающийся. Чего? Как бы не проявил старой дружбы? Не обнял, не подурачился? Весь первый день, да и после, по приезде, старается не быть со мной долго. Мигулин тоже похудел, высох, борода черная клоком, взор горящий, движения поспешные, голос резкий, разговаривает криком, на надрыве, чуть что, затевает митинг, собирает кружком казаков и глушит речью— человек одержимый. Сейчас одна страсть: создать корпус, армию, возглавить, спасти революцию! И, не мысля ни о чем другом, не замечая ничего, успевает, однако, зорким оком следить за Асей — тут ли она, с кем? Эти

его взгляды, наивно ищущие, секундно озабоченные, в разгар спора или речи — он ораторствует перед мобилизованными казаками, идет мобилизация в северных округах, вялая, неуспешная, но с появлением Мигулина дело налаживается, его знают, ему верят, он казачья знаменитость и гордость,— эти откровенные взгляды почти старого человека меня поражают. Он любит! Не может без нее! И она, она... Несколько удивленный переменой, которая с нею случилась — а чего дураку удивляться?— спрашиваю, улучив минуту:

— Почему ты со мной, как с чужим? Что произошло?

— Ничего...— Улыбнулась по-старому, мягко, но сейчас же посмурнела опять.— Я не знаю, как ты относишься к Сергею Кирилловичу,

— Ах, дело в этом?

— Да.

— Делишь людей по такому принципу?

— По такому.

— Все ясно, но ты меня извини...— Я ошарашен, слова не подыскиваются, бормочу:— Как-то странно, на тебя непохоже. Я тебя узнать не могу.

— А это понятно. Меня прежней давно нет. Та девочка умерла,— говорит Ася неумолимо. Да Ася ли это? Смотрю на нее, похолодев.— Ты, наверно, присутствовал при моей смерти. Я никогда не встречала людей, как Сергей Кириллович, и жизнь у меня теперь другая. Он необыкновенный, понимаешь? Не как все. Не как мы с тобой. Оттого я и изменилась, что рядом с ним. И, конечно, у него враги, недоброжелатели, завистники, просто негодяи, которые хотели бы, чтоб его не было...

— Надеюсь, меня не относишь к этой категории?

— К этой нет. Но я, Павлик, скажу честно, не чувствую твоего истинного... У меня есть чутье, как у собаки, и вот не чую...

Потом разговорилась понемногу, рассказывает о мытарствах в Серпухове, в Козлове, о поездке в Москву, куда вызывали в штаб РККА и где высшее начальство обещало работу: формировать кавдивизию из казаков освобожденных округов. Сергей Кириллович согласился, но все почему-то заглохло и кончилось тем, что послали в Смоленск... Какая тоска, какое унижение, он себе места не находил. Жить не хотел. Она страшно трусила за него, ведь был на грани самоубийства. Представить себе: человек горячий, отважный, полный яростных сил обречен на покой. А на Дону кипит сеча! Да как вы-

нести? Он с ума сходил. Покой — хуже тюрьмы... В чем же тут дело? Кто тормозит? Кто его враг?

Она допрашивает напряженно, всматривается страстно, хочет понять, узнать — для него. Вся эта исповедь — для него. Не могу помочь. Сам толком не понимаю. Есть застарелое недоверие, но откуда? Рассуждать об этом с нею опасно, потому что вижу, тут все воспалено, болит.

— Аська, я не думаю, чтоб были прямые враги. Тут какой-то предрассудок, какая-то тупая боязнь...

— Кого? Чья?

— Ей-богу, не знаю. Может, есть такие люди в Донбюро, может, в РВС фронта...

Некоторых прямых врагов знаю: Купцов, Хуторянский, Симкин. Да и она должна знать, а он-то наверняка. Называть фамилии нет смысла. Вероятно, и в Реввоенсовете Республики имеются если не прямые, практические, то теоретические, то есть идейные, враги, не исключая председателя. По каким-то вопросам никогда не договорятся. Например, о казачьем самоуправлении. Ведь он был народным социалистом, теоретики всегда будут помнить. Как Наум Орлик: «Пятьдесят процентов стихийного бунтарства, тридцать процентов еще чего-то и пять процентов марксизма...» Ася продолжает жадно выпытывать:

— Ты говоришь про РВС Южного. А Сокольский? Ведь он за нас! Он настаивал, чтоб Сергей Кириллович получил корпус.

Как же объяснить, что люди в этих условиях — смертной битвы — действуют не под влиянием чувств, симпатий или антипатий, а под воздействием мощных и высших сил, можно назвать их историческими, можно роковыми. Что значит: за нас? (Бог ты мой, почему же нас? Так быстро? Так окончательно?) Не в нас дело, а в том, что Дон погибает, нужно его спасать. Тут отчаяние... Риск велик, но и какой-то шанс. У Сокольского мозги поживей, а у Купцова и Хуторянского мышление заскорузлое, вот и разница. Но обольщаться, будто бы он за нас, не стоит. Всего этого говорить нельзя. Я киваю: да, да, разумеется, Сокольский настаивал, слал телеграммы. (А что было делать?) Мое истинное понимание: тут огромная путаница! Я запутался. Одно понимание соединилось с другим, они напластовались, нагромоздились друг на друга, впаялись в течение лет друг в друга. Теперь, спустя жизнь, неясно: так ли я

думал тогда? Так ли понимал? Все понимания перемешались. Нет, летом девятнадцатого было что-то иное. Оттого и разговаривал с Асей опасливо, недоговаривая, что во мне тоже сидела частица зла, которое потом растерзало его,— недоверие. Ну, может, ничтожная, едва видимая частица... Немногие были от этой мути избавлены. Ах, все это сегодняшнее, сегодняшнее! Спустя жизнь! А тогда — то, да не то... Тогда... Весна девятнадцатого: наступает Деникин, полыхает восстание... Мигулина отзывают в Москву, в Смоленск... Тогда: акт недоверия есть как бы подтверждение правоты недоверия, и не надо никаких доказательств. У б р а л и — з н а ч и т, е с т ь п о в о д. Оставлять Мигулина на Дону во время казачьего бунта? Пустить козла в огород? Не понимая того, что он бы сделал все, что мог, жизнь бы положил, чтобы остановить, погасить... Потому что все было отдано этому... Другой жизни не было... Его беда — все орал напрямик. И отстаивал с пеной у рта, с шашкой наголо. Даже то, в чем разбирался худо. Он орал о народном представительстве. Орал о максимализме. Орал об анархо-коммунистах. Он орал на митингах о том, что не все комиссары отважны и благородны, попадаются трусы. Орал о том, что не все бедняки — добрые люди, есть злодеи и душегубы. И еще орал о том, что хочет создать на Дону народную крепкую власть, настоящую советскую власть, как указывают товарищ Ленин и товарищ Калинин, без генералов и помещиков, с большевиками во главе, но без комиссаров.

И от этого оранья иных брала оторопь. Другие чесали в затылке. А некоторые говорили: «Ну хорошо, пускай, но мы дадим ему войско...» И еще вот что: полководческое тщеславие. Весной девятнадцатого в России бурлят полководческие знаменитости — наши, белые, зеленые, черные... Командир полка, бывший унтер Маслюк, не может спокойно слышать имени Мигулина. Губы сжимаются, желваки на широких скулах ходят, и шрам поперек лба — след австрийского тесака — белеет. Ничего дурного не говорит Маслюк о Мигулине, потому что никаких слов о Мигулине — ни добрых, ни злых — язык Маслюка выговорить не может. И дело не в том, как думают, что Мигулин — донской казак, а Маслюк — крестьянин воронежский, и не в том, что один унтер, а другой подполковник, а в том, что чужая слава холодит горло, как нож...

Но я не говорю Асе про Маслюка, хотя он-то и есть недруг, потому что не догадываюсь. Все это понимается не сразу. Разговор наш закончился радостным шепотом, счастливым сиянием в глазах:

— Он стал неузнаваем! Совсем другой человек... Господи, как я рада, что нам дали корпус!— И вдруг опять озабоченно:— А как твой Шура относится к Сергею Кирилловичу?

Я говорю: он его уважает.

Но то, что начиналось так хорошо... Первые несколько дней... О да, хорошо, бойко, ходко, напористо! Мобилизация, обучение, стрельбы, митинги, речи, сочинение ночами и печатание Асей под диктовку на «ундервуде» горластых, зажигательных листовок, которые он подписывает: «Гражданин станицы Михайлинской, казак Области войска Донского С. К. Мигулин». Вот лист с нашлепанными на одной стороне фиолетовыми квадратиками для обертки конфет Бутурлиновской конфетной фабрики, на другой стороне с воззванием: «К беженцам Донской области». Его стиль: «Граждане казаки и крестьяне! В прошлом году многих из вас красновская контрреволюционная волна заставила оставить родные степи и хаты. Много пришлось пережить и выстрадать... Если одолеет генерал Деникин, спасения никому нет. Сколько ни катись, сколько ни уходи, а где-нибудь да ждет тебя стена, где прикончат тебя кадетские банды... Но если одолеем мы... Итак, граждане изгнанники, все ко мне!.. Бойтесь, если мертвые услышат и встанут, а вы будете спать! Бойтесь, если цепи рабства уже над вашими головами!» И концовка сочинения, конечно же, замечательная: «Да здравствует социальная революция! Да здравствует чистая правда!»

Ася рассказывает секретно — и просит, чтоб я не передавал, Мигулин не хочет, чтоб знали, — о том, что деникинцы покарали его семью, захватив Михайлинскую. Истязали мать, расстреляли отца и брата. Жена Мигулина, с которой он расстался перед войной, бежала с дочерьми, спаслась. А его старший сын погиб на германском фронте. Спалили хату, двор — беженцы рассказали — и на пепелище поставили столб с надписью: «Отсюда выродился змей, иуда донской Мигулин». Гордость не позволяет, чтоб сочувствовали и жалели. Но ведь эта расправа — залог того, что не предаст, не перекинется!

— Почему просит никому не рассказывать?

— Павлик, он странный... Он такой чудной, бесхитростный...

Помню это слово, меня изумившее: бесхитростный. Наверное, вот что: не умеющий, не желающий извлекать для себя пользу ни из чего. Он и ей не рассказывал долго. А потом, рассказав, предупредил: «Все сгорело вот тут, и никто не касайся». И правда, странный. Както стоим с Асей возле штабного вагона, разговариваем. Ася жмется к вагону, боится отойти на тридцать шагов, ей не велено удаляться, потому что (потому ли?) может каждую минуту понадобиться, отстукать какой-нибудь приказ или воззвание. Я, споря с нею, говорю:

— Ася, пойми...— и тут показывается Мигулин, смотрит диким, исподлобным взглядом.

— Вам, молодой человек, надлежит называть мою жену Анной Константиновной.— И грубым криком:— Шоб никаких Ась, понятно?

Это происходит, однако, в пору, когда он накален, взбудоражен и спокойным тоном разговаривать не может. Южфронт не дает помощи. Опять то же самое: мигулинский корпус — будто бы не родной! Опять пасынок среди любимых детей. Впрочем, одно название — корпус... В конце июня Мигулин и Шура шлют телеграмму в штаб Южфронта: «Приняв командование Особым корпусом и ознакомившись с обстановкой, боевым составом и состоянием частей, доношу, что бои идут в чрезвычайно тяжелых условиях ввиду громадного фронта и слабого состава частей (в некоторых полках не более 80 штыков)... Многие части из-за недостаточной обученности и сколоченности отличаются неустойчивостью (Первый коммунистический полк в ночь с девятнадцатого на двадцатое разбежался), казачьи сотни, пройдя свою станицу, переходят на сторону противника (Федосеевская и Устьбузулукская сотни)... При таком положении, когда части измучены долгим периодом боев, понесли тяжелые потери и лишились в упорных жестоких боях большого числа командного состава и комиссаров, нравственная упругость их весьма невелика и ими можно пользоваться лишь как легкой завесой, за которой необходимо приступить к срочному формированию и обучению новых частей. Выполнение же каких-либо активных заданий с этими войсками без соответствующей передышки невозможно. По последнему донесению начдива 2, в бригадах осталось не более 150 штыков в каждой. Начособкор Мигулин. Член РВС Данилов».

В этой телеграмме заметны следы Шуриного сочинения. «Нравственная упругость» — от Шуры. Зато вот листы, переписанные с документа в тяжелое время, шесть лет назад — Галя умирала, и сам чуть не умер от пытки горем, только в архиве и спасался,— громаднейшая телеграмма Мигулина в Москву и в РВС фронта. Как радовался — сквозь муку — тому, что нашел! Один старичок подсказал, сообщил шифры, фонд, опись. Хороший старичок, независтливый, хотя в том же времени ковырялся. Теперь уж и старичка нет, и Гали...

«24 июня 19 ч. ст. Анна.

Назначая меня, комкор Особого, РВС Южфронта заявил, что этот бывший экскор силен, что в нем до пятнадцати тысяч штыков, в числе коих до пяти тысяч курсантов, и что это одна из боевых единиц фронта. Если такие же сведения даны вам, то я считаю революционным долгом донести о полном противоречии этих сведений с истинным положением вещей. Я нахожу это недопустимым, ибо, считая информационные данные как нечто положительное, мы закрываем благодаря им глаза на действительную опасность и, убаюканные, не принимаем своевременно мер, а если принимаем, то слишком поздно. Я стоял и стою не за келейное строительство социальной жизни, не по узкопартийной программе, а за строительство гласное, за строительство, в котором народ принимал бы живое участие. Я тут буржуазии и кулацких элементов не имею в виду. Только такое строительство вызовет симпатии крестьянской толщи и части истинной интеллигенции. Докладываю, что особкор имеет около трех тысяч штыков на протяжении 145 верст по фронту. Части измотаны и изнурены. Кроме трех курсов, остальные курсанты оказались ниже критики, и их осталось от громких тысяч жалкие сотни и десятки. Коммунистический полк разбежался; в нем были люди, не умевшие зарядить винтовку. Особкор может играть роль завесы. Положение особкора спасается сейчас только тем, что вывезены мобилизованные казаки из Хоперского округа. Расчет генерала Деникина на этот округ полностью не оправдался. Как только белогвардейщина исправит этот пробел, особкор, как завеса, будет прорван. Не только на Дону деятельность некоторых ревкомов, особотделов, трибуналов и некоторых комиссаров вызвала поголовное восстание, но это восстание грозит разлиться широкою волною в крестьянских селах по лицу всей республики. Если сказать, что на на-

родных митингах в селах Новая Чигла, Верхо-Тишанка и других открыто раздавались голоса «давай царя», то будет понятным настроение толщи крестьянской, дающей такой большой процент дезертиров, образующих отряды зеленых. Восстание в Иловатке на реке Терсе и пока глухое, но сильное брожение в большинстве уездов Саратовской губернии грозит полным крахом делу социальной революции. Я человек беспартийный, но слишком много отдал сил и здоровья в борьбе за социальную революцию, чтобы равнодушно смотреть, как генерал Деникин будет топтать красное знамя труда. Устремляя мысленный взор вперед и видя гибель социальной революции, ибо ничто не настраивает на оптимизм, а пессимист я редко ошибающийся, считаю необходимым рекомендовать такие меры в экстренном порядке: первое — усилить особкор свежей дивизией, второе — перебросить в его состав 23-ю дивизию как основу... или же назначить меня командармом девять... созыва народного представительства... передал в РВС фронта много заявлений станичников... а когда крестьянин пожаловался, его убили. Сами увидите, кто истинный коммунист, кто шкурник...» Что-то путаное, злое, отчаянное, трудно разобрать в три часа ночи, голова устала, но, когда приехал с этим текстом домой — страшно обрадованный!— и тут же, сев возле Галиной кровати, стал читать вслух, Галя вдруг перебила, спросив: «Паша, это кому-нибудь интересно сейчас?» Удивительно непохоже на Галю. Ей всегда интересно. И если теперь неинтересно, значит, кончается ее жизнь.

Я объясняю: то, истинное, что создавалось в те дни, во что мы так яростно верили, неминуемо дотянулось до дня сегодняшнего, отразилось, преломилось, стало светом и воздухом, чего люди не замечают, о чем не догадываются. Дети не понимают. Но мы-то знаем. Ведь так? Мы-то видим это отражение, это преломление ясно. Поэтому так важно теперь, через полвека, понять причину гибели Мигулина. Люди погибают не от пули, болезни или несчастного случая, а потому, что сталкиваются величайшие силы и летит искрами смерть. Она смотрит долгим взглядом, небывало долгим, темным, глубинным — это прощание, навсегда запомнил лицо, щекой на подушке, упавшее, бескровное, в изморози близкой разлуки, и только взгляд бесконечно страстный, пронзительный,— и спрашивает: «А почему погибаю я?» Тихий шепот и намек на улыбку означают, что

можно не отвечать. Это вопрос просто так. Себе или никому. Говорю сердито: «Ты не погибаешь! Не мели, пожалуйста, ерунды!» Привычные слова лжи, а сам думаю: они потом никогда не поймут, как мы все это смогли вынести... какие силы нас разрывали... Мигулин погиб оттого, что в роковую пору сшиблись в небесах и дали разряд колоссальной мощи два потока тепла и прохлады, два облака величиной с континент — веры и неверия,— и умчало его, унесло ураганным ветром, в котором перемешались холод и тепло, вера и неверие, от смещения всегда бывает гроза и ливень проливается на землю. Таким же ливнем кончится этот нещадный зной. И я наслажусь прохладой, если доживу. Мы с Галей стоим в беседке, куда прибежали, спасаясь от дождя — тяжелый ливень лупит в крытую толем крышу. Белыми водяными шарами колышется туман в саду. «Обязательно поговорить! В саду, в два часа».

Ливень, беседка, мокрое платье, испуганное Галино лицо — из какого-то гимназического далека. Тут назначались свидания. Ножичком вырезаны имена...

— Что случилось?

— Павлик, я опять боюсь за него! Он страшно ругался с Логачевым, с Хариным... Грозил кого-то убить...

Бог ты мой, я холодею от ужаса. Моя Галя в страхе за кого-то — не за меня! Плачет из-за чужого. Немеющими губами спрашиваю:

— Ты так его любишь?— Это странно: будто бы знаю, кого его, и в то же время не могу понять. Безумно напрягаюсь, стараясь догадаться, кто этот человек, который так хорошо знаком.

— Разве не видишь? Без него жить не могу.

Вдруг: не Галя, а Ася. Это Ася в беседке! В саду дома уездного воинского начальника. Она меня вызвала запиской. Это уж после возвращения Мигулина из второй, июльской поездки в Москву, после разговора в ЦК, в Казачьем отделе, вернулся ободренный и полный сил — Особый корпус, созданный против повстанцев, теперь утратил значение, фронт перекатился на север. Деникин захватил Донщину, Царицын, Харьков. Теперь воевать не с повстанцами, а с Деникиным! Мигулин формирует новый корпус — Донской казачий. Мы стоим в Саранске. Формирование идет потрясающе медленно. А Шура получил новое назначение: в Реввоенсовет Девятой армии. Вот отчего Ася в испуге.

— Ведь он единственный человек, с кем Сергей Кириллович может разговаривать! Хотя и с ним спорит... Но остальных на дух не принимает. Остальные — враги.

— Так уж и враги?

— Враги!— В глазах Аси непреклонность и гнев, мигулинский гнев. Шепчет:— Нарочно шлют нам... из северных округов... про них известно, они там безобразничали... Он их видеть не может! Ненавидит хуже Деникина!

— Куда шлют?

— Да все наши политкомы оттуда... Хоперские...

Сборы накануне отъезда. Разговор с Шурой в хозяйской комнате, где запах чебреца, сундуки, иконы. Хозяин сочувственно расспрашивает: куда отступили? Где фронт? Почему мировой пролетариат дремлет, не чухается? Будто бы озадачен, но по роже — бритой, ухмыляющейся — видно, что рад. Вдруг сообщает шепотом:

— Я вам, граждане коммунисты, скажу откровенно, отчего у вас война неудалая: генералов у вас нет. Книжники да конторщики по штабам, а в главном штабе — Левка очкастый. Разве он против генерала сообразит?

Шуре неохота покидать несчастный мигулинский корпус, но и оставаться дольше мочи нет. Верно, верно шипит кулачина: генералов нет. А если есть кто, мы их, как грузди, маринуем. Глупость невероятная. Любимое Шурино: глупость невероятная. Потому что все усилия Шуры сдвинуть дело, все его телеграммы, вся брань с деятелями Южфронта — устно и по прямому проводу — не дают результата. Как сказано: и хочется, и колется. В июне хочется, в июле колется, потом то так, то этак. Оттого Шура зол, что никому втолковать не может: «Поверьте до конца!» И на Мигулина сердит потому, что тот бешенствует и себе вредит: прогнал, едва не кулаками, чрезвычайного представителя Южфронта, который приехал проверять работу политотдела.

Входят Логачев и Харин, политкомы, совсем молодые, Логачеву года двадцать три, Харин чуть старше. Логачев — из Новочеркасска, студент, Харин — ростовский рабочий, котельщик. Оба проводили реквизиции в северных округах в феврале и марте, прославились как твердые, неустрашимые исполнители — их называют «хоперские коммунисты»,— и у Мигулина, конечно, с ними вражда.

— Значит, бросаете нас, Александр Пименович?— Бледно улыбается маленький востроносый Логачев. Смотрит, как всегда, высокомерно, откинув голову.— А не похож ли ваш отъезд на бегство известных тварей с корабля?

— Я человек служивый. Приказ...— мрачно, без обиды объясняет Шура.

— А по сути? По внутреннему чувству как?

Они молодые. То их захлестывает задор, то охватывает страх. Мигулин в приступах ярости грозит их застрелить. А они угрожают арестом, расстрелом ему. Как же работать вместе? Никакая работа не движется. Корпус гниет в бездействии. А Деникин тем временем готовится рвать фронт, и через несколько дней в стык между армиями вонзится конница Мамонтова.

— По внутреннему чувству я вас, ребята, жалею. Не хочу оставлять на съедение комкору. Он вас доест...

— А может, мы его? Вражину?— прищуривается тяжелорукий котельщик.

— Он не вражина. Он революционер, но крестьянский, то есть мелкобуржуазный. И для нас человек ценный, потому что враг наших врагов. Ясно? Пока вы эту истину не усвоите, будет вам худо и опасно...

Шура все так хорошо понимает, но сил и терпения работать с замечательным революционером нет. Троцкий написал на одной из первых мигулинских телеграмм: «Донская учредиловщина и левая эсеровщина». Так и осталось, вроде несмываемой красно-сургучной печати. Наум Орлик! Тоже любил определять состав и навешивать сигнатурки. Аптекарский подход к человечеству — точнее сказать, к человеку — длился десятилетиями, нет ничего удобней готовых формул, но теперь все смешалось. Склянки побились, растворы и кислоты слились. Теперь я многого не понимаю. Временами ни черта. Особо таинственными кажутся мне люди молодые и толпа среднего возраста. Кое-что угадываю в стариках. Старики ближе. На стариков я мог бы не хуже Орлика понавешивать сигнатурки, а вот молодые ставят в тупик. Такая каша, такая муть! Тут бы и Наум запутался, тут бы и он запросил пардона. «О много, много мы во всем этом виноваты! Дон был заброшен, предоставлен самому себе, чтобы потом захлебнуться в собственной крови...» Что я читаю? Бог ты мой, это же письмо в ЦИК. То, что Мигулин говорил

Владимиру Ильичу во время их встречи в июле. «Окраины Дона в марте-апреле подвергались разгулу провокаторов, влившихся в огромном числе в тогдашние красногвардейские ряды. Эта тяжелая драма фронтового казачества будет когда-нибудь освещена беспристрастной историей. Среди сотен расстрелянных, сосланных казаков были невинные. Революция сделала такие углубления, что бедный ум станичника бессилен разобраться в совершающихся событиях... Ему непонятна вызываемая голодом страны, происходящая теперь на Дону реквизиция скота и хлеба... Я глубоко убежден в том, что казачество не так контрреволюционно, как на него смотрят... Кто бы что бы про меня ни лгал, что бы ни клеветал, я торжественно заявляю перед лицом пролетариата, что делу его не изменял и не изменю. Прошу одного — понять меня как беспартийного, но стоящего на страже революции с 1906 года...» Дальше хорошо помню. Владимир Ильич будто бы сказал — со слов кого-то из членов Казачьего отдела,— что «такие люди нам нужны. Необходимо умело их использовать». И Калинин, с тех же слов, отнесся сочувственно, лишь выразил опасение, как бы Мигулин от критики отдельных недостойных коммунистов не пошел бы против партии.

Бог ты мой, как все это немыслимо объяснить одним словом! Но каждый раз пытаются. Пытались при жизни Мигулина, выкрикивая такие слова, как «изменник» и «предатель», пытаются и теперь, крича «ленинец» и «революционер». Объяснялось бы просто и одним словом — не сидел бы среди ночи, вороша бумажки... Хотя спасибо бумажкам, еще ночь обломал... Третий час. Нету сна и в помине. И голова будто ясная. Опять все хорошо соображаю и обо всем думаю. Вот читаю про Мигулина, мучаюсь догадками, а позади всего мысль: как там Руська в горящих лесах? Не заболел ли? Парень безалаберный, глупый — в своей жизни, для себя глупый,— непременно что-нибудь натворит...

Еще письмо, позднее, длинное, кипящее, ошеломляющее: «...На безумие, которое только теперь открылось перед моими глазами, я не пойду и всеми силами, что еще есть во мне, буду бороться против линии расказачивания. Я сторонник того, чтобы, не трогая крестьянство с его бытовым и религиозным укладом, не нарушая его привычек, увести его к лучшей и свет-

лой жизни личным примером, показом, а не громкими, трескучими фразами доморощенных коммунистов, у которых на губах еще не обсохло молоко и большинство которых не может отличить пшеницы от ячменя, хотя и с большим апломбом во время митингов поучает крестьянина ведению сельского хозяйства... (Не меня ли имеет в виду? Каждый раз, читая это место, думаю — меня. Тоже молол на митингах что-то насчет того, что разобьем Деникина, успеем к уборке...) Я хочу остаться искренним работником народа, искренним защитником его чаяний на землю и волю и, прибегая к последнему средству, снимаю с себя всякую клевету лжекоммунистов... Тот же обнаруженный дьявольский план расказачивания заставляет меня повторить заявления на митингах, которые я делал. 1. Я — беспартийный. 2. Буду до конца идти с партией большевиков, как шел до сих пор. 3. Всякое вмешательство лжекоммунистов в боевую и воспитательную сферу командного состава считаю недопустимым. 4. Требую именем революции и от имени измученного казачества прекратить... И все негодяи, что искусственно создавали возбуждение в населении с целью придирки для истребления, должны быть немедленно арестованы, преданы суду... Я борюсь с тем злом, какое чинят отдельные агенты власти, т. е. за то, что говорилось недавно представителем ВЦИК буквально так: «Комиссаров, вносящих разруху и развал в деревню, мы будем самым решительным образом убирать, а крестьянам предложим избрать тех, кого они найдут нужным и полезным...» Я знаю, что зло, которое я раскрываю, является для партии неприемлемым полностью... Но почему же люди, которые стараются указать на зло и открыто борются с ним, преследуются вплоть до расстрела. Возможно, после этого письма и меня ждет такая же участь...»

Те, кому было адресовано, вовремя не прочли. Все могло быть иначе. Но другие люди прочли. Главным злом оказалась искренность. Еще бы, сам на себя н а к л е п а л! Тут комкор начинает метаться. Людей ему не дают. Просит направлять в корпус пойманных дезертиров — отказывают. Предлагает провести мобилизацию крестьян — нет. В начале августа подал заявление в партию — политотдел во главе с Логачевым, Хариным своего комкора в партию не принял. Вот где беда: не было рядом истинных комиссаров!

Таких, как Фурманов рядом с Чапаевым. Таких, о ком на Восьмом съезде сказано: «...рука об руку с лучшими элементами командного состава в короткий срок создали боеспособную армию». Ленин не знал всех подробностей, но понимал суть беды. Письмо Гусеву! В сентябре девятнадцатого! «Надо лучших, *энергичнейших* комиссаров послать на юг, а не сонных тетерь...» В пятьдесят первом томе... Должна быть закладка... Вот. Вот! Письмо члену РВС Гусеву... Сергею Ивановичу... «...на деле у нас застой — почти развал... С Мамонтовым застой. Видимо, опоздание за опозданием. Опоздали войска, шедшие с севера на Воронеж. Опоздали с перекидкой 21-й дивизии на юг. Опоздали с автопулеметами. Опоздали с связью... С формированием тоже опаздываем. Пропускаем осень — а Деникин утроит силы, получит и танки и пр. и пр. Так нельзя. Надо *сонный* темп работы переделать в *живой»*.

Ведь об этом Мигулин кричал летом! Ведь это его корпус формировался ужасающе с о н н ы м т е м п о м!

Ни Шуры, ни меня в эту пору в Саранске уже нет. Мы в Козлове. Все узнаем позже по пристрастным, недостоверным рассказам.

Вот из доклада Казымбетова, гонца из Москвы, из Казачьего отдела. Казымбетов пробыл в корпусе несколько дней: «Как личность тов. Мигулин в настоящее время пользуется огромной популярностью на Южном фронте, как красном, так и белом... Его имя окружено ореолом честности и глубокой преданности делу Социальной революции и интересам трудящегося народа... Мигулин является единственным лицом, на которое смотрит с доверием и надеждой, как на избавителя от генеральско-помещичьего гнета и контрреволюции, казачество. Его нужно умело использовать для революции, несмотря на его открытые и подчас резкие выражения по адресу «лжекоммунистов»...» Дальше, дальше!.. «Итак, первопричина недоверия — это вообще его популярность...» Дальше. О настроениях в корпусе... Вот! «Корпус не сформирован и еле формируется. Красноармейцы вооружены против политработников, политработники вооружены против тов. Мигулина. Мигулин негодует на то, что ему, истинному борцу за Социальную революцию, потерявшему здоровье на фронте, не только не доверяют, но даже стараются вырывать ему могилу, посылая на него неосновательные, по его мнению, доносы, вследствие чего Мигулин

производит впечатление затравленного и отчаявшегося человека. В последнее время тов. Мигулин, боясь ареста или покушения, держит около себя непосредственную охрану. Политработники боятся Мигулина. Красноармейцы в возбужденном состоянии и каждую минуту готовы к вооруженной защите Мигулина от «покушения» на него. Мигулин, по моему мнению, не похож на Григорьева и далек от авантюры, но «григорьевщина» подготавливается искусственно. Мигулин может быть вынужден на отчаянный жест...»

Темная ростовская глухомань, домишки, заборы, морозная ночь, мелькание свечей за теплыми окнами, рождество празднуют, никто о нас не догадывается. Грохаемся в какой-то проулок, вышибаем калитку. Где догадаться — мы за день рванули восемьдесят верст! Влетели со стороны Нахичевани. Как на пир Балтасара. Возле дома, из окна которого свет, голоса, стоит офицер в башлыке, в длинной шинели, обнимает женщину, запрокинул страстно, изгибает, клонит, сейчас уронит в снег, а она в платье, простоволосая. Дверь в дом распахнута, видно, только что выскочили оттуда, из тепла, на мороз. А я смотрю с крыльца и вижу: это Мигулин и Ася. «Не сметь!»— кричу. Он дернулся к кобуре, отпрянул от Аси, и я шашкою сверху, как с коня, коротким страшным ударом; хрипнуло что-то, как арбуз под ножом. Только и успел: «А...» Павел Евграфович просыпается от кошмарного видения и долго не может успокоить сердце. Руки дрожат, все внутри колотится, во рту сухо. Бог ты мой, угораздило такой ужас и нелепость — главное, нелепость!— во сне увидеть. Что за черт? Откуда сие? Это вот что врубилось: освобождение Ростова, как упали на них громом среди ясного неба. Под рождество, накануне двадцатого года. И был какой-то дом, двор, музыка из окна, стрельба вдоль улицы, и офицер с девушкой целуются. Боец его тут же, в момент порешил. Тот вздумал шум поднять. А молчал бы — был бы жив. Вбежали в дом, там все наготове: стол накрыт, вина, закуски, женщины кричат, граммофон играет...

Наконец в середине августа пришел от Аси ответ в толстом конверте, где оказалась вложенной согнутая пополам ученическая тетрадка, мелко исписанная. Павел Евграфович прочитал: «Дорогой Павел! Я была

бесконечно рада получить от тебя письмо, из которого узнала, что ты жив и здоров, живешь с детьми и внуками, что твоя жизнь сложилась, в общем, благоприятно, если не считать потери близкого человека, но в нашем возрасте редко кто таких потерь избежал, а я это горе испытала трижды. Так что понимаю тебя и очень сочувствую, дорогой Павел. Задержалась с ответом потому, что хотела получше вспомнить и записать как можно подробней, как ты просил. Вот что сохранила память.

Ты спрашиваешь: что происходило после вашего, твоего дяди Данилова А. П. и твоего, отъезда из корпуса? Разумеется, ты досконально знать не мог. А слухи ходили самые разные и ужасные. Мне кажется, их нарочно распространяли враги Сергея Кирилловича. Конечно, он мог в запальчивости назвать какого-нибудь струсившего работника нехорошим словом, за что мне всегда бывало стыдно, и я его ругала. Но ведь он был бешеный! Он и коммунистов мог ругать сгоряча, хотя врагов коммунизма ненавидел люто и воевал против них всю жизнь. Мне кажется, роковой удар нанесли в августе, когда он подал в партию, а его не приняли. Его собственный политотдел отказал. Не помню сейчас фамилий этих людей, кроме одной — Логачев. Сергей Кириллович повторял ее часто, всегда с неприязнью и презрительно, иногда с угрозой: «Этот сопляк у меня дочикается!» Был еще какой-то, большого роста, черный, лохматый, еще другой, пожилой, сухощавый, по-моему, латыш, по-русски говорил плохо. Но особенно ненавидел Сергей Кириллович нескольких своих земляков, из Усть-Медведицкого округа, которые раньше были в ревкомах и вели неправильную линию, с чем Сергей Кириллович не соглашался, с ними спорил. Он всегда спорил из-за казачества... Вокруг казачества было много тогда разговоров, одни за, другие против, сейчас не очень-то помню суть разногласий, помню лишь, что С. К. нервничал, называл кого-то балбесами и негодяями, говорил, что негодяи погубят революцию. Он считал, что нарочно присылают людей, которые ему неприятны и враждебны, у них задание: за ним следить и его контролировать. Называл их — между своими, конечно — попками, надзирателями, то есть грубо. Вообще атмосфера в корпусе была неспокойная. В особенности когда уехал Данилов, твой дядя. Теперь вспомнила его фамилию: Данилов. Между ними была ссора.

Не помню из-за чего. Кажется, из-за какой-то комиссии, которую прислали из штаба фронта. Сергей Кириллович говорил: «Проверяльщиков шлют, а пополнений прислать не могут, сколько ни прошу».

Он был очень огорчен несправедливым отношением. Конечно, я не историк и не политический работник, не могу делать окончательных оценок, но, как человек, наблюдавший его близко в те недели, хочу сказать: он был предан революции и советской власти, а его некоторые толкали стать врагом. Хотя он критиковал недостатки и поведение работников. Этого отрицать нельзя. Помню, придет в вагон вечером, ординарца Ивана отошлет куда-нибудь и ходит как тигр, молчит, только стонет, как от боли. «Сережа,— спрашиваю,— что случилось?»—«Ах, рассказывать неохота...— Потом начнет вдруг кричать:— Деникин наступает! А меня держат в заточении. Я на фронт рвусь! Я их заставлю дать распоряжение!» Когда Данилов уехал, он пришел крайне подавленный и сказал: «Если у каторжанина терпячка лопнула, то мне что же остается — пулю в лоб?»

Был убит вашим отъездом. Ну, что дальше? Бесконечные совещания со штабными, с командирами происходили всю ночь. Обстановка накаленная. Одни совещаются, других не пускают. Помню, Сергей Кириллович напряженно работал, писал какую-то программу, я ее печатала, но сейчас совсем не помню, что это было. Потом, на суде, она, кажется, фигурировала в качестве улики против него, будто бы он заранее замышлял предательство, но это неправда. Он писал что-то отвлеченное, свои рассуждения на историческую тему. Он очень любил заниматься философией, рассуждать, спорить, хотя не имел настоящего образования, но иных умных людей ставил в тупик. Какие-то телеграммы шли в Южфронт, в Реввоенсовет Республики, оттуда ответы, и все неблагоприятные, и, наконец, я чувствую, он приходит к решению. Ведь Деникин наступал очень успешно. Вести шли тревожные. Он не мог выдержать. Человек с другим характером, более рассудительный, мог бы себя преодолеть, а Сергей Кириллович взорвался. Я его не защищаю, Павел, я просто плачу, плачу, вспоминая, как он прибегал ко мне и проклинал кого-то и спрашивал: «Ну что мне делать? Скажи, посоветуй!» Понимал, конечно, что ничего посоветовать не могу, просто было отчаяние. Что делать? Я сама как в бреду. Только любила его тогда и жалела безумно.

Вдруг он мне говорит: «Ты должна уехать немедленно!» Почему? Так надо. Ничего не объясняет. Я догадалась. «Ты выступаешь на фронт? Тогда я с тобой!» Мы проспорили всю ночь. Брать с собой ни за что не хотел, но и ехать было некуда. Мама и папа, сестра Варя находились на юге, в Ростове или Екатеринодаре, я точно не знала, во всяком случае, за чертой фронта. Была у нас еще одна родственница, тетя Агния, сестра папы, которая жила в Смоленске, но ехать к ней я наотрез отказалась. Она была чужой человек, замужем за поляком, сама приняла католичество, дело не в этом, я не могла покинуть Сергея Кирилловича. Тогда он стал уговаривать поехать к его сестре, в Воронежскую губернию, однако было неизвестно, кто сейчас в тех местах: наши или белые. Итак, ехать, к счастью, было некуда, и я с ним осталась. Все стало разворачиваться стремительно. Помню, он написал воззвание. Его помощник Коровин говорил, что чересчур резко, просил смягчить. Опять они спорили и ругались долго, работники политотдела требовали, чтобы Сергей Кириллович убрал каких-то своих командиров и предал их суду, он не соглашался. Помню еще, его друг Миша Богданов застрелился. Этот факт подействовал очень тяжело. Сергей Кириллович как-то вдруг пал духом и будто отказался от мысли выступить самовольно. Но тут получился разговор по прямому проводу с одним из вождей Южного фронта, может быть, с Янсоном... Я точно не помню. Разговор помню очень хорошо, потому что происходил при мне и Сергей Кириллович потом подробно пересказывал. Этот разговор и повлиял: полетел, как первый камень с горы, а за ним обрушилась целая лавина.

Конечно, то, что Сергей Кириллович надумал, может быть, безрассудно, а может быть, нет, я своего мужа судить не берусь, знаю только, что он был честный человек, говорил, что нет выхода. Все это, хотя обсуждалось за закрытыми дверьми и в кругу самых близких и доверенных, стало, конечно, известно в штабе фронта. Потому что нашлись люди, которые донесли. Сергей Кириллович был лишен нужной хитрости, он многим напрасно доверял. Например, командира полка Юрганова считал верным другом, а тот вел себя хуже всех и даже оправдывался на суде, почему он Сергея Кирилловича не застрелил, такой мерзавец. Даже врал, будто где-то стрелял в него, но не попал, отмаливал себе прощение, все равно не помогло. Но я отвлеклась.

Янсон спросил: верно ли, что собираетесь выступить на фронт без ведома командования? Сергей Кириллович твердым голосом объяснил положение. Помню такие фразы: «Вокруг меня атмосфера, в которой я задыхаюсь... Я согласен влиться с сотней преданных мне людей в родную дивизию». Он имел в виду 23-ю дивизию, от командования которой бы отстранен в марте. Там начдивом стал его друг Маликов. Вообще говорил сначала спокойно и рассудительно, даже на него непохоже. Янсон сказал, что приказывает от имени Реввоенсовета не отправлять ни одной части без разрешения.

Сергей Кириллович сказал: «Тогда уезжаю один. Жить здесь дольше не могу, меня жестоко оскорбляют!» Янсон потребовал, чтобы Сергей Кириллович приехал в Пензу. Штаб фронта был тогда в Пензе. Между прочим, помню, сказал: «Приезжайте, сообща обдумаем. Тут сейчас командующий фронтом и товарищ Данилов». Но Сергей Кириллович прямо ответил, что боится за свою безопасность и без конвоя не поедет. Янсон убеждал, что бояться нечего, потом согласился на конвой. Сергей Кириллович потребовал 150 человек. Хорошо, берите 150 человек и приезжайте немедленно. Помню и последние слова Сергея Кирилловича, когда спокойствие изменило ему, он стоял бледный, пот стекал по лицу, был к тому же очень жаркий день, и кричал в трубку, а я стояла перед ним, он все время смотрел на меня, но меня не видел, кричал: «Прошу поставить в известность 23-ю дивизию о том, что вызываюсь в Пензу, чтоб она знала, если что случится! Я вам, товарищ Янсон, как человеку, которому верю, поручаю себя!»

Мне это показалось наивным. Но вообще я была в ужасе. Я чувствовала, что надвигается страшное. Он положил трубку аппарата и сказал: «Все!» Потом спросил, как он, по моему мнению, разговаривал. Я сказала, что очень хорошо и твердо. Он был доволен. Именно это хотел знать: достойно ли? Потом начались его муки, колебания, которые длились целые сутки. То решал выступать, то отменял решение. Кстати, на него подействовало вот что: Янсон сказал, что в Пензе Данилов. Хотя он с твоим дядей тоже ругался (а с кем не ругался?), но он его уважал, у меня это ощущение сохранилось, поэтому скрытно переживал, когда его перевели от нас. Он чувствовал, что без него станет хуже, так и вышло. Говорил, что был бы «рябой» в политотделе, его бы в партию приняли, а молодые

злыдни вознамерились погубить. Звал он дядю почему-то «рябой». Совсем не помню лица, помню только: что-то коренастое, прочное, голова бритая. И вот рассуждал со мной: «Если Данилов в Пензе, почему не подошел к телефону и не сказал несколько слов?» Ему это показалось не случайным. Он подумал, что Данилов не берет на себя ответственность звать его в Пензу, потому что не уверен за других. Не знаю, что было на самом деле и почему Данилов не захотел с ним говорить. Ведь Янсон звонил дважды, на следующий день тоже, когда Сергей Кириллович уже издал приказ о выступлении. Оба разговаривали теперь грубо и зло, и Янсон грозил объявить Сергея Кирилловича вне закона, а тот его сильно изругал. Но накануне, после первого разговора по прямому проводу, было так: кто-то подбросил в вагон записку в конверте, я нашла на полу и прочитала. Всего одна строчка крупными печатными буквами: «В Пензу не езжайте. Арестуют и убьют». Тут я стала лихорадочно соображать: что мне делать? Сказать ли ему? Почему-то сразу подумала на одного человека из штаба, который мне не нравился. Он постоянно настраивал Сергея Кирилловича против политотдельских и за то, чтобы выступить, и вообще вел неприятные разговоры. А меня однажды схватил в потемках, будто бы обознавшись, спутав с одной женщиной, хотя прекрасно видел, что это я, и, когда я вырвалась и сказала: «А вы не боитесь комкора? Ведь если узнает, он вас на месте зарубит»,— он усмехнулся нехорошо и говорит: «Еще неизвестно, кто кого раньше зарубит!» Мне это очень не понравилось. Я подумала, что этот человек может сделать Сергею Кирилловичу зло. Павел, извини меня. Я пишу чересчур подробно и не могу остановиться, все подряд вспоминается, все новое и новое, одно цепляется за другое, ты пойми, я издавна старалась об этом забыть, еще с тех пор, когда Сергей Кириллович был объявлен врагом, никому ничего не рассказывала и тем более не писала. И сама поражена, сколько всего осталось в памяти. Ведь прошло больше пятидесяти лет. Нет, наша память человеческая — поистине чудо природы.

Словом, я стою с запиской в руках и думаю: как поступить? Честно говоря, я не хотела его самовольного похода на фронт, и не из каких-то соображений высшего порядка, революции, дисциплины, что было мне чуждо, я не сильна в политике, а просто боялась за

него: чувствовала, что рвется под пули, умереть, погибнуть, лишь бы не прозябать. Смерть его ничуть не пугала, а меня смерть — его смерть — пугала очень. Я такой человек, всегда волнуюсь за близких. Мне хотелось, чтобы поехал в Пензу, чтобы все как-то уладилось, усмирилось. Я не верила, что Мигулина могут арестовать, и уж совсем вздор — убить! Слишком знаменито было это имя. Вдруг он вошел в вагон, не вошел, а ворвался, впрыгнул прямо одним прыжком, как юноша,— он был вообще очень быстр и скор, не по возрасту,— увидел записку, спросил: «Что это?»— и вырвал из моих рук. Он был очень ревнивый. Я сказала тому человеку правду: если бы Мигулин увидел, как тот пытался меня потискать, как конюх девку впотьмах, он бы его просто убил. Он прочел записку, усмехнулся, порвал. К той минуте было решено не ехать в Пензу, но записка повернула дело: ему вдруг стало стыдно меня. Гордость была задета. Он подумал, что я могу расценить его отказ поехать в Пензу на переговоры как то, что он испугался сказанного в записке. Он тут же приказал идти на станцию и договариваться насчет вагонов. Нужно было много вагонов, людских и конских, целый состав. Вскоре прискакал близкий ему человек, командир пулеметной команды, и сказал, что начальник станции Саранск сказал, что вагонов нет. Когда будут, неизвестно. Может дать паровоз и один вагон, больше ничего. Мигулин понял это так: они хитрят, желая, чтобы он выехал без конвоя. Тогда он разозлился и стал кричать: «С ними нельзя договариваться! Они не выполняют обещаний!» Все опять перевернулось в другую сторону.

Он приказал собрать казаков на митинг. Все въезды и выезды из города были закрыты. Каких-то работников он велел арестовать и держать их в виде заложников. На митинге прочитал воззвание, в котором, хорошо помню, был призыв идти на фронт и бить Деникина, спасать революцию, а также бить, как он выражался, «лжекоммунистов». Это было вроде всенародного обсуждения, он советовался с бойцами, как быть. Было страшное напряжение, крики и даже стрельба в воздух. Я стояла позади трибуны и не могла успокоиться, все время дрожала, боялась, что кто-нибудь выстрелит в него из толпы. А говорить он умел с огромным вдохновением, я таких ораторов никогда не слышала. Между прочим, выступали люди, которые отговаривали

красноармейцев идти за Сергеем Кирилловичем, угрожали им и ругали Сергея Кирилловича открыто, говоря, что он вне закона, и я еще удивлялась их смелости. Потому что основная масса была против них. Но Сергей Кириллович разрешал говорить всем, только сам нервничал, перебивал и кричал возражения, а того черного, лохматого вдруг прогнал с трибуны, закричав: «Я не позволю агитировать своих бойцов!» Потом этого политотдельца арестовали бойцы из комендантской сотни. Он кричал: «Можете меня расстрелять, Мигулин, но я называю вас изменником!» Сергей Кириллович сказал, что никого расстреливать не будет, потому что против смертной казни. Помню еще спор вокруг каких-то денег, взятых из казначейства. Один командир по фамилии Забей-Борода обвинял Коровина в том, что тот взял деньги. Сергей Кириллович мне потом объяснил, что деньги действительно были взяты, чтобы платить жалованье бойцам, и за лошадь платили отдельно. Сергей Кириллович был вообще к деньгам равнодушен, счету им не знал. Еще на митинге, помню, обращался к бойцам с вопросом: «Смотрите, готовы ли вы выступать?» Отвечали: «Готовы!» «Бывает,— говорит,— такая птица лебедь, вот я вроде нее, пою свою лебединую песню. Поняли вы меня?» Поняли, кричат. Готовы? Готовы!

Ну и на другой день выступили. Всего с нами ушли несколько тысяч человек, может быть, четыре или пять тысяч, но через несколько дней, когда стал известен приказ Янсона, где Сергей Кириллович объявлен мятежником и приказывалось доставить его в штаб живым или мертвым, многие испугались и наш отряд поредел вдвое. Были небольшие сражения, перестрелки. Настроение все время падало. Какая-то тревога, обреченность чувствовались у всех. Сергей Кириллович мечтал скорее выйти к линии фронта и вступить в сражение с Деникиным, разгромить мамонтовцев, но все это были, конечно, мечты.

Опять пытался со мной расстаться, посадил в бричку, выделил трех бойцов и велел двигаться на север, но я сказала, что себя застрелю, если он меня прогонит. У меня был револьвер. Опять не удалось ему от меня отделаться, чему, надо сказать, он был рад. Не помню всех подробностей похода, который длился недели три, шли лесами, глухими дорогами, ночевали в лесу, отряд наш таял. Когда комбриг Скворцов оста-

новил нас и велел сложить оружие, оставалось человек пятьсот, не больше. Мы могли бы сражаться, могли погибнуть, Скворцов был настроен очень решительно, но Сергей Кириллович отдал приказ — сопротивления не оказывать, оружие сдать. Этот ужасный день запомнила до последней кровинки. Был ужасен не тем, что мы оказались в плену у своих, не будучи врагами, я этого как следует не понимала, я лишь чувствовала сердцем, что ему ужасно — сокрушена надежда, ничего не смог доказать. Смерти он никогда не боялся. Он был подавлен тем, что ничего не смог доказать. И очень злобно, унижающе вел себя один командир полка, Маслюк. Он подъехал на лошади, ухмыляясь необычайно надменно, спесиво, как плохой актер, и спросил: «Где работники политотдела? Живы?» Сергей Кириллович сказал: да, живы. Махнул рукою назад. Везли двух политотдельцев как заложников. Сергей Кириллович сидел в бричке. Маслюк побагровел и рявкнул: «Встать, когда со мной разговариваешь, гад!» И замахнулся ударить. Сергей Кириллович дернулся, я испугалась, но Сергей Кириллович сдержал себя и сказал спокойно: «Ты, Ванька, не свисти. А играй «барыню»... Почему он сказал «играй «барыню», я даже не знаю. Но я очень хорошо это запомнила.

И такое у него было презрение, у Сергея Кирилловича! Не знаю, что потом с этим Маслюком стало. Не забуду его надутое лицо, как он смотрел на Сергея Кирилловича сверху вниз и с наслаждением произнес: гад! Он требовал расстрелять Сергея Кирилловича и нескольких командиров, право расстрела на месте у них было, и он хотел им воспользоваться, наседал на комбрига Скворцова. Сергей Кириллович вел себя спокойно. Я не могла удержаться от слез, он меня успокаивал и говорил, что я должна сделать после его смерти, как распорядиться его наследством. Боже мой, наследство! У него ничего не было. Человек дожил почти до пятидесяти лет и не имел ни дома, ни денег, никаких ценностей, ничего, кроме пары сапог, казачьих шароваров с лампасами, коня и оружия. Теперь не было и того, что имеет самый бедный неимущий казак: земельного пая. Зато были какие-то бумаги, записи, он ими дорожил и просил передать кому-то в Москве, я забыла кому. По-моему, это были его мысли о казачьем самоуправлении и вообще об устройстве Донской области. Потом это все пропало. Я никогда се-

бе не прощу. Когда ехала из Балашова в Москву, у меня украли чемодан с вещами, там были эти бумаги. Тогда никого не расстреляли, в расположении части Скворцова оказался один крупный военный чин, из самых главных, не помню, кто именно, видела его две секунды, когда он садился в автомобиль: небольшого роста, во френче, черная бородка, пенсне, вид штатский. Тогда, конечно, я знала, кто это был, а теперь забыла. Он распорядился отправить в Балашов, там судить военным судом. Это было сделано не из великодушия, а потому, что сразу решили, что громкий процесс важней, чем наспех расстрелять в лесу.

Тогда же меня от него отделили, и я увидела его лишь через три недели, после объявления приговора, когда дали свидание. Как проходил суд, тебе известно. Ты пишешь в своей заметке, что осужденные после объявления приговора всю ночь пели революционные песни. Может быть, так, я не знаю, но я кое-что слышала, потому что простояла ночь под стеною тюрьмы и до меня доносились обрывки песен, я слышала казачьи песни: «Ах ты, батюшка, славный тихий Дон...» и «Разве можно удержать сокола в неволе?». Эта последняя песня была любимой Сергея Кирилловича, он пел ее часто. Правда, особым голосом не обладал и слухом тоже.

Павел, ты спрашиваешь, отчего я в письме высказала удивление тем, что именно ты написал заметку о Сергее Кирилловиче. Это неправильно. Небольшое удивление, правда, есть, но оно не главное чувство, которое я испытала, прочитав заметку, а главное — огромная радость и огромная благодарность тебе за то, что ты вспомнил дорогое имя. А небольшое удивление лишь оттого, что ты был в составе секретариата суда в Балашове в 1919 году. Помню, ты не смог помочь мне встретиться с адвокатом в первый день заседания, сказав, что поздно. Вообще, мне кажется, Павел, ты тогда как-то верил в виновность Сергея Кирилловича. Я тебя не обвиняю, тогда большинство верило. Люди находились в угаре войны, многое видели совсем не так, как теперь, когда можно спокойно все оценить.

Павел, я устала от этого письма и все время боюсь, что что-то сказать не успела. Какой-то страх, что самое важное, самое ценное о Сергее Кирилловиче написать забыла. Вчера вызывала врача и целый день лежала, очень разволновалась. Поэтому кончаю, а то

можно вспоминать бесконечно. У меня сохранились случайно последние письма Сергея Кирилловича, некоторые его документы, но я тебе их пока не посылаю. Может быть, мы с тобой встретимся здесь, в Клюквине, или я приеду в Москву, у невестки есть машина, она иногда ездит в Москву по делам, за покупками. Но я бы хотела, дорогой Павел, увидеть тебя здесь, я стала плоха, истинная старуха. Обнимаю тебя. Ответь мне поскорее. Твоя Ася.

Между прочим, невестка, она довольно бесцеремонная, прочитала мое сочинение и сделала такой вывод: «Вы, матушка (называет меня, как ей кажется, остроумно — матушкой), неправильно построили жизнь. Вам надо было сочинять романы. Вы пишете — прямо не оторвешься. Как детектив». Вот какие комплименты на старости лет. Напиши, как ты переносишь жару. У нас тут все сгорело, картошки не будет, ягод совсем не видели».

Павел Евграфович прочитал письмо дважды, потом еще перечитал отдельные места, испытывая чувство восторга и какой-то невнятной тревоги, отчего было сердцебиение и холодели руки. Принял лекарство, немного успокоился. Восторг был оттого, что умершее трепетало и жило на страницах школьной тетрадки, а тревога — бог знает... Не оттого же, что Ася написала нелепость, будто он верил в вину Мигулина. Хотя, может, и верил, но не так, как другие. Совсем не верить было нельзя. Она не должна была так писать, упрекая его спустя полвека. Просто не помнит, как было на самом деле. Было очень грубо, однозначно: изменник, и все! Чего ж она требует? К чему эти упреки? Захотелось немедленно ответить и послать кое-какие материалы, чтобы она поняла суть: как было трудно пробивать заметку в журнале! Даже теперь. Она смотрит со своей колокольни и не видит многого, не помнит, не хочет знать. А не послать ли вот это воззвание, которое он выпустил сразу после выступления?

«Измученный русский народ, при виде твоих страданий и мучений, надругательств над тобою и твоей совестью никто из честных граждан, любящих правду, больше терпеть и выносить этого насилия не должен. Возьми всю власть, всю землю, фабрики и заводы в свои руки.

А мы, подлинные защитники твоих интересов, идем биться на фронт со злым врагом твоим генералом Деникиным, глубоко веря, что ты не захочешь возврата по-

мещика и капиталиста, сам постараешься...» Так, так... Вот дальше: «На красных знаменах Донского революционного корпуса написано: вся земля крестьянам, все фабрики и заводы рабочим, вся власть трудовому народу в лице подлинных Советов рабочих, крестьянских и казачьих депутатов. Все так называемые дезертиры присоединятся ко мне и составят ту грозную силу, перед которой дрогнет Деникин и преклонятся коммунисты.

Командующий Донским революционным корпусом
гражданин *Мигулин*».

Вот ведь какая каша варилась. Всего там было намешано. Он-то надеялся, что корпус будет расти, а корпус таял. Теперь взять его отношения с Казачьим отделом. Да, первое время отношения были неплохие. Когда ездил в Москву, он встречался с людьми из отдела, они обещали помощь, и он отзывался о них по-доброму. Потом какие-то эмиссары отдела приезжали в корпус, писали сочувственные доклады. Но почему ты не упоминаешь, Ася, что на том митинге, который ты так подробно описываешь, он называл Казачий отдел «собачьим отделом» и «червеобразным отростком слепой кишки». Это его подлинные слова!

И насчет того, кто верил, кто не верил... Да если честно, все верили! До единого. Как было не верить, когда читались такие обращения:

«Товарищи! Нами были приняты все меры к мирному улаживанию конфликта между Мигулиным и Советской Республикой. Теперь время разговоров кончено, и, чтобы вы знали, куда вас ведут и на что толкают, мы передаем решение Ревсовета Республики.

Мигулин объявляется мятежником, против него двинуты сильные отряды. С ним будет поступлено как со стоящим вне закона. Сообщите это войскам с предупреждением, что всякий, кто посмеет поднять оружие против советской власти, будет сметен с лица земли. Во избежание кровопролития предлагаю Мигулину в последний раз вернуться к исполнению воинского долга, иначе... будет считаться изменником Революции. Если подчинится добровольно, гарантирую безопасность, иначе погибель его неизбежна...»

А вот из обвинительного акта:

«В этих своих воззваниях, которые он выпускает по пути следования, есть указание, что он хочет свергнуть коммунистическую партию. В одном воззвании говорит-

ся: я поднял бунт против советской власти, которая не нравится вам, подразумеваются красноармейцы... Он зовет в свои ряды дезертиров, которые являются главнейшим злом Советской России, они подорвали наше положение на Южном фронте... В пути следования Мигулина было несколько боев с нашими красноармейскими частями, по показаниям одних — 4, по другим сведениям — 5. Стало быть, в тот момент, когда обнаружилось, что советская власть не может допустить партизанских выступлений, Мигулин силой оружия прорывается на фронт... 23 августа поздно вечером Мигулину было известно, что если он выйдет на фронт, то будет объявлен вне закона... В результате стычек среди наших войск было много убитых и раненых, были потери и со стороны Мигулина. В этих затруднительных наших оперативных действиях Мигулин отдавал приказания рвать телефонные и телеграфные провода. Имеются сведения, что Мигулин в пути арестовал коммунистов и некоторых крестьян — правда, он затем отпускал их — за то, что они отказывались давать ему подводы, и даже грозил расстрелом. По пути был ограблен один завод, у заведующего была отобрана некоторая сумма денег. (Видишь, Асенька, эти факты почему-то тебе не запомнились. Да, наша человеческая память — еще более чудо потому, что умеет поразительным образом одно отсеивать, а другое сохранять!) При приближении к фронту, когда положение Мигулина стало довольно опасным, когда он почувствовал, что его игра проиграна, он начал колебаться, но все же вместо того, чтобы сдаться мирным путем, он пытался идти дальше... Мигулин арестовал двух коммунистов, Логачева и Харина, по подозрению в покушении на его жизнь. Но в деле нет материалов, устанавливающих наличность такового покушения. Коммунистов этих Мигулин объявляет заложниками и грозит расстрелять при первом выстреле со стороны советских войск. Арестованные коммунисты шли в течение нескольких дней с красноармейцами, и им в любой момент грозила опасность быть расстрелянными, и только паника, вызванная выстрелами с нашей стороны, дала им возможность бежать...»

А она пишет, будто арестованные находились в рядах корпуса, и, когда Маслюк спросил, где они, Мигулин махнул рукою назад, как бы говоря: здесь. Бог ты мой, память — штука ненадежная. Нужны старенькие бумажки, истлевшие на сгибах документы, выцвет-

шие чернила, бледный шрифт «ундервуда»... Но посылать все это ей нельзя.

Павел Евграфович сейчас же сел за ответ.

«Дорогая Ася!

Благодарю тебя за присланные содержательные воспоминания. В них я почерпнул очень много интересного, раскрывающего...» Тут он надолго задумался, какое применить выражение: «всю историю», или «весь ход» или же просто «события». Однако, призадумавшись покрепче, решил написать «некоторые подробности». Дальше написал «выступления Донского корпуса на фронт» и услышал выстрел где-то близко. Он не обратил внимания, ибо в расположении корпуса всегда постреливали. Дисциплина тут была не ахти. Следующую фразу только начал, как бабахнуло сразу два выстрела, и он подумал, что на трехлинейку не похоже, бьют вроде из охотничьего, что показалось странным: откуда охотничье? Какие-то тонкие, то ли женские, то ли детские, голоса кричали. Павел Евграфович отложил ручку и, как был, в сетчатой майке и в полосатых брюках от пижамы, вышел из комнаты и задней дверью через большое общее крыльцо спустился на двор.

На повороте дороги, ведущей от ворот в глубь участка, он увидел грузовик с крытым кузовом. Возле грузовика толпились несколько человек, женщины и ребятишки, и что-то кричали, вопили и даже плакали. Внучка Полины великовозрастная Ленка бросилась к Павлу Евграфовичу, рыдая.

— Спасите! Они убивают!

— Кого! — изумился Павел Евграфович.

— Уже убили Гуслика! Теперь ищут Арапку, хотят убить! Какие-то звери! Боже мой, звери, звери!

Человек с охотничьим ружьем на плече удалялся в сторону сараев, рядом с ним мелькал, кажется, Приходько — в соломенной шляпе, в чем-то белом, развевающемся,— за ними бежала толпа детей. Павел Евграфович услышал азартный крик:

— Толя́! Айда Арапку стрелять!

Он с ужасом узнал голос внука. Возле заднего борта в кузове стоял знакомый парень — Митька совхозный, шельма, пьянчужка, он и теперь был, видно, хмелен, рожа красная, еле ворочал языком, что-то женщинам объяснял мыком, а те на него орали и махали руками. Застреленные собаки лежали в кузове. Мальчишки подпрыгивали, чтобы заглянуть через борт. Па-

вел Евграфович поспешил, задыхаясь, к сараям, где человек с охотничьим ружьем тыркался из одной сараюшки в другую, ища Арапку. Какой-то мальчик плакал. Другой закричал радостно:

— Вон! Вон! Вон он!

Убийца разбрасывал груду досок.

— Что можно сделать? — говорил Приходько.— Приказ дачного треста... Это не от нас, товарищи, зависит...

— Прекратить! — крикнул что есть мочи Павел Евграфович.

Никто почему-то не услышал. Он опустился на что-то вроде ящика, деревянное, ноги не держали. В груди была боль. Он вдруг подумал, что сидит на чем-то деревянном и длинном, как гроб. Внезапно из-под досок выскочил, скуля, Арапка и бросился к Павлу Евграфовичу. Прыгнул к нему на колени и сунул нос ему под мышку. Павел Евграфович обнял пса, чувствуя, как тот дрожит. Павел Евграфович задыхался, и в груди была боль.

— Это мой пес... Это не бездомный...— сказал слабым голосом.

Люди что-то кричали. Женщина ругалась с Приходько. Он понимал, что Приходько хочет, чтобы Арапку убили, потому что Арапка пристает к его собачонке. Убивать только за то, что дворняга. Да он лучше всех. Они сами бешеные, эти пьянчуги, их самих застрелить. Ему хотелось все это крикнуть человеку с ружьем и Приходько, сказать Приходько, что он подлец. Он бывший юнкер. Он перекрасился. Его самого застрелить. Но не то что крикнуть, даже сказать не было сил, в груди была боль, он обнимал пса и дрожал вместе с ним. Он чувствовал подступающую тошноту. Никто не отнимет у него пса, как бы ни кричали, как бы ни воняли водкой в лицо. Приходько злобно вертел глазом.

— Вы нарушаете параграф! Указание Моссовета!

Павел Евграфович собирал во рту слюну, чтобы плюнуть. Какой-то мальчик подбежал и сел рядом с Павлом Евграфовичем, обняв Арапку. Теперь обнимали пса вдвоем. Потом с другой стороны подошла девочка и положила руку на Арапкин затылок, торчавший из-под мышки. Вдруг он почувствовал, что пес перестал дрожать.

Кто-то хрипел в ухо:

— Найди червонец... Я ему дам, змею, а то не отстанет...

Это был Митька совхозный. Тот мальчишка, что сел

с Павлом Евграфовичем рядом, нес Арапку на руках, уморился, выпустил, Арапка побежал рядом, прижимаясь к ногам. Павел Евграфович останавливался, когда давила боль. Дома искал деньги, рылся повсюду, по карманам, по ящикам, спросил у Валентины, но нашел только три рубля и копеек сорок мелочью.

Митька был недоволен, ворчал, но согласился.

— Ладно, давай! — Побежал, прыгая через насаждения, треща кустами, торопясь к грузовику, к новым собакам, новым трешницам.

Павел Евграфович ушел в дом и затворил за собой дверь. Ни с кем разговаривать не хотелось. По-прежнему болела грудь, но не оттого разговаривать не хотелось. Нет, не оттого. Все вместе — какая-то гадость. Арапку он спас. Но как спасти остальное? Например, того мальчика, который кричал: «Вон! Вон! Вон...»? И собственного внука? Как теперь разговаривать с Приходько? Подумал, что при Гале всего этого быть не могло. Не могло быть таких душителей собак, таких любознательных мальчиков, такой жары. Жара нечеловеческая, нездешняя, жара того света. Все было другое при Гале.

Сидел в кресле-качалке, вдруг говор — Верочка с Эрастычем. Где-то под окном, внизу, совсем близко. И разговаривают-то негромко, а ему, как назло, все слышно. Даже удивительно, до чего отчетливо и ясно. Верочка жаловалась: «Ужасно волнуюсь. Смотреть больно. Стал такой старенький, такой жалкий, чудной... Еле ходит...» Эрастыч: «Не бери в голову. (Что за глупость: не бери в голову. Научный работник, а выражается черт знает как.) Ведь не можешь заставить брата бросить пить? Не можешь вернуть старику здоровье? Значит, не бери в голову». Слушал спокойно. Ничего нового. Мучило только то, что подслушивает, но подняться с качалки было непросто, требовались усилия, и он некоторое время колебался, затевать ли сложную операцию по подъему с качалки, надеясь, что томительный разговор внизу сам собой прекратится. Кашлянул громко и стукнул палкою в пол, давая знать, что сидит рядом. Нет, не слышали, продолжали. Верочка все жалобней: «Но ведь мне его жалко, правда же. Ну что он сидит ночами, не спит, перебирает свои бумажки...» — «И слава богу, есть занятие».— «Это не занятие, Коля. Это что-то...» — «Все старики немного «чайники». Старость — вид шизофрении». И ушли.

Думал над странной фразой: «Все старики немного «чайники». Что этот неприятный человек имел в виду? От фразы исходила тревога. Шизофрения — понятно. Считают его шизофреником. Но при чем тут чайники? Бог ты мой, они сами больны, они больны непониманием, больны нечувствием, о чем мечтал человек с голым и мятым черепом — как его звали? — он говорил, что надо избавиться от эмоций. Уже избавились? Вылетела из головы фамилия. Череп похож на кулич. Его зарубили весной двадцатого года.

Нет, не пойду и разговаривать не стану. Все разговоры неинтересны. А если нет интереса, нет смысла, зачем об этом беспокоиться? Все это давно ушло и абсолютно ненужно; подумаешь, загадка, кто получил домик старухи, не имевшей наследников. Нет, нет, неинтересно. Единственное, что интересно: что выбросило Мигулина из Саранска навстречу Деникину? Вот тут поистине болит, тут проблема, вопрос вопросов!

Чтобы ответить на упрек: «Ты все же верил в его вину...»

Спросите у муравьев, которые бегут цепочкой вот здесь, по подоконнику, один за другим, верят ли они в то, что там, куда они бегут, их ждут корм, спасение, истина... Один человек, как всегда, недоверчиво хмыкал.

Приехали в Балашов на рассвете. Мглистый темный октябрь. В квартире, которую для нас сняли, живет корреспондент реввоенсоветской газеты «В пути» Лев. На льва непохож: тонок, бледнолиц, военный френч сидин на нем, как с чужого плеча.

Он привез последний номер газеты «В пути» со статьей о Мигулине «Полковник Мигулин». Написал Троцкий. Суд начинается через два дня.

— Послушайте, нельзя же, ей-богу...— говорит Шура, вчитываясь в статью, и я вижу, как лицо его грубо, пятнами белеет. Знаю, эти белые пятна — признак раздражения.— Смотрите, что он пишет: «Постыдно и жалко заканчивается карьера бывшего полковника Мигулина. Он считал себя, и многие другие считали его большим «революционером»... Но что явилось причиной временного присоединения Мигулина к революции? Теперь совершенно ясно: личное честолюбие, карьеризм, стремление подняться вверх на спине трудящихся масс...» Дальше впрямую об измене...

— И что же? Почему не устраивает? — спрашивает Лев.

— Да потому, что нельзя до суда писать: «Теперь совершенно ясно...»

— Не понимаю...

— Если «совершенно ясно», тогда суд ни к чему. Все суды мира устраиваются, чтобы установить ясность.

— Все суды мира нас не интересуют,— говорит Лев.— Революционный суд ни на что не похож. Такого суда не было в истории.

Лев — это фамилия? Зовут как-то сложно, и все привыкли: Лев, Лев. Мы знакомы давно, недели три. То он мелькал в Козлове, то в штабе IX армии. Шура объясняет: если б он знал, что так обстоит дело, он бы не дал согласия участвовать в процессе. Лев холодно:

— Не думаю, Александр Пименович, чтобы зависело от вашего согласия.

С этого темного рассвета, статьи «Полковник Мигулин» и неприятного разговора с корреспондентом Львом все пошло вкось. Шура сразу стал возражать, как у него бывало, против всего подряд. Раздражение и злость кипели. Кажется, он проклинал себя за то, что не уклонился вовремя, и теперь делал все, чтобы разругаться, поломать, уехать. А он был нужен — его авторитет, каторжанская слава прибавляли веса суду. Два других члена суда — кубанские казаки, председателем назначен старый партиец Сыренко. Главный обвинитель — Янсон. Он давний знакомец Шуры. Они на «ты». Янсон тут главный, все споры, ругань, несогласие — с ним.

— Пойми ты, черт упрямый, что сей суд имеет не юридический, а политический смысл. Пропагандистский смысл! Мы должны сокрушить легенду о Мигулине. Мы должны нанести удар по контрреволюционному казачеству — раз, по бонапартизму — два и по партизанщине — три.

И еще говорит Шуре:

— Почему, Александр, ты всегда ломишь свою линию? Почему ты всегда — а я хорошо помню по старым временам — так тяжело подчиняешься дисциплине и коллективному мнению?

Шура говорит, что приехал участвовать в судебном разбирательстве, а не в театре. Если тут заранее отрепетированный спектакль, тогда увольте. Не совсем правда. Спектакля хотел автор статьи «Полковник Ми-

гулин». Но вышло иное. Вышло совсем иное, но Шура не знал, что выйдет. Янсон раздраженно уверяет: не волнуйся, будет настоящий суд, будет обвинитель, защитник, будут члены суда, публика, журналисты, но у него, Янсона, предварительное мнение четкое. Мигулин должен быть судим за измену.

— Ты этого не считаешь?

— Я не знаю. За тем и приехал — узнать.

Споры делаются все резче, Шура закусил удила. Кончается катастрофой: вечером Шура уезжает в Пензу, бросив гневное объяснение, что снимает с себя обязанности члена суда в связи с несогласием с тем-то и тем-то. Не помню, с чем именно. На его место срочно вызван председатель армейского ревтрибунала Десятой. Шура поступает рискованно. Я за него в страхе. Была минута — сразу после внезапного отъезда,— когда Сыренко и Янсон, взбешенные, говорят об аресте и привлечении к суду. Но, разумеется, вздор! Потом соглашаются, что, может, и к лучшему: с его настроением неизвестно, что он бы отколол на суде...

А я остаюсь в Балашове. Потому что еще раньше назначен в помощники секретарю суда. Много волокиты, много бумаг, имен. Кроме Мигулина судятся двенадцать человек командиров и близких ему казаков, допрашиваются полтора десятка свидетелей. Да и все захваченные Скворцовым 430 человек находятся на положении обвиняемых и ждут решения своей доли.

Мрачный, исхудалый, разом старик — в черных волосах проседь сильней привычного,— сидит Мигулин на первой скамье сбоку от стола судей и то и дело порывисто, наклоняясь вперед, выламываясь плечом, оглядывает зал, ища глазами. Ищет Асю, а ее нет. Публику в первый день не пускают. С Асей встречаюсь вечером...

Вот редчайшая редкость, драгоценность в сто шестьдесят страниц в синей папочке: стенограмма суда. Если начнется в доме пожар и надо хватать самое ценное, схвачу эту папку. А зачем? Все читано, перечитано.

П р е д с е д а т е л ь. Подсудимый Мигулин, вы слышали, в чем вы обвиняетесь?

М и г у л и н. Слышал.

П р е д с е д а т е л ь. Признаете себя виновным?

М и г у л и н. По всем предъявленным пунктам, за исключением некоторых деталей, признаю себя виновным, но прошу во время судебного процесса выслушать мою исповедь...

Все читано, перечитано, передумано, перемеряно памятью. Но каждый раз что-то новое. Галя тоже читала. Говорила, что Мигулин — правдивый и честный человек, но с узким кругозором. Это она вывела из стенограммы. А уж она-то понимала. Она ничего не знала про Асю. Галя в людях разбиралась преотлично, в особенности в мужчинах. Женщины занимали ее мало. Да у ней и подруг не было — одна Полина. Она говорила: «С ними скучно. В них столько ерунды...»

Мигулин. Я был не против идейного коммунизма, а против отдельных личностей, которые своими действиями подрывали авторитет советской власти... Я обрисовывал на митингах все примеры очень рельефно... Итак, я хочу указать на невозможно сложившуюся политическую атмосферу в Саранске вокруг меня. Затем распространился слух, что пал Тамбов, и мне казалось, что кадеты могут подойти при таком положении к Богоявленску. Мне казалось, что деникинские войска вклинятся в наше расположение в направлении Ряжска, тем более что распространились слухи об эвакуации Козлова... И решил выступить с наличными силами, убежденный, что я своим выступлением в любом месте остановлю фронт...

Председатель. Вы грозили арестовать коммунистов?

Мигулин. Это был просто тактический шаг, так как я не хотел, чтобы кто-нибудь мешал мне на пути. Я сперва объявил, что Харин и Логачев будут расстреляны, но затем отдал приказ, чтобы этого не делали, так как я в принципе против смертной казни. Мною не был расстрелян ни один из арестованных коммунистов.

Председатель. Когда была написана ваша декларация «Да здравствует Российское Пролетарское Трудовое Крестьянство»?

Мигулин. В первых числах августа, когда мне на одном из митингов была подана записка: что такое социальная революция и как должно жить человечество?

Председатель. Не жалели ли вы, что у вас нет орудия, а то бы вы смели Пензу с лица земли?

Мигулин. Нет, не говорил этого.

Председатель. Руководили ли вы боями и какими во время похода?

Мигулин. Мы старались избегать боев и, еще не доходя до реки Суры, советовались с Юргановым,

как лучше пройти, чтобы избежать столкновения... Откровенно говорю, что первоначальное мое направление было на Пензу, так как мне хотелось, чтобы т. Янсон меня наконец понял...

Янсон. Скажите, когда вы выступили со своей частью якобы на защиту фронта, логично ли было с вашей стороны устраивать новый фронт в тылу советской власти — как офицер, подумали ли вы над этим?

Мигулин. Конечно, я действовал нелогично, но поймите мое душевное состояние, поймите ту атмосферу...

Янсон. Чувствовали вы себя в последние дни нормальным человеком, или ваш разум мутился?

Мигулин. Вы уже слышали от меня, я не отдавал себе отчета и, когда вел с вами переговоры, метался из стороны в сторону, несколько раз бывал на станции, несколько раз подходил к аппарату и в конце концов, измученный этой борьбой...

Откуда она узнала, что я в театре? Вечером со Львом пошли в театр, вернее, в клуб, где выступают артисты из Саратова, показывают «Даму из Торжка». Кроме названия, ничего не помню. Помню еще, что Лев поражает необычайной презрительностью суждений, он театрал, знаток, столичная штучка, у него друзья среди актеров МХАТа. Сразу после процесса он возвратится в Москву. «Если подобная дрянь будет процветать на сцене, надо устраивать вторую революцию!» Актеры садятся кучей в телегу, их везут на вокзал. В телегу положили мешок с мукой. И тут внезапно появляется Ася, которую я сразу не узнаю: она закутана в платок до глаз, в длинном черном пальто. Хватает меня за руку и тащит от подъезда в темноту.

«Павлик, на одну минуту...»

Просит устроить свидание с Мигулиным. Я ошеломлен. На меня обрушивается какой-то бред, она вне себя, больна, помешалась, у нее жар, губы горят; она целует меня, стискивает, умоляет, уговаривает... «Я знаю, я виновата перед тобой, ты меня любишь, ты мой родной и ты сделаешь... ты поможешь... Если не увижу его завтра, я умру... Что он говорил сегодня, какой ужас. Клеветал на себя! Говорил, что помутился разум...» Оказывается, она была на процессе, упросила кого-то, пробралась, сидела, спрятавшись, он ее долго не видел, хотя все время искал, но потом она сделала так, что он увидел! Я говорю: невозможно. Я там мелкая

сошка. С Янсоном и Сыренко отношения плохие из-за Шуры, они на него сердиты и для меня не сделают ничего. «Но ведь они его расстреляют! Другого не будет!» Я молчу, потому что это правда. Что могу ей сказать? Мне и жаль ее бесконечно, и изумление перед любовью душит меня... И, когда она лепечет в безумии, хватая мои пальцы, заглядывая в глаза, не видя меня, что, если я помогу, она готова на все, она останется со мною, я спрашиваю: «Навсегда? Или только сегодня?» Ужасен этот вопрос, низок и не мой, не мой! Не мог я так спросить, будь я самим собой! Но ведь и я в угаре, и я как помешанный. Она глядит на меня и вдруг разражается рыданием, и шепчет, и рукою показывает: навсегда, навсегда! Навсегда — лишь бы только одну минутку с ним...

Вот о чем она не вспоминает в письме. Вот про что забыла. Будто не было встречи на улице, рыданий, безумия, будто не пошли потом на квартиру, где Лев храпел за стеной, где она осталась до утра и где не было ничего, кроме разговора, многих часов объяснений, чужой любви, тоски, фантастических планов, ничего не могло быть. Ничего, ничего, поэтому забыла. Помнит только, что не смог ее свести с адвокатом. Не желает ни понимать, ни знать. Я говорю: «Но ты войди в положение. Деникин наступает, взят Курск, в Москве раскрыт заговор, бомба в Леонтьевском переулке, погибли наши товарищи... Как прикажешь в час смертельной опасности судить человека, который обвиняется в измене?» — «А я чем хочешь клянусь, он не изменник!» — «Но ведь даже близкий ему человек, Юрганов, говорит, что хотел его застрелить за измену».— «Ложь! Не было ничего отвратительнее ответов Юрганова. Я этого человека поняла... Это гниль, которая вырывается бурей со дна...»

Где ответы Юрганова? Не забыть взгляд, каким смотрел на него Мигулин.

Юрганов. Я был исключен из шестого класса гимназии по подозрению в убийстве, затем года через два стал народным учителем, но вследствие постоянных столкновений с попами, с которыми никак не мог сговориться, я бросил службу, скитался, пролетарничал, потом был взят на войну. Во время Керенского был допущен в военную школу и получил звание прапорщика. С Октябрьским переворотом вступил в Красную Армию, где нахожусь по сие время...

Председатель. В каких должностях служили вы?

Юрганов. Сперва рядовым, потом выборным командиром, командовал бригадой и в корпусе Мигулина был начдивом... Я увидел разлад и неправоту Мигулина. Он был неправ в огульных нападках на политических работников... Неправоту Мигулина я объяснял его болезненной нервностью и подозрительностью... Я старался связать враждующие стороны.

Председатель. Писали ли вы письмо комбригу Скворцову, называя Мигулина вождем мировой революции?

Юрганов. Да, я писал. Но на собрании 21 августа, когда Мигулин призывал идти на фронт и когда массы, возбужденные его призывом, кричали «Вперед на фронт!», Мигулин спросил меня: «А вы идете защищать своих товарищей?» Что я мог ответить? Я сказал: иду. Потом он арестовал на митинге комиссара и, когда я пошел к нему и указал на неуместность его поступка, он сказал: «Я погорячился». Меня возмутил поступок Мигулина, и я сказал, что если он сделает сдвиг вправо, то я его убью... (Мигулин что-то выкрикивает со смехом. Председатель делает ему замечание.) И в конце концов, видя, что Мигулина ни в коем случае нельзя допускать до фронта, решил сделать то, что давно уже я задумал,— убить его. Раньше это сделать не представлялось возможным, так как он окружал себя верными людьми, «янычарами»...

Председатель. Зачем вы предупреждали комбрига о выступлении Мигулина в письме?

Юрганов. Я писал, что он может сделать что-нибудь из ряда вон выходящее.

Председатель. И вы хотели, чтобы комбриг поддержал вашу авантюру?

Юрганов. Я опять повторяю, что письмо было написано под давлением Мигулина.

Председатель. Я прочту вам наиболее существенные фразы. «Мигулин — не только великий стратег, но и великий пророк». Вы писали эту фразу?

Юрганов. Да, это моя фраза.

Председатель. «Если он восстанет, то за правду, за истину, за волю».

Юрганов. Это мои слова.

Председатель. «Крестьянство готово броситься в кабалу Деникину, лишь бы не пережить тех мук...»

Юрганов. Это слова Мигулина.

Председатель. Почему вы в конце письма пишете: крепко целую тебя, может быть, в последний раз?

Юрганов. Это вообще только приписка, которой я не придаю особого значения, тем более что я в то время колебался, мог убить Мигулина и сам покончить с собой...

Допрос Дронова. Спрашивают: чем занимался до Октябрьской революции, чем занимался во время войны?

Дронов. Я был в чине подъесаула, был полковым адъютантом, после Октябрьской жил в Киеве, в ряды Красной Армии вступил после Октябрьского переворота. В корпус Мигулина попал 15 августа на должность адъютанта второго полка...

Председатель. При Скоропадском были в его войсках?

Дронов. Мне пришлось служить при шести правительствах в штабных должностях...

Председатель. Почему вы пошли за Мигулиным?

Дронов. Отчасти в силу личных причин, потому что не получал жалованье в течение полутора месяцев.

Председатель. Вы понимали, что значит — вне закона?

Дронов. Я не придавал этому большого значения.

Почему-то кажется, что именно об этом Дронове — вдруг возникает: щеголеватый, долговязый, почтительно вытягивает кадыкастую шею и даже ухо поворачивает в сторону председателя, чтоб лучше слышать,— писала Ася в письме. Про какого-то, который приставал к ней, тискал в потемках. Он? Померещилось почему-то, что он, и вот читаю со злобой...

Председатель. Перед разоружением Мигулин обращался к войскам?

Дронов. Дело было так. Мигулин приказал полку выстроиться и сказал подлинную фразу: «Я жертвую своей жизнью, чтобы не проливалась кровь. Идем на соединение с казаками. Песенники, вперед!» И полк двинулся вперед с песнями. Это было в Крутеньких, не доходя до Мокреньких...

Председатель. Скажите, слышали вы когда-нибудь от Мигулина отзывы о Троцком?

Дронов. Да, слышал. В некоторых деревнях во время похода были митинги, на которых говорили такую фразу: «Недавно я прочел в газете, что России нужна

в течение ряда лет твердая диктаторская власть, и не думает ли уж Лев Троцкий стать диктатором России?»

Председатель. Когда вы узнали, что Мигулин объявлен вне закона?

Дронов. Минут за пять — десять до выступления...

Председатель. Мигулин, вам известно было, что утром 22 и 23 августа казаки бесчинствовали и арестовали коммунистов?

Мигулин. Я не знал этого.

Объявляется перерыв на два часа. Вечером обвинительная речь Янсона. Ему тогда двадцать восемь. Но я не видел — никто не видел — в белобрысом коротконогом человечке на трибуне ни его молодости, ни университетского прошлого, ни прибалтийского происхождения: это говорила ледяным голосом революция, говорил ход вещей. И замораживался дух, цепенели руки — помню, помню...

Помню: холодный блеск неба за окном. Внезапный солнечный день. Помню: Ася в одном из первых рядов, не замечая, не слыша ничего, глядит на казака с седыми усами. Помню нараставшее изумление: как я мог сомневаться в его вине? Все так смертельно ясно.

«Я обвиняю бывшего казачьего полковника Мигулина и всех его соучастников в том, что во время войны Советской власти с Деникиным они, занимая ответственные посты в нашей Красной Армии, подняли вооруженный мятеж против Советской власти. Перед нами громаднейший следственный материал, из которого картина восстания вырисовалась достаточно ясно. В ночь на 23 августа я узнал, что в Саранске творится что-то неладное, что корпус волнуется, что Мигулин произносит мятежные речи. Я предпринял все меры к мирному улаживанию конфликта. По прямому проводу я сообщил Мигулину об обстановке на Южном фронте, о рейде Мамонтова. Я заявил ему, что его несогласованное выступление может принести большой вред делу защиты Советской республики. На это последовал сумбурный и бестолковый ответ, что он «больше не может», что он «задыхается»... Увлекая за собой корпус, он двинулся из Саранска на фронт, намереваясь соединиться с 23-й дивизией и образовать воинскую силу для каких-то ему, Мигулину, одному известных целей...

Здесь, на суде, Мигулин чересчур скромен. Он раскаивается. Он говорит о том, что человек он неуравновешенный, что его, так сказать, толкнули на это дело,

что, совершая это преступление, он не отдавал себе отчета. Но было время, когда Мигулин, чувствуя за собой некоторую силу, был не таким. Он надеялся стать народным героем, чем-то вроде русского Гарибальди. Тогда он умел даже грозить. Так, например, в своем воззвании или манифесте, где он объявлял мне войну, он пишет: «Я сокрушу, смету вас, если посмеете выступить против меня...» Анализируя весь материал по делу Мигулина, я пришел к выводу, что перед нами не орел, а всего лишь селезень, ибо приемы, при помощи которых он увлекал за собой своих солдат, не приемы вождя... Я утверждаю, что никто за время нашей революции не создавал более путаной и туманной идеологии. Невольно напрашивается сравнение Мигулина с блаженной памяти Керенским, который, задыхаясь, говорил: «Если вы мне не верите, я застрелюсь...»

Главный соучастник Мигулина Юрганов держит себя на суде трусливо, указывает, что он был против Мигулина и что он пытался даже его убить. Он называет себя сочувствующим партии коммунистов. Значит, в совершенном преступлении Юрганов повинен вдвойне, как изменник своей партии и Советской власти. В революционное время отношение к таким жалким слюнтяям редко когда бывает сочувственным. Он должен был побороть свое малодушие, свою трусливость и ясно и отчетливо сказать войскам: «Мигулин — изменник, вы должны оставаться в Саранске». Такое заявление, может быть, спасло бы нас от необходимости судить четыреста с лишним человек, среди которых заведомых предателей и изменников, безусловно, меньшинство. Из лиц командного состава, которые пошли с Мигулиным, меня еще интересует фигура Дронова, согласно заявлению которого он на Украине служил шести правительствам. Очевидно, Советской власти, потом Петлюре, гетману Скоропадскому, снова Советской власти и т. п., причем при всех правительствах оставался в штабных должностях. Я думаю, что на этот раз он изменял последний раз... Такие люди, как Мигулин, неуравновешенные, недурные ораторы, возбудив темную массу, не в состоянии удержать ее в своих руках. Им на смену приходят деникинцы. Дронов вместе с Мамонтовым создал бы действительно фронт против Советской власти. Недаром этот человек пошел с Мигулиным. По его словам, он как будто пошел за тем, чтобы получить свое жалованье за полтора месяца. Это смешно слышать из

уст бывшего полкового адъютанта. Чуя авантюру, чуя возможность легкой политической наживы, он пошел за Мигулиным. Здесь он держит себя скромницей, простачком, услужливо отвечает на все вопросы. Этакая божья коровка и скромница не могла бы служить при шести правительствах в штабных должностях...

Вы все знаете, что уже почти два года смысл и суть нашей революции заключается в борьбе крайностей: рабочего класса, партии коммунистов и Советской власти, с одной стороны, и буржуазной контрреволюции — Деникина, Колчака, Юденича — с другой стороны. Все попытки соглашательских партий, попытки учредиловцев, попытки сторонников всяких «рад» и т. п. найти какую-то среднюю линию до сих пор оказались тщетными. Мы знаем, и всякий это может проверить на тысяче фактов, что всякая борьба, поднятая против Советской власти, железной неумолимой логикой вещей влекла к Деникину и к контрреволюции. Против нас поднимали восстание чехословаки, левые эсеры, демократические группы меньшевиков и прочие. Все эти группы оказались в конце концов в объятиях Деникина, который смел их всех с дороги. Только он один решительный и сильный противник, и кто-нибудь один, или Советская власть или Деникин, выйдет победителем из этой страшной колоссальной борьбы...»

Неглупо, неглупо рассуждал Эдвард Янович! И говорить умел, и голова светлая. А время катастрофическое — октябрь девятнадцатого. О чем тогда думали в захолустном Балашове? На что надеялись? Бог ты мой, Деникин взял Воронеж, подходил к Орлу и Брянску... На востоке пал Тобольск... Юденич в Красном Селе, немцы в Риге... Все на волоске... И *ни секунды сомнения в конечной победе!* На другой день после суда отправились на охоту: встали на рассвете, поехали сначала на озеро, стреляли уток, потом куда-то в поле за куропатками...

«...Здесь он развивает перед нами полутолстовскую, полусентиментальную мелодраму. Он, дескать, за такой строй, который вводился бы без каких бы то ни было насилий. Но кто поверит, что вы, старый казачий офицер, который в старой войне имел почти все воинские отличия, вплоть до георгиевского оружия, искренне стали на такую точку зрения? Возьмем даже его теорию государства. Он хочет немедленной свободы для всех граждан. Он не понимает, что путь к социализму лежит

через диктатуру угнетенных над угнетателями. Он не понимает, что требование свободы для всех в эпоху гражданской войны есть требование свободы для контрреволюционеров...

Вы много распространяетесь о любви к народу, о свободе, причем пишете, что народу плохо живется в России, и обвиняете в этом партию коммунистов. Вы лжете, партия коммунистов тут ни при чем! Вы хорошо знаете, что мы разорены четырехлетней войной, вы знаете, что наши заводы и фабрики остановились, потому что контрреволюция захватила области, богатые нефтью, углем и хлебом... Вы говорите, что не надо принуждать людей, что они должны все делать добровольно, что вообще весь аппарат государства должен быть ослаблен. Хорошо, но что же было бы теперь, если бы у нас не было принудительного набора в Красную Армию, не было бы хлебной монополии? Истреблены были бы не только коммунисты, но и вы, гражданин Мигулин, не особенно пышно расцвели бы при генеральской диктатуре. Вы жалуетесь на то, что тяжело жить крестьянину. Это правда, ему живется нелегко, страна разорена! Но вы не вспомнили, критикуя нашу продовольственную политику, что города обнищали, что им нечего обменивать на хлеб. Рабочий должен умереть с голоду, если Советская власть не даст ему хлеба. Явление это позорное в такой стране, где хлеб в избытке...

Теперь о безобразиях на Дону. Из следственного материала видно, что безобразия имели место. Но также видно и то, что главные виновники этих ужасов уже расстреляны. Не надо забывать, что все эти факты совершались в обстановке гражданской войны, когда страсти накаляются до предела. Вспомните французскую революцию и борьбу Вандеи с Конвентом. Вы увидите, что войска Конвента совершали ужасные поступки, ужасные с точки зрения индивидуального человека. Поступки войск Конвента понятны лишь при свете классового анализа. Они оправданы историей, потому что их совершил новый, прогрессивный класс, сметавший со своего пути пережитки феодализма и народного невежества. То же самое и теперь. Вы должны понять...

Мы переживаем величайшие трудности, революция охвачена железным кольцом, наша армия выбивается из последних сил, чтобы удержать октябрьские завоевания. Наша армия начинает изживать ту разнузданность, которая раньше процветала в красноармейских

частях, когда каждый начальник действовал самочинно, кустарническим способом... Мигулинщина, какими бы маниловскими словечками она ни прикрывалась, есть выражение этой разнузданности кустарнического периода.

Перед нами преступник, болтающий о счастье человечества, а на деле открывающий Мамонтову дорогу на Москву. К таким людям у нас не должно быть жалости. Сор мелкобуржуазной идеологии должен быть сметен с пути революции и Красной Армии. Я считаю, что по отношению к Мигулину и его соучастникам должна быть применена самая суровая кара...

Я требую для Мигулина, всего командного состава и всех комиссаров и коммунистов, шедших с ним, расстрела».

Потом защитник Стремоухов: не похожий ни на кого, пожалуй, довоенный, допотопный, в пенсне. Он толст, что тоже необыкновенно, говорит с одышкой.

«Товарищи! Революционному трибуналу угодно было поручить мне тяжелый долг защиты обвиняемого. Не систему мигулинщины, не историческое явление, известное под именем мигулинщины, а самого обвиняемого... Обвинитель прочел нам целую лекцию о мигулинщине, он изложил нам взгляд господствующей коммунистической партии; все это не ново, и если обвинитель, объясняя партийно это явление, обращался лицом к публике, а к вам боком (председатель останавливает защитника, указывая на неуместность таких выражений), то я, как защитник людей, обращаюсь к вашим сердцам... Я много думал над этим делом и теперь спрашиваю: в чем они обвиняются? В дезертирстве... Но до сих пор мы знали и обвиняли людей, бегущих с фронта, теперь же обвиняем группу лиц, которая пошла на фронт!

Кого же мы здесь обвиняем? Не селезня, как сказал обвинитель. Перед нами лев революции. С самого начала Советской России он бился в рядах защитников революции, бился честно два года, и как бился! Этот селезень, повторяю, бился с самого начала пролетарской революции. Правда, он не совсем представлял себе политическую программу, он не мог разбираться во всех тонкостях политики, как в этом разбирается обвинитель, очевидно, старый партийный работник, которого нам было приятно слушать, но лев революции разбирался во всех этих вопросах сердцем, он сердцем почувствовал, что партия несет то, что нужно обездоленному трудящемуся классу... Где случится беда, где белогвардейские банды расстроят наш крас-

ный фронт, туда стремится селезень, ему доверяют в такой ответственный момент, на него возлагают надежды, и он оправдывает их. Позвольте вам напомнить, когда в прошлом году, я слабо знаю историю наших военных событий, наши красноармейские части на Хоперском участке не могли прорваться через проволочные заграждения, вот этот самый селезень ударил в тыл неприятеля, опрокинул и погнал врага на юг. Разве это селезень, который в дальнейшем своем движении дошел до Новочеркасска?

Так в чем же провинился этот человек, который сейчас стоит перед нами в качестве подсудимого? А вот в чем: как боец Красной Армии, он был плохой политик, плохо разбирался в той политической атмосфере, которая его окружала, и, как боец, был прям в своих поступках. Человек цельный, у него что на сердце, то и на деле, не скрывающий своих мыслей... В беседе со мной в камере № 19 он выразил сожаление, что вся его переписка попала сюда. Тут письма личного характера. Он просил не цитировать, да нам и не нужно, но я позволю себе нарушить его желание только в одном пункте: я прочел тут замечательную фразу, в которой он весь. Он пишет любимой женщине: «Принадлежи мне вся или уйди от меня». В этой коротенькой фразе сказалась вся натура Мигулина...»

Сколько я ни вспоминаю, не могу припомнить этой фразы, хотя речь защитника слушал внимательно. И даже более чем внимательно — жадно, восторженно! Она меня захватила и перевернула, так же как сперва захватила и перевернула речь Янсона. Но если в стенограмме стоит, значит, фраза была... Когда? В феврале? Когда еще жив был Володя? И она делила любовь между ними двумя?

«...На Дону со стороны внутреннего управления дело обстояло неладно. Мигулин кричит: «Беда идет! В результате наши успехи сойдут на нет!» Но голос его слабо слышен. Ему говорят, что в центре не забывают Дона, издают приказы, но дело-то ведь не в том, чтобы издавать приказы и писать, что мы будем бороться со всеми этими безобразиями, а в том, что безобразия все-таки продолжаются... Верный себе, Советской России, Мигулин из глубины души кричит: «Так дальше жить нельзя! Помогите! Сделайте что-нибудь для облегчения создавшегося положения!»

И кто знает, не было ли вызвано этим криком известное обращение центра к казакам. Мы знаем, что за последнее время политика Советской власти изменилась по

отношению к казачеству. В газете «Красный пахарь» от 11 сентября сказано, что политика по отношению к казачеству будет изменена, будут считаться с бытовыми условиями Дона... Мигулин закричал, и крик его побудил к излечению одной из язв Советской России. В этом его заслуга, и за эту заслугу его можно помиловать. И я, как защитник людей, прошу вашего великого снисхождения, прошу всем сердцем взвесить обстоятельства этого процесса, вдуматься и тогда уже вынести свое решение».

И вот речь Мигулина:

«Граждане судьи, когда я очутился в камере № 19, я занес свои впечатления в первые минуты моего пребывания в камере на клочке бумаги, который останется после меня. Дико в первую минуту в этом каменном мешке, и, когда захлопнулась дверь, сразу как будто и не понимаешь, в чем дело. Вся моя жизнь отдана революции, а она посадила тебя в эту тюрьму, всю жизнь боролся за свободу, и в результате ты лишен этой свободы. В этом каменном мешке я, быть может, впервые свободно задумался, никто мне не мешал, задумался над тем, кто я такой.

Янсон сказал, что я не знаком с Марксом. Да, я не знаю его, но тут в камере я впервые прочел небольшую книжку о социальном движении во Франции и неожиданно напал на одно определение, характеризующее таких людей, как я. Дело в том, что во Франции были социалисты, озабоченные мыслью о справедливости и везде и всюду искавшие ее. Люди в высшей степени искренние, но лишенные научных знаний и методов... Таким как раз являюсь я, и в этом мое несчастье... И я прошу Революционный трибунал прислушаться к этому. Я скажу кое-что о тех революционных выступлениях, которые мне приходилось делать в течение моей жизни.

В 1895 году, когда я еще был нижним чином, одним из начальников из моего девятирублевого жалованья было вычтено шесть рублей. Я возмутился против этого и сказал, что я застрелю такую собаку. Создалось такое тяжелое положение, которого я не мог долго выносить и перешел на службу в мировые судьи. С 1904 года я уже был офицером и был избран на общественную должность станичным атаманом. В это время пришлось снаряжать на общественный счет девять человек, это тяжело отзывалось на казаках, заставляло их входить в долги, и я, горячо стоявший за интересы казачества, принял все меры для облегчения казаков. Так, во время приемки лошадей я сумел провести перед комиссией всех лошадей,

числом девять, когда же приехал атаман, он забраковал всех этих лошадей и приказал мне представить новых к двенадцати часам. Сколько я ни старался узнать, почему забракованы представленные лошади, не мог ничего добиться, и тогда я решил представить атаману тех же самых лошадей. В двенадцать часов приводят к нему лошадей, тех же самых, и атаман выбирает из них шесть, а остальных бракует, приказывая мне к трем часам представить недостающих еще лошадей. Я опять решил представить ему тех же самых лошадей... В результате мне удалось провести тех же самых лошадей, и свидетелями моего поступка были 18 станиц Усть-Медведицкого округа... Затем, когда была объявлена японская война, я был мобилизован и отправлен на войну. Там я увидел произвол и бесчинства со стороны командного состава, и, когда начальник Четвертой казачьей дивизии генерал Телешов был посажен в арестное отделение за те бесчинства, вакханалии и преступления, которые им были совершены, я публично сказал командиру полка, что так и нужно было сделать с начальником, ибо невозможно терпеть безобразия, совершаемые в нашей армии... За что я был отправлен в госпиталь нервнобольных. За мою правду меня хотели объявить сумасшедшим. Тогда мне пришлось переживать тяжелые, безрадостные минуты, и помню, как я был обрадован манифестом 17 октября, помню, как все встретили его как светлый праздник... 1906 год был очень тяжелым для меня. Не буду рассказывать о своей истории с генералом Широковым, в результате которой я очутился в Даниловской слободе. Когда возник «Союз русского народа», я объяснял всем значение его, и, когда было перехвачено секретное письмо «Союза русского народа», я прочел его казакам и объяснил истинное значение. Когда я был послан в Первую казачью дивизию под начальством генералов Самсонова и Вершинина, я переживал там страшно тяжелые минуты, никем не понятый, и после одного из столкновений со своим начальством я сказал ему, что он не человек, а зверь. Таким образом, где бы я ни был, всегда и во всяком месте совершал революционные поступки, дабы дискредитировать власть. Все, о чем я здесь говорил с целью показать...»

Вдруг за ужином открылось ужасное: Руська болен, находится в больнице, от него скрывали. Скрывали, скрывали! Уже шесть дней! Знал весь двор, и только он, отец, в неведении. Подлую конспирацию провалила Приходькина

дочка,толстуха Зоя, прибежавшая с вытаращенными глазами: «Как дела у Русика? Я слышала, ему лучше?» Павел Евграфович обомлел, голос у него исчез, и, на секунду оцепенев, он ждал, что ответят сидевшие за столом.

Вера, ничуть не смутившись, объяснила: да, лучше, вчера дозвонились в больницу, положение удовлетворительное, но продержат не менее двух недель. Передавал всем привет.

— Кто дозвонился? Куда?— ахнул Павел Евграфович.

— Я,— сказала Валентина.— В Егорьевск.

— Что с Руськой? Почему ничего не знаю?

— Папа, зачем этот вздор? Как тебе не стыдно?— Вера, якобы возмущенная, махнула на Павла Евграфовича рукой.— Перестань, пожалуйста.

— Что с Руськой?!— закричал Павел Евграфович.

— Папа, ты с ума не сходи. Ты эти номера брось.

Вера грозила пальцем, Эрастович смотрел сердито. Все это, конечно, разыграли, не хотели при чужом человеке выглядеть лгунами. И, продолжая игру, не желали ничего говорить! Он, чуть не плача и одновременно задыхаясь от ярости, требовал: немедленно объясните! Он действительно ничего не знает! Смотрели на него, как на глупца. Нет, как на человека конченого. Вера якобы мягко, якобы терпеливо пыталась внушить:

— Папа, ну как же так? Во вторник ты сидел вот здесь, мы вошли, разговаривали... Потом ты ушел к себе...

— Павел Евграфович, вы переутомились. С вашими мемуарами,— сказал Эрастович.— Вам надо передохнуть.

Павел Евграфович закрыл руками лицо.

— Бог ты мой, могу я узнать...

Заговорила свояченица:

— А ночью, вы знаете, услышала стук, испугалась, вхожу, он на кровати одетый, то есть в пижаме, и спит... Свет горит, папка на полу, и все бумажки рассыпаны...

Наконец дознался: Руська получил ожоги, слава богу, не слишком опасные. Работал он там, как бывший танкист, на тракторе. Трактор куда-то провалился. В прогоревший торф. Подробностей не знал никто, поехать туда сейчас же, что следовало сделать, почему-то не поехали. Толстуха Зоя предлагала якобы простосердечно:

— Ребята, давайте туда съезжу, а? В Егорьевск? Я сейчас свободна, у меня отпуск. Абсолютно не трудно, я с удовольствием...

И это при живой жене, при первой жене, и при сестре, и при сыновьях... Какая-то ерунда несусветная. Вера бубнила невнятное:

— Спасибо, Зоечка, сейчас как будто нужды особой вроде бы...

Валентина, сжимая надутые губы, отчего лицо получалось квадратным и злым — это выражение появлялось у нее, когда они с Руськой ссорились, давно уж не ссорились, все затухло,— молча гремела посудой, потом ушла. Его не касалось, что там кипело между женщинами. Но уж будьте любезны, когда случилась беда... Он почувствовал злобу против Валентины... Сводить счеты в такой момент!

— Я поеду... Дайте адрес... Поскорее!— Павел Евграфович, суетясь, поднимался из-за стола.

Все закричали. Набросились на него. Махали лицемерно руками. Он их почти не слышал, думая о Гале: хорошо, что не дожила. Старик поедет в больницу, потому что женщины, которые морочили сыну голову тридцать лет, не могут его поделить. Ах, бог ты мой, сам виноват! Сам, сам виноват, глупец, беспринципный человек. Всю жизнь — по воле собственного хотения. Вот и наказание — некому воды... Околевай как собака среди чужих... И одновременно жалость к сыну невероятной силы, до слез, стискивала Павла Евграфовича. И как могут сидеть спокойно под абажуром, пить чай? Валентина приносит варенье. Верочка выбирает без косточек, накладывает в розетку. Значит, в эту минуту не все равно — с косточками или без косточек? Они на него шикали и махали руками, как на курицу, залетевшую со двора на веранду.

Бормотал, задыхаясь, продираясь сквозь их руки, крики, испуг:

— Зачем вы едите... варенье?

— Витя!— кричала Вера.— Капли! У него на столе!

Она его уложила в комнате. Все ушли. Стало тихо. Держала его руку, считая пульс, и смотрела паническими глазами. Объясняла шепотом:

— Папочка, не волнуйся, ему уже лучше. Ты совершенно не беспокойся... Валя с ним говорила...

— Но как вы могли? Столько народу...

— А что можно сделать, если потребовал...— Еще тише:— Чтоб никто не приезжал. Понимаешь? Никто... Валентина, конечно, обижена, Мюда ехать боится, я тоже не хочу...

Радостная догадка:

— Значит, он не один?

— Я не знаю... Я думаю... Мой брат — человек таинственный...

— Пустой малый!— Сделал движение пальцами, означавшее: всему конец! Но отпустило.

Поздно вечером тихонько стучали: Графчик. Вошел почему-то на цыпочках, как входят к больному, и заговорил шепотом. Принес последний номер «За рубежом».

— Вас проведать, Павел Евграфович... И Руслану передать кое-что... Положительную эмоцию...

— Что такое?

— Как его состояние, во-первых?

И этот все знал! Павел Евграфович, помрачнев, опять вспомнив злодейский заговор, ответил сухо: удовлетворительное. К Графчику Павел Евграфович относился доброжелательно, считал его человеком смышленым, начитанным, кроме того, учитель физкультуры проявлял знаки внимания, приносил журналы и книжки (у детей не допросишься), охотно вступал в беседы и слушал с интересом, задавая неглупые вопросы, но теперь Павел Евграфович насупился: закралось подозрение, что Графчик был в сговоре. Почему не принес «За рубежом» раньше?

Графчик, развязно присев на маленькую, детскую скамеечку, отчего было похоже, будто сидит на корточках,— Павел Евграфович использовал скамеечку, чтобы зашнуровывать обувь,— рассказывал что-то юмористическое. О каком-то приятеле.

— И знаете, манера такая: «Хочешь положительную эмоцию? За пять рублей?» Или позвонит по телефону: «Могу дать положительную эмоцию. За рубль...» Ха-ха!

— Это что же, шутка?

— Оно и шутка, оно и... От рубля не откажется.

— Хорошие у вас приятели.

— Парень он недурной. Но он игрок, понимаете? Всю жизнь играет во все...

Стал рассказывать про игрока, неинтересное.

Павел Евграфович перебил:

— Что вы хотели сообщить, милый Анатолий Захарович? В качестве положительной эмоции.

— Да вот что: передайте Руслану, что его главный соперник в битве за дом, кажись, отпал. Кандауров.

— Как отпал?

— Отпал,— шепотом повторил Графчик и сделал значительное лицо: округлил глаза и губы вытянул трубочкой.— Так мне думается. Не до того ему. Серьезно болен.

— Да? — спросил Павел Евграфович. Не верилось, что молодые люди могут серьезно болеть. Графчик кивал. Лицо было значительное. И это не вязалось с тем, что он

сидит на детской скамеечке, как будто на корточках.— Чем заболел?

— Чем-то плохим. Я ему зла не желаю. Дай бог ему выкарабкаться, но, по-моему, дело худо.

Павел Евграфович сидел на кровати, молчал, думал.

— А вы, Анатолий Захарович, случайно не игрок?

— Я? Ну что вы!— Графчик засмеялся и встал рывком со скамеечки.— Что вы, что вы! У меня семья, мне некогда. Впрочем, можете считать, что я вам ничего не рассказывал. В самом деле... Как глупо!

И он стремительно вдруг исчез. Павел Евграфович зачем-то поплелся к Полине. Было черно, как ночью, звезды едва мерцали сквозь мглу. Каждый день временами дымная мгла. Зачем к Полине? Что можно сказать, если дело худо? Полинин муж Колька умер много лет назад, она была еще молодая, лет пятидесяти, могла устроить свою жизнь, но не захотела. Галя ей советовала устроить. Причем немедля, терять время было нельзя. Наметила ей одного знакомого, врача по детским болезням. Полина отказалась. Дело вот в чем: люди, подобные Мигулину, однолюбы. Они могут любить что-нибудь одно: одну женщину, одну идею, одну революцию. Когда возникает выбор, когда начинают тянуть в разные стороны и почва колышется, необходима гибкость, такие люди ломаются. Разве Мигулин мог не полюбить ее! Объявили приговор — к расстрелу, всех командиров к расстрелу,— выслушали спокойно, только кто-то один, кажется, командир комендантской сотни, потерял сознание, упал, Мигулин не пошевелился во время суматохи, смотрел презрительно, как упавшего поднимают. Вдруг Ася из зала: «Сережа! Я с тобой!» И такой живой, пронзительный, могучий и воспламеняющий крик, что Мигулин в одно мгновение из окаменевшего серого старика превратился в счастливого человека: улыбался, глаза сверкали, он что-то шептал, кивал... Когда я вернулся на другой день с охоты — это было как глоток воды, я бы умер от нервного истощения!— Ася встретила меня у калитки дома. Сказала, что пробыла всю ночь у тюрьмы. Смотрела с ужасом. «Ты ходил на охоту?!» Я ходил, ходил, я ходил на охоту, ничего изменить нельзя, я ходил на охоту, потому что не мог видеть, не мог разговаривать... Оставалось тридцать два часа до исполнения приговора... Она закричала: «Ты ничего не знаешь! Послана телеграмма в Москву с ходатайством о помиловании!» Я ничего не знал. Знал только, что в последний день суда

пришла телеграмма Реввоенсовета Республики с просьбой учесть поведение Мигулина на суде и вынести мягкий приговор. А ведь Мигулин закончил последнее слово так: «Видите, моя жизнь была крест, и, если нужно нести его на голгофу, я понесу. И хотите верьте, хотите нет, я крикну: «Да здравствует социальная революция! Да здравствуют коммуна и коммунисты!» Но телеграмма Реввоенсовета опоздала — приговор вынесен. Однако Янсон тем же вечером отправил телеграмму во ВЦИК с просьбой амнистировать Мигулина и мигулинцев... Вот этого я не знал... И, конечно, не знал, что поздно ночью пришел ответ из ВЦИКа...

Павел Евграфович для чего-то взял со стола папку со стенограммой. Шел в потемках через кусты к домику Полины и по дороге вдруг заметил: в руке-то папка! А зачем? Для чего ее к Полине тащить? Совсем старый спятил. Не помнит, что творит...

— Я к тебе в гости направился,— сказал Павел Евграфович,— и для какого-то черта папку с собой забрал...— И он в сердцах шлепнул папку на стол.

На верандочке за пустым столом сидели трое: Полина, ее дочь Зина и маленькая Аленушка. О чем-то разговаривали и сразу замолчали, когда Павел Евграфович появился. Зина ушла в дом. Полина сказала:

— Паша, дорогой! Будешь пить с нами чай?— Она придвинула к себе папку, развязала тесемки, полистала странички.— Твоя работа, очень интересно... Хочешь, чтоб я почитала?

— Да ничего я не хочу! Дай сюда. Это я просто забрал с собой ненароком. Из дома случайно унес, понимаешь?

— Понимаю, Паша. Я всегда тебе рада... Хочешь чаю?

Согласился. Было молчание. Он вспоминал: зачем сюда пришел? В такую поздноту? Ведь одиннадцатый час. Пришел за чем-то важным. Никак не вспоминалось. Нет, никак. Никак, никак не вспоминалось. Не мог же просто так, здорово живешь, прийти к людям ночью? Нет, не вспоминалось. Так бывало: возникает каверзная пустота и ничем, ничем, абсолютно ничем ее заполнить нельзя. От напряженных усилий вспомнить он внезапно ослаб, немного испугался, потому что от напряжения мог быть мозговой спазм, и решил перестать думать. Единственное, что помнилось: было что-то связанное с Мигулиным и с Асей. С тем, как Мигулин принял расстрел. Он при-

нял расстрел спокойно, а помилования не выдержал. Янсон вспоминает. В своей книжке двадцать шестого года. Там вот что: надо было торопиться, надвигалось время приведения приговора в исполнение. Оставалось чуть больше суток. Ведь если опоздают с ответом из Москвы хоть на полчаса по каким угодно причинам — техническим, метеорологическим,— конец! Помню давящее ожидание. Меня не допускали. Совещались впятером: только члены суда и Сыренко. Прежде чем обратиться во ВЦИК с просьбой о помиловании, решили потребовать у приговоренных честное слово... Какая наивность! Но было так, именно так. Все решалось под парами революционного клокотания. Янсон вспоминает: свидание с Мигулиным состоялось в канцелярии Балашовской тюрьмы, с остальными — в камере. За ночь Мигулин сильно постарел. Когда Янсон сказал, что будет ходатайствовать о помиловании, старик не выдержал и зарыдал. Янсон называет Мигулина стариком. Мигулину тогда сорок семь, Янсону двадцать восемь...

— Если б вы знали, дорогие мои,— сказал Павел Евграфович,— какое было облегчение! Я ликовал, все ликовали. А Янсон очень красочно описывает вот тут, я сейчас найду, это отдельно от стенограммы, я отдельно выписал из его книжки. Вот! Нашел. Вы хотите? Вам интересно? Нет, в самом деле интересно, или вы просто из вежливости?

Аленка кивала, Полина шептала как будто вполне искренне:

— Очень, очень. Паша, ей-богу, очень.

И он стал читать:

— «Старому солдату было легче проститься с жизнью, чем вернуться к ней. Когда мы подходили к камере остальных, то там прекратилось пение какой-то революционной песни. Мы вошли, кто-то из заключенных крикнул: «Встать! Смирно!» Люди повскакали с пола. Когда мы сообщили о цели нашего прихода, радостное возбуждение было велико. Возгласы «На Деникина!», «Да здравствует Советская власть!» заполнили камеру. Люди радовались возможности жить и бороться...»— Он прервался на мгновение, потому что вошла Зина, что-то сказала на ухо Алене, та сейчас же ушла, а Зина села на ее место.— Зиночка, тебе должно быть интересно. Ты любишь психологические переживания. Хочешь узнать, что испытывает человек, приговоренный к расстрелу? Я прочту из записей Мигулина. Это в другом месте.

Он записывал уже в Москве, по памяти. Прочитать, или, может быть, поздно?

— Прочитайте, Павел Евграфович,— сказала Зина и опустила голову на руки.

Ему показалось, что читать, пожалуй, не стоит. Настроение не совсем подходящее. Да и час поздний. Но уж очень хотелось. Вдруг постучали в дверь с крыльца. Свояченица. Его разыскивают. Полина сейчас же воскликнула:

— Любочка, Любочка! Иди сюда!

Старухи стали шептаться. У него пропало желание читать потому, что свояченица — он знал это — была равнодушна к истории Мигулина. Он обратился к Зине:

— Зина, если хочешь, я прочитаю, а если нет, тогда в другой раз. Можно вообще не читать. Я ведь занес эту папку сюда совершенно случайно.

— Павел Евграфович, вы на меня не обращайте внимания. Я вся разбитая, я вообще не человек. Целый день по жаре — то в больницу, то в институт,— сказала Зина, продолжая сидеть, опустив голову на руки.— Читайте, пожалуйста.

Он поколебался.

— Ну хорошо, если ты просишь, я почитаю немного. Значит, так. Это записи, которые Мигулин сделал в Москве, в гостинице «Альгамбра», куда его привезли из Балашова. «После выслушанного приговора в просьбе собраться нам в одну камеру, чтобы провести последние часы вместе, отказано не было. Вот здесь-то, зная, что через несколько часов тебя расстреляют, через несколько часов тебя не будет, крайне поучительно наблюдать таких же, как ты, смертников, сравнивать их состояние со своим. Здесь человек помимо своей воли сказывается весь. Все попытки скрыть истинное состояние души бесполезны. Смерть, курносая смерть смотрит тебе в глаза, леденит душу и сердце, парализует волю и ум. Она уже обняла тебя своими костлявыми руками, но не душит сразу, а медленно сжимает в своих холодных объятиях... Некоторые и при такой обстановке умеют гордо смотреть ей в глаза, другие пытаются это показать, напрягая остаток духовных сил, но никто не хочет показать себя малодушным. И себя и нас старается, например, обмануть вдруг срывающийся с места наш товарищ, начинающий отделывать чечетку, дробно выстукивая каблуками по цементному полу. А лицо его неподвижно, глаза тусклы, и страшно заглянуть в них живому человеку. Но его нена-

долго хватает... На полу лежит смертник. Он весь во власти ужаса. Сил нет у него бороться и сил нет без глубокой, полной отчаяния жалости смотреть на него...» А ведь прекрасно пишет, черт! А? Правда, хорошо? Стиль очень красивый, литературный. Мог бы и писателем стать.

— Павел Евграфович...— Зина смотрела странно, пугающе, глаза красные.— А я вам хочу сказать, между прочим: в нашей жизни, где нет войн, революций... тоже бывает...

— Что, что?— спросил Павел Евграфович.

— Мне, например, хочется иногда... чечетку.

Она поднялась со стула, руки раздвинула локтями в стороны, как цыганка, лицо ее затряслось. Полина проворно подошла к ней, обняла за плечи, увела. Свояченица шептала:

— Пойдем, пойдем, Паша. Надо идти. Пойдем...

— Постой! Я пришел...— Вдруг вспомнил: помочь Полине. Люди не доживают до старости, болеют, умирают, и помочь не может никто. Но помогать надо. Внезапно все разрушается. Но все равно надо. Красная луна вставала над соснами. И запах гари душил. Теперь они будут долго страдать, долго бороться, надеяться до последнего, и этот молодой, неприятный, который Полину не уважал и относился к ней, как к домработнице, начнет погружаться в свою погибель, как в топь, все глубже, все безвозвратней, пока макушка не исчезнет в свинцовой зыби.

Павел Евграфович сидел, прижимая папку к груди, и терпеливо ждал, когда женщины вернутся на веранду.

И однажды в конце августа как будто лопнула струна — жара прекратилась. Но не все дотянули благополучно до этого чудесного времени. Одни ужасно похудели, другие подорвали здоровье инфарктом, иные вовсе не дождались прохлады, но те, что остались живы, испытали необычайную бодрость и как бы наслаждение жизнью: они теперь иначе относились к городу, иначе относились к воде, иначе относились к солнцу, к деревьям, к дождю. Впрочем, эта пора наслаждения продолжалась недолго, дня два. А на третий день все забыли о недавних мучениях — чему помог зарядивший с утра мелкий, сеявший осеннюю скуку дождь — и стали заниматься делами. Валентина с Гариком переехали в город, надо было готовиться к школе, искать по магазинам форму, учебники, то да се. Мюда и Виктор тоже исчезли. Виктора послали на картошку в колхоз. Верочка затеяла переклейку обоев в городской квартире, а Эрастович уехал в Кисловодск.

Опустели дачи, затихли детские голоса. Когда Павел Евграфович шел в санаторий с судками, он не встречал на берегу людей, пляжи были пустынны, у причала теснились никому не нужные лодки. Слегка одичавшие собаки бегали по шоссе, хозяева их пропали. Павел Евграфович закончил письмо Гроздову из Майкопа. А Руслан гулял по участку с палочкой. У него был бюллетень до середины сентября. Руслан любил тишину и исчезновение людей — конец августа, начало сентября,— но в жизни этой сладости было так мало! Было раз в юности, потом как-то в середине пятидесятых, когда ушел с завода и еще не устроился никуда, и вот теперь. Он гулял по участку, где все так тихо дичало, и сохло, и ждало осени, и думал: можно начать сначала. Ничего страшного. Вот старик, он начинал много раз. Он только и делал, что начинал все сначала.

Руслан первый увидел черную «Волгу», которая вкатилась во двор, встала на повороте каменистой дорожки, и из машины вылезли три человека. Вылезши, стали закуривать и не спеша оглядываться по сторонам. Один держал красную папку. Руслан подошел, не особенно торопясь, и спросил, кого ищут. Те ответили, что никого не ищут. Разговаривая, они пошли в глубь участка. Тот, что нес красную папку, шел посередине, держал папку двумя руками сзади и слегка постукивал ею по спине. Руслану не понравилось, как он постукивает папкой по спине. Была какая-то нагловатость. Они шли медленно, прогулочным шагом и ничем не интересовались вокруг, разговаривали между собой. Как будто все им было известно.

Руслан подошел к черной «Волге», в которой сидел шофер в замшевой куртке, и спросил, откуда машина.

— А вы не знаете?— спросил шофер.

— Нет.

— Ну да!

— Не знаю.

— Машина из управления. Здесь пансионат будут строить. Для младшего персонала...

— А наши дома?— удивился Руслан. Вопрос был глуп. Он задал его только потому, что после жары, болезни, больницы как-то ослаб душой.

— Дома!— Шофер усмехнулся, покачав головой. Выглянув из окошка, посмотрел на нищую деревянную дачу из потемневших бревен, где прошла вся Русланова жизнь, и опять усмехнулся, на этот раз несколько насильственно, как плохой шутке.— Дома...

Не понимают того, что времени не осталось. Никакого времени нет. Если бы меня спросили, что такое старость, я бы сказал: это время, когда времени нет. Потому что живем мы, дураки, неправильно, сорим временем, тратим его попусту, туда-сюда, на то на се, не соображая, какая это изумительная драгоценность, данная нам неспроста, а для того, чтобы мы выполнили что-то, достигли чего-то, а не так — пробулькать жизнь лягушками на болоте. Например, выполнить то, о чем сам мечтал, достигнуть того, чего сам хотел. А ведь одной малости не хватает — времени! Потому что порастрачено, пораскидано за годы, бог ты мой... Они говорят: куда ты, старый, поедешь? Погода скверная, дожди, холод, простудишься, схватишь воспаление легких. В твоем возрасте воспаление легких — конец. Подожди до весны, никуда твоя Ася не убежит, никуда Мигулин не денется. Подумаешь, спех! Государственная важность! А о таком не догадываются: сам-то я до весны никуда не денусь? Нету времени ждать, нету, нету, ни одного денечка не остается.

Стали меня с дачи сдергивать, чтобы под надзором держать: Верочка умоляла, Руслан на такси прилетел, свояченица притаскивалась. «Не понимаю, Павлуша, как может тут жить живой человек?» Сидит в пальто, зубами стучит от холода. А я прохладную температуру нарочно соблюдаю, не больше тринадцати градусов, потому что жить в холоде полезно, как и спать на жестком. «Павлуша, ты меня извини, конечно, но у тебя тут запах тяжелый. И это тоже, ты считаешь, полезно?» Закричал: «А старика жизни учить — полезно? Когда этой жизни — на донышке?» Кричать не надо. Они не виноваты. Не понимают. Свояченица расплакалась. Оставили в покое, и вот: на даче один, вокруг ни души, снег выпал, река стоит черная, незастылая, по берегам бело. Скамейки мокрые. Когда идем с Арапкой в санаторий за обедом — а идем теперь медленно, минут сорок в один конец,— отдыхаем стоя, сидеть на мокром неохота, и дышать трудно, воздух сырой. Идем по берегу и все поглядываем на шоссе, не едет ли Дуся-почтальонша на велосипеде. Жду от Аси весточки. Когда? Написала, что в октябре ляжет в больницу на месяц ноги лечить, а как выйдет из больницы, даст знать, я к ней тотчас отправлюсь. Другого времени нет. Пускай в ненастье, в холод, теперь выбирать не приходится. Ах, упущено, упущено! Столько лет... А ведь

только для того, может быть, и продлены дни, для того и спасен, чтобы из черепков собрать, как вазу, и вином наполнить, сладчайшим. Называется: истина. Все истина, разумеется, все годы, что волоклись, летели, давили, испытывали, все мои потери, труды, все турбины, траншеи, деревья в саду, ямы вырытые, люди вокруг, все истина, но есть облака, что кропят твой сад, и есть бури, гремящие над страной, обнимающие полмира. Вот завертело когда-то вихрем, кинуло в небеса, и никогда уж больше я в тех высотах не плавал. Высшая истина т а м! Мало нас, кто т а м побывал. А потом что ж? Все недосуг, недогляд, недобег... Молодость, жадность, непонимание, наслаждение минутой, то работа утягивала, семья, беды, то к чертям на кулички забрасывало, хотя и ненадолго, всего на два года, ни за что ни про что, считалось, что повезло, то война, фронты, госпитали, то опять из последних сил, обыкновенно, как все... Вернулся живой и теперь живой... Б о г т ы м о й, н о в р е м е н и н е б ы л о н и к о г д а! Снег выпал рано, перед ноябрьскими, в тот год, когда Мигулина отправили из Балашова в Москву; осужден, помилован, разжалован, но оставлен жить. Все затевай сначала. Котел перевернулся, вари заново. Как я когда-то. В сороковом приехал в Москву из Свободного драный, больной. Как жить? Бог ты мой, жить, жить! Писарем на заводишке, где клепали какую-то ерунду. Через год в августе с ополченцами на войну. А он в ноябре девятнадцатого стал гражданским человеком: заведующий земельным отделом Донисполкома. Ростов еще не был взят, сидели в Саратове. Но через два месяца снова дали полк...

С Русланом приехали двое, мужчина и женщина. Хотят жилье снять на зиму. Он после инфаркта, воздух нужен, покой, а она будет за ним ухаживать. Оба довольно молодые, лет сорока. Роман Владимирович и Майя. Чаю? Компот санаторский? Нет, нет, спасибо, мы накоротке, только выясним подробности. На веранде холодно, сели в комнате.

Сразу догадался, что за птицы, сейчас начнут врать. Решил про себя: если начнут врать, сдавать им ничего не нужно. Руслан в людях не разбирается, они его одурачат. Спрашиваю строго — и в точку:

— Вы муж и жена?

Переглянулись. Женщина улыбается.

— Скорее, нет, Павел Евграфович... Мы друзья. Коллеги по работе.

Улыбка у нее открытая, обольстительная и дающая понять. Красивая улыбка. Губы красивые. И женщина пикантная, пухленькая, лицо румяное, хотя не первой молодости. Романа Владимировича можно поздравить. Но дачу им сдавать не желаю. Женщина спрашивает разрешения закурить, я киваю хотя и согласительно, но сухо, она поняла — тонкая женщина, с чутьем!— и сразу:

— Ах, у вас, видимо, не курят? Извините, я потерплю.

Возражать не стал. Пускай терпит. Чем-то они мне не понравились.

— А ваша работа какая, если позволите?

— Мы научные сотрудники.— отвечает Роман Владимирович.— Занимаемся биологией. Я кандидат наук.

Потом сами на меня накидываются: как печи топить?! Не замерзаю ли? Газ в баллонах? Воды горячей нет? А как происходят водные процедуры? Туалет действует? Бреюсь каждый день? Не угнетает ли одиночество? Не мучит ли то, что называется «великой деревенской скукой»? Соседи есть? Собаки, вороны? Старуха по прозвищу Маркиза? Она живет в этом доме или в соседнем? В гости к ней захаживаете? И она к вам никогда? Что ж так? Не о чем говорить? А что вечерами? Телевизора у вас нет? Глаза не устают? Спите со снотворным? И вдруг все у меня переворачивается, и я догадываюсь: это совсем не то, что я думал! Совсем другое. Абсолютно не то. Догадываюсь. Глупые дети, становится их жаль, как всегда. Руслан сидит как в воду опущенный, на себя непохож. Как будто от этих людей зависит. Как будто не он их сюда, а они его привезли. А вдруг правда зависит?

Роман Владимирович буравит пристально-улыбчиво сквозь толстые очки и все время указательным пальцем свое лицо, смуглое, арабское, теребит: то в ухе сверлит и что-то, пальцами скатав, на пол сбрасывает, то в ноздрю залезет, то губу трет.

— Вы бы рассказали, Павел Евграфович, коли уж нас случай свел...— Сунул палец в рот и ногтем в зубе колупается.— Хоть немного о Мигулине... Вы о нем материал собираете, как я слышал... Интереснейшая фигура! Если есть минутка свободная...

— Зачем вам?

— Слыхал о нем, читал кое-что. Было б прекрасно хоть немного...

Врет. Не слыхал, не читал, а с Руськиных слов.

— О Мигулине могу рассказывать долго. Но сын мой к такой беседе не располагает. Что с вами, Руслан Павлович? Вы белены объелись? Или человека убили?

— Рассказывай!— кивает мрачно.— Просят тебя...

Нет, язык не поворачивается, неохота, ни к чему это им. Они для другого приехали. Бубню что-то через силу, из вежливости, они слушают вроде бы внимательно, Роман Владимирович головой покачивает, приговаривает «так, так», а женщина подошла к стене и разглядывает портрет Гали. Летом после войны на речке. Долго глядит на портрет, не спрашивая ничего. Тогда, прервав рассказ, говорю:

— Хотите спросить о моей покойной жене? Спрашивайте, пожалуйста. Ведь вам нужно спросить.

Нарочно нажимаю на «нужно». Но те делают вид, что не заметили. Роман Владимирович вдруг:

— Ваша покойная жена тоже как-то связана была с Мигулиным?

Тут я его насквозь узрел. Никаких сомнений не осталось.

— Нет,— говорю,— ошибаетесь, дорогой мой.

— А вы сами, Павел Евграфович, не чувствуете ли,— указательным пальцем подпер очки на переносице, так что глаза будто выпрыгнули вперед,— какую-то, что ли, неосознанную, ничтожную, может быть, вину перед памятью Мигулина?

— Вину?— переспрашиваю. И чую, он меня опрокинул. В самое сердце холод вонзил. Зачем же спрашивает, негодяй? Вся сила из меня вышла, и я молчу.

Он извиняется, вскочил, руки к груди прижимает, побежал в другую комнату, чайник принес зачем-то, старый, распаявшийся.

— Нет, милый доктор. Перед ним вины своей не чувствую. А перед всеми остальными — и перед вами — да, виноват...

— Чем виноваты, Павел Евграфович?

Объяснил как мог: тем, что истиной не делился. Хоронил для себя. А истина, как мне кажется, дорогой кандидат медицинских наук, ведь только тогда драгоценность, когда для всех. Если же только у тебя одного, под подушкой, как золото у Шейлока, тогда — тьфу, не стоит плевка. Вот почему мучаюсь на старости лет, ибо времени не остается. Не знаю, понял ли что-нибудь. Скорей всего, нет, хотя поддакивал «так, так», но во взоре, пристально-улыбчивом, сквозь очки, тот же холод. Скорей всего, сделал вывод, что опасения подтверждаются:

старик несет околесную. Маниакально-депрессивный психоз на почве неясного чувства вины. Осложнено тоскою вдовца. Бедные ребята! Я им сочувствую, могу оценить тревогу, перепуг, то, что они кинулись к этим умникам, притворившимся дачниками, но все равно понять не могут.

— Ты не можешь понять,— шепчу, отозвав Руслана в соседнюю комнату и затворив дверь,— потому, что мы разные существа. Сорок лет назад, когда тебе было одиннадцать, а мне тридцать три, мы были ближе друг к другу, чем теперь. Потому что оставалось много времени. А теперь у тебя есть, у меня же нет ничего...

— Отец!— Он схватил мои руки, сжал их с силой.— Мы волнуемся, мы не хотим, чтоб ты жил один, чтобы ты уезжал... Ведь ты у нас замечательный... Таких людей, как ты...

Он прижимает меня к себе, как будто я мальчик в его руках, большой ладонью поглаживает мою голову, мою тощую шею, мою бессильную спину. Как я люблю его!

— Я вам прощаю,—говорю я.— Весь этот бред с докторами...

— Прости, отец! Мы хотели... Это друзья...

— Бог с вами. Все равно не можете понять.

— Не можем, отец! Не можем, не можем... Ты прав...

— Конечно, ведь н е т ж е в р е м е н и.

— Поэтому как хочешь... живи...

И я вижу на его глазах слезы. Через несколько дней он провожает меня на вокзал и сажает в вагон электрички, к окну. Я давно не ездил по железной дороге. Интересно смотреть на долго тянущиеся многоэтажные пригородные дома, они восхищают и пугают одновременно (где взять людей для такого множества домов?), на мокрые асфальтовые дороги, на хвосты автомобилей перед шлагбаумами, металлическое сверкание, свет фар среди бела дня, цветные зонты, на детей, бегущих под дождем с портфелями на голове, на дачные веранды, заборы, черноту деревьев, туманные луга, белую собачку, сидящую на вершине песчаной горы; и снова дома, дома, дома белосеро-блочно-громадное, не имеющее названия, небывалое, грозное, уходящее за горизонт. По вагону идет продавщица мороженого, и я покупаю снарядик в скользкой вафельной оболочке. Не так уж хочется есть мороженое, но все вокруг покупают снарядики и грызут, как мы когда-то грызли морковь на даче в Сиверской, воровали с чухонского огорода. Мама однажды сильно побила. Я возвращаюсь в Сиверскую. Темные сырые заборы, сумеречное

небо — ноябрьский день или белая июньская ночь? Я возвращаюсь пригородным поездом. В Питере все смутно, тревожно, каждую ночь стрельба, мама запрещает мне ехать вечерним поездом одному, недавно ограбили целый вагон. «Если задержался в городе, лучше переночуй дома и приезжай утром». Но нет терпения ждать! Я мечтаю хотя бы ночью, летними потемками пробежать мимо дачи, где на втором этаже окно Асиной комнаты всегда полуоткрыто, колеблется, как живое. Белое небо горит в стекле. Ася спит и не знает, что я бегу по песчаной дороге мимо. Но завтра я с нею увижусь утром. Вот почему не могу оставаться в Питере. Вафельный снарядик несъедобен. По вкусу он напоминает ледышки, которые я любил когда-то, в незапамятные времена, до Сиверской. В полдень автобус привозит меня в неизвестный город.

Какие-то люди ведут меня по тротуару, уложенному бетонными плитами. В зазорах между плитами чернеет хвоя. Ведут под руку, будто я беспомощный старец, могу на ровном месте упасть. Плиты мокрые, кое-где нерастаявший снег, ледяная корка, можно поскользнуться, но я иду осторожно. Не надо меня держать. Есть старики куда хуже, я еще ничего. «Вон там!»— говорит женщина, показывая на высокий дом среди сосен. Башня в двенадцать этажей. Женщина исчезает в дверях магазина. Оттуда выходят люди, неся стеклянные пивные кружки. Некоторые несут по три, по четыре. Один сделал из кружек гирлянду и повесил на шею. Удивительно вот что — я не испытываю никакого волнения! Мне просто хочется ее скорей увидеть, как можно скорее, для того чтобы что-то узнать. Человек живет вожделением, когда-то желал любви, удач, громадного дела, благополучия близких, теперь ничего, кроме единственного — узнать. Последняя страсть. Бог ты мой, что же у Аси узнать? О чем спросить?

В лифте пахнет, как в москательной лавке. На площадке двенадцатого этажа стою и смотрю вниз. Сосны, крыши домов, пегими пятнами снег, слюдяным изгибом блестит река, за которой хвойная даль, синева. Есть такие картины, написанные древними красками, их находят в подземных гробницах, в склепах, стоит к ним прикоснуться, и они рассыпаются. Но сердце колотится не от волнения, не от страха, что притронусь и рассыплются, а от предчувствия того, что предстоит узнать.

Меня по ошибке принимают за доктора. Минутная чепуха: пройдите сюда, вот полотенце, вырывают из рук

портфель, мою драгоценность, и куда-то хотят отнести, но я не даю. Я говорю: «Дайте воды. Мне надо принять лекарство». И в разгар суматохи маленькая, в седых космочках старушка шасть из дверей, вся клонящаяся вперед, как бы гнутая навстречу, сухонькая, как кикимора, я вижу зеленоватое темя, мятую ко́жу, и в глазах — голубых, знакомых, Асиных — сияет ужас. Вокруг счастливое щебетание, плеск голосов, легкие руки, как ветви, обнимают меня. И сразу обо всем, о всех временах, о пятидесяти пяти годах. И о главном, о чем нужно до зарезу узнать. Вот что: зачем он выступил тогда на фронт? В августе девятнадцатого. Она должна знать. Никто в целом мире не знает, никого не осталось, кроме нее. Мумиевидная старушка глядит на меня сияющими глазами и странно моргает, подмигивает. «Тебе это важно?» — «О, да! Очень, очень!» — «Я понимаю, да, да...» Она кивает сочувственно, соболезнующе. И продолжает делать знаки глазами, ее губы складываются в таинственную полуулыбку. «Павел, я тебя так хорошо помню, дорогой мой...»

«Мне нужно знать истину!»

«Понимаю, да, да,— кивает старушка.— Понимаю, Павел. Ты не устал? Не хочешь прилечь? Я написала все, что могла. Больше я ничего не знаю». Входит молодая женщина и ставит на стол три стеклянные пивные кружки. Потом одну кружку водружает на буфет, наливает в нее воду и ставит в воду еловую ветку. Любуясь, оглядывает свою работу. Все время, пока женщина занимается кружкой и веткой, старушка делает мне знаки глазами. Постепенно старушка превращается в Асю. Я не замечаю седых космочек, морщинистых щек, вижу только издавна знакомые, скрыто и лукаво мигающие голубые глаза. Как тогда что-то сообщала втайне от взрослых, на Пятнадцатой линии. Женщина, шлепая тапками, уходит, и Ася шепчет в необыкновенном волнении: «Она не должна знать! Я потом объясню. Она догадывается, но мы не дадим ей козыри в руки».

В комнате Аси — угловой, маленькой, светлой, она мне нравится, я рад за Асю — на столе пишущая машинка и повсюду, даже на кровати, разбросаны бумага, копирка. Ася всю жизнь работает машинисткой. С тех пор, с девятнадцатого, когда научилась стучать на «ундервуде» в штабе Мигулина... Разумеется, на пенсии, уже четырнадцать лет. Но без работы не сидит. Стучит дома. А как можно без работы? Разве это жизнь? Во-первых, не хочет быть тунеядкой, во-вторых — иждивенкой. Ого,

зависеть от дорогих внуков, от невестки? Боже избави! Нет уж, у нее всегда будет своя копейка, чтобы быть независимой и чтоб им подкидывать. Они безалаберные, постоянно без денег... Нет, невестка — это особь статья, она сама по себе, с Людмилой даже столоваться не хочет и, кажется, наметила свою жизнь устраивать. Это пускай! Осуждать нельзя, она еще не стара...

«Так, подвяла чуть-чуть, с одного бока,— Ася хихикнула по-молодому, по лицу разбегаются морщинки,— как яблочко лежалое. Да желающие найдутся, подберут. Она женщина с положением. В администрации института. И, говорят, еще дальше шагнет. Вот Борька ничего не умел...— Шепчет:— Она оттого такая опасливая, понимаешь? Оттого знать не знает и слышать не хочет про Сергея Кирилловича... Боится, что повредит... Женщина ух какая расчетливая...»

Молчок, молчок! Ася прижимает палец к губам и опять играет глазами, как в детстве. Теперь вижу недостаток комнаты — почему-то нет двери. Вместо двери портьера. Все слышно. В соседней комнате ходит, шлепая, невестка, слышен ее разговор с сыном. Когда шлепанье раздается вблизи портьеры, Ася понижает голос, едва шепчет — недоступно для моего слуха, я переспрашиваю, как всегда, раздражаясь,— или же вдруг начинает говорить преувеличенно громко:

«Удар у меня был страшный! Я пятый экземпляр пробивала. А теперь третий еле виден, сил-то нет. А раньше колотила невероятно. Мне покойный муж говорил: «Тебе на кузне работать, а не машинисткой...»

Неужели эту смешную кикимору я держу на руках, едва не падая от отчаяния, ее молодое, тяжелое — белый живот, белые ноги, запах пота и крови, острый, как скипидар, запах девятнадцатого года, и он вырывает у меня из рук, как будто свою добычу; потом в комнате, не зажигая света, в Балашове, когда душила тоска и чужая любовь и то же самое недоумение: «Зачем он двинулся на фронт? Что за всем этим крылось?» И еще потом бритая, тифозная голова, тончайшая шея, страдание в глазах, злоба ее матери, тогда казалось — после убийства Шигонцева,— что теперь конец, убит не Шигонцев, а Мигулин, зарублен в балке ночью, видели, как Шигонцев на лошади светлой масти и с ним неизвестный на темной выехали со двора штаба и поскакали в сторону хутора. Шигонцев вез боевой приказ, кроме того, печати и шифр, ординарец был ранен, дали кого-то в штабе, Мигулин

этого черта, больного, яростного, Шигонцева, терпеть не мог из-за старых дел, из-за Стального отряда, присылать его комиссаром глупость, но кто-то делал нарочно — недоверие тлело, норовили захомутать, обуздать, хотя полностью был оправдан, работал в земельном отделе Донисполкома, потом полк, бригада, смелые действия на юге, опять набирал силу, слегка затерло на Маныче, припозднился, затыркался в Новочеркасске, начался ледоход, переправы губительные, и вот нарочно шлют Шигонцева, железного дурака, непременно желавшего подчинить Мигулина революционной воле, которую, он мнил, олицетворял собственной персоной, слепым, горячечным взором, доигрался, дорвался, зарубили ночью, прострелили странную голову, похожую на плохо испеченный хлеб, лошадь прибрела утром без седока, никогда не узнать имен, это пропало, опустилось на дно — нет, не думайте, что все непременно всплывает на свет божий, кое-что исчезает, до убийц не дотянулись, не доныряли, но убить Мигулина не удается, комиссия от Ревтрибунала фронта не находит улик, опять он на коне, в войсках Фрунзе вместе с Блюхером и Буденным громит Врангеля. Перекоп, станция Воинка, Джанкой, почетное оружие и орден Красного Знамени, и вдруг зимою в холодной комнате при свете керосинки читаю в газете три строчки о том, что арестован бывший комкор за участие в контрреволюционном заговоре, февраль двадцать первого, голодный Ростов, я лечусь, ковыляю, мучаюсь, всех растерял, хожу на службу в Реквизиционную комиссию, бог ты мой, хорошо помню эту зиму, бумажки, жалобы, стрельба, турецкий подданный Кифаров, мануфактурщики, плачущие старухи, мы, мелкие торговцы со столиков на бульваре, смеем заявить, что мы не спекулянты и не скрыватели товаров, а что купили, то у нас на столе, между тем пришел агент и переписал у нас для реквизиции суровую нитку, и ввиду того, что я прибыл с фронта и сейчас служу комиссаром службы связи, прошу выдать ордер на одну кровать с правом реквизиции таковой, так как кровать принадлежала артисту, который убежал с белой бандой, бросаю просителей, заявителей, инвалидов, жалких людей, несчастных сирот, честных тружеников, благожелателей советской власти, мчусь в станицу Михайлинскую, где арестован комкор, на второй день там, забрать Асю, теперь или никогда, черныш в дубленом тулупе, с маузером в желтой коробке встречает на крыльце, щупает белыми глазами, тянет руку за документом, потом гово-

рит: «Взята вместе с ним, по групповому делу. А ты кто ей будешь?»— не помню, что отвечаю, может быть, «друг», может быть, «брат», а может, «никто», и на этом конец, и все, и навсегда, на жизнь, обледенелое крыльцо, красноармеец в тулупе, я сажусь в снег, остальное неинтересно, разве эта сухенькая, гнутая старушонка — она?

Провел два дня в родной станице. Всего два дня! По дороге в Москву. Колебался: заезжать или нет? И друзья отговаривали, и она не хотела ужасно. Нет, не потому, что там родные первой жены, она не боялась, а вот предчувствие. Такое муторное, такая вдруг тоска, что всю ночь прорыдала неостановимо. Он испугался: «Да что с тобой?» Она, конечно, объяснить не могла. Сама себя корила: ну что, дура, изводишься? Что с ним может случиться, с героем войны? Только что награжден орденом. А случилось то, что с ним случалось всегда: не вытерпел, чтобы не влезть в драку, не встать на чью-то защиту. Непременно ему кого-то оборонять, а кого-то бить по морде. В ту пору — в феврале двадцать первого — казаки волновались из-за продразверстки. Опять закипали восстания. В округе буянил какой-то Вакулин, какие-то вакулинцы нагоняли страху, и этот Вакулин, бывший казак мигулинской дивизии, пустил слух, будто Мигулин вернулся на Дон, чтобы пристать к восставшим. А Мигулин спокойно и мирно, хотя с тяжелым сердцем, направлялся в Москву получать почетную должность: главного инспектора кавалерии Красной Армии. Нужна ему эта должность! Опять то же — с Дона подальше. Возможно, и не Вакулин распустил слухи, а кто-то иной. Первый день — разговоры в крик с казаками, жалобы, слезы баб, рассказы о продотрядчиках. Мигулин чуял за собой силу и, никого не боясь, клял местных деятелей и грозил: «Приеду в Москву и в первую очередь пойду к Ленину, расскажу о ваших злодействах». Деятели перетрусили, подсунули к нему провокатора, некоего Скобиненко. А он, как видно, давно ходил по следам Сергея Кирилловича. Рожа этого негодяя как сейчас перед взором: губастая сволочь, пухлощекий такой, курчавый. Что Мигулин ни кричал в гневе — а кричать мог бог знает что, не знал удержу!— все Скобиненко запоминал, записывал. Да что особенного? То, что вскоре было всеми признано и к чему пришли: заменить продразверстку продналогом. Ну и на рассвете третьего дня решились — окружили хату, стучат прикладами в дверь.

«Ася, одно мне неясно, и об одном спрошу: куда он двигался в августе девятнадцатого? И чего хотел?» Молчит старушка, кивает задумчиво, припоминая. Дрожат старушкины веки, как мотыльковые, сохлые крылышки, и прикрывают выцветшие, голубые... После молчания, все вспомнив, говорит: «Отвечу тебе — никого я так не любила в своей долгой, утомительной жизни...»

А через год после смерти старика появился Игорь Вячеславович, аспирант университета. Он писал диссертацию о Мигулине. Когда Павел Евграфович был жив, аспирант с ним переписывался, даже звонил из Ростова, а теперь мечтал получить воспоминания и все документы, собранные стариком. Руслан ему отдал. Игорь Вячеславович понравился Руслану. Они сидели до четырех утра, пили водку, разговаривали о революции, о России, о большевиках, о добровольцах, о чекистах, о генерале Корнилове, о маркизе де Кюстине, о казаках, о Петре Великом, о царе Иване, о том, что есть истина, о любви к народу, о том, что Мигулин своей судьбы не избег, заговора не было, погиб понапрасну, говорили также о нефти и льне, о видах на урожай, а когда на другой день вышли на улицу — Игорь Вячеславович торопился на вокзал,— обрушился внезапный ливень с холодом, с градом, побежали со стоянки такси прочь, спрятались под аркой дома, и Руслан, мрачный с похмелья, думал: истина в том, что Валентина ушла к матери, другой женщины нет, третья женщина не подает вестей, пиджак под дождем превратился в тряпку...

Игорь Вячеславович, костлявый юноша в тесном провинциальном пиджачке, в очках, залепленных дождем, думал вот что: «Истина в том, что добрейший Павел Евграфович в двадцать первом на вопрос следователя, допускает ли он возможность участия Мигулина в контрреволюционном восстании, ответил искренне: «Допускаю», но, конечно, забыл об этом, ничего удивительного, тогда так думали все или почти все, бывают времена, когда истина и вера сплавляются нерасторжимо, слитком, трудно разобраться, где что, но мы разберемся». Вслух он сказал:

— Кажется, я опоздал на поезд...

Дождь лил стеной. Пахло озоном. Две девочки, накрывшись прозрачной клеенкой, бежали по асфальту босиком.

СОДЕРЖАНИЕ

Юрий Валентинович ТРИФОНОВ

ОТБЛЕСК КОСТРА. СТАРИК

Приложение к журналу «Дружба народов»

Оформление «Библиотеки» **Н. Пшенецкого**

Редактор **В. Полонская**

Художник **Л. Гритчин**

Художественный редактор **И. Суслов**

Технические редакторы **А. Гинзбург, Е. Медведева**

Корректоры **Л. Григорьева, Е. Пустовойт**

ТРИФОНОВ Ю. В.

Т69 Отблеск костра: Документальная повесть; Старик: Роман.— М.: Известия, 1989.— 336 с., ил.

Приступая к книге о своем отце, о гражданской войне, Юрий Валентинович Трифонов руководствовался целью — «написать правду, какой бы жестокой и странной она ни была». Так возникла документальная книга «Отблеск костра».

Документальная повесть и роман — такие разные жанры. Но между произведениями, составившими этот сборник,— непосредственная, абсолютная преемственная связь. Судьба подлинного Миронова передана в романе «Старик» вымышленному Мигулину. Но не только судьбы, герои, события, сюжетные повороты сближают повесть и роман: в них глубинная внутренняя тематическая, идейная общность.

Т $\frac{4702010200—025}{074(02)—89}$ — 83—89

ББК 84Р7

ИБ № 1340

Сдано в набор 30.08.88. Подписано в печать 03.04.89. Переиздание. Формат 84×108 $^1/_{32}$. Бумага кн.-журн. Гарнитура литературная. Печать офсетная. Печ. л. 10,5. Усл. печ. л. 17,64. Уч.-изд. л. 19,25. Усл. кр.-отт. 17,85. Тираж 130.000. Заказ А-356. Цена 1 руб. 30 коп.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103798, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Типография издательства Татарского обкома КПСС,
420066, Казань, ул. Декабристов, 2.



ЮРИЙ ТРИФОНОВ

Юрий Валентинович Трифонов прожил всего 55 лет (1925—1981), но оставил нам много прекрасных, умных, мужественных книг.

Стремительно вошел он в литературу. Едва окончив институт (ИФЛИ), опубликовал роман "Студенты" (1950). Его читали все, книга получила Государственную премию 1951 г. С тех пор книги Трифонова вызывают глубокий устойчивый читательский интерес. В своих произведениях писатель развивает свою главную, ведущую идею. Он продолжает размышлять над уже законченной вещью, волнующий его мотив переходит из одной книги в другую — идея, мысль настойчиво "дочерпывается". Так цепочкой возникали повести "московского" цикла о нравственных проблемах современников — "Обмен" (1969), "Предварительные итоги" (1970), "Долгое прощание" (1971), "Другая жизнь" (1975). Повесть "Дом на набережной" (1976), романы "Исчезновение" и "Время и место", опубликованные посмертно, образовали некий тематический триптих. Одна из авторских задач — "увидеть, изобразить бег времени..." И важнейшее убеждение: "История присутствует в каждом сегодняшнем дне, в каждой человеческой судьбе..." Возникает роман о народовольцах "Нетерпение" (1973), документальная повесть "Отблеск костра" (1965) — размышление о судьбе отца и судьбе поколения, делавшего революцию. А в 1978 г. Трифонов пишет роман "Старик", в нем прямая связь с повестью очевидна. Она — в героях, в сюжете, событиях и психологических мотивах. В романе как бы сплавлены история и современность. Этот диптих предлагаем читателю.

1 руб. 30 коп.